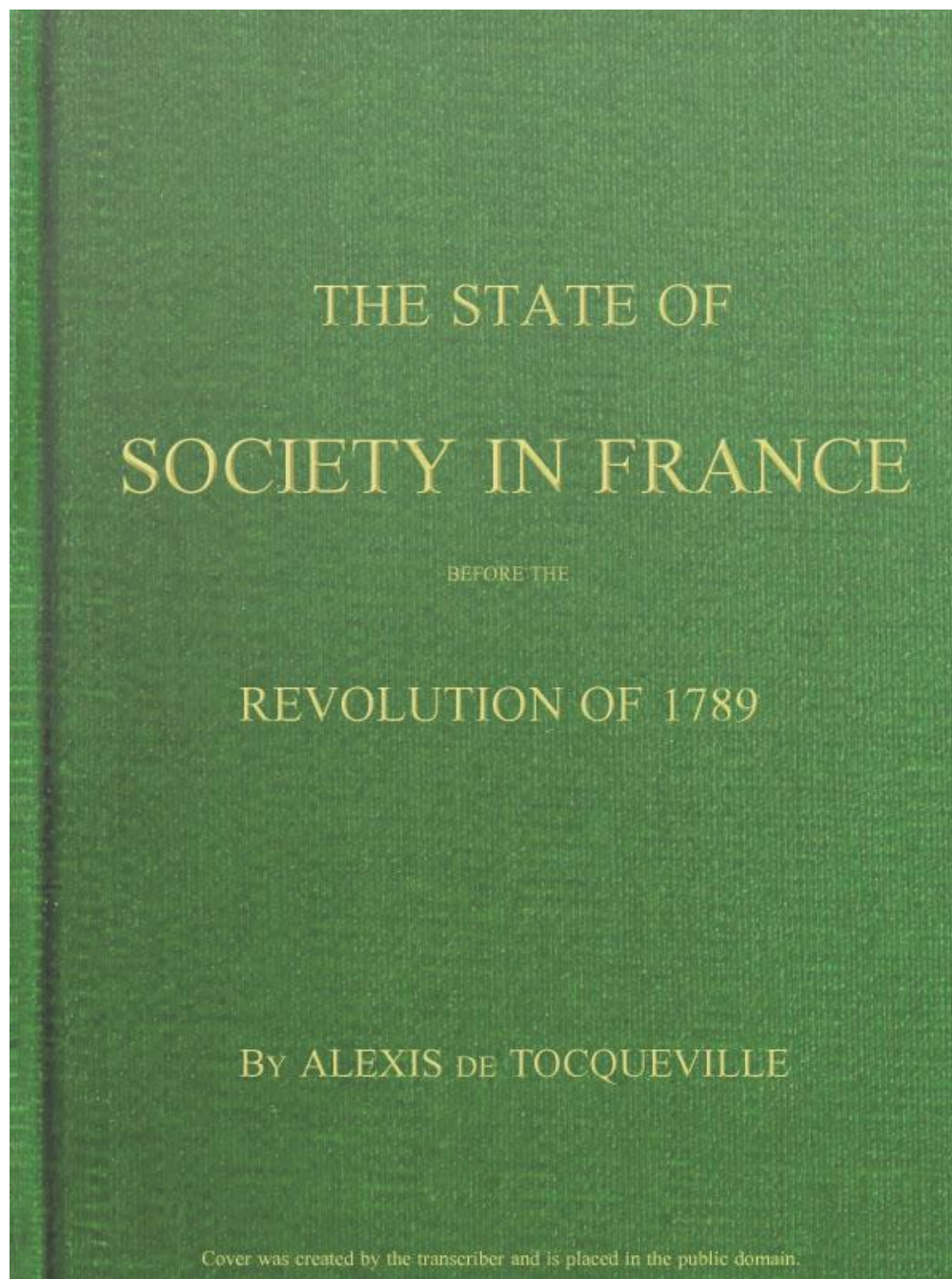


Состояние общества во Франции перед революцией 1789 года. И причины, приведшие к этому событию

Алексис де Токвиль



Электронная книга проекта Гутенберга о состоянии общества во Франции до революции 1789 года

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Состояние общества во Франции до революции 1789 года

Автор: Алексис де Токвиль

Переводчик: Генри Рив

Дата выхода: 17 февраля 2017 г. [Электронная книга № 54187]
Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Синди Хортон, Clarity и командой онлайн-корректоров (<http://www.pgdp.net>) на основе изображений страниц, щедро предоставленных Internet Archive (<https://archive.org>)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА ВО ФРАНЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1789 ГОДА" ***

Электронная книга проекта Гутенберга "Состояние общества во Франции до революции 1789 года" Алексиса де Токвиля, переведенная Ривом Генри

Примечание: Изображения оригинальных страниц доступны через интернет-архив. Посмотреть <https://archive.org/details/stateofsocietyin00tocquoft>

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА ВО ФРАНЦИИ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ 1789 ГОДА

И ПРИЧИНЫ, ПРИВЕДШИЕ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ

АЛЕКСИС де ТОКВИЛЬ
ЧЛЕН ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ
ПЕРЕВОД ГЕНРИ РИВА, Д.К.Л.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

ЛОНДОН
ДЖОН МЮРРЕЙ, ОЛБЕМАРЛ-СТРИТ,
1888 год

НАПЕЧАТАНО
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ "СПОТТИСВУД И КОМПАНИЯ", НЬЮ-СТРИТ-СКВЕР,
ЛОНДОН

Содержание.

	СТРАНИЦА
Предисловия переводчика ко Второму изданию	[5]
Предварительное уведомление	[9]
КНИГА I.	
ГЛАВА	
I.	Противоположные суждения, вынесенные о Французской революции у ее истоков 1
II.	Фундаментальной и Конечной целью революции не было, как предполагалось, уничтожение религиозного авторитета и ослабление политической власти 5
III.	Показывая, что Французская революция была Политической революцией, последовавшей за Религиозными революциями, и по каким причинам 9
IV.	Показывая, что почти во всей 12

Ст.	Европе были точно такие же институты, и что эти институты повсюду разваливались на части Каковы были особые масштабы Французской революции	16
<i>КНИГА II.</i>		
I.	Почему феодальные права стали более ненавистны народу во Франции, чем в любой другой стране	19
II.	Показано, что административная централизация является институтом, предшествующим во Франции революции 1789 года, а не продуктом Революции или Империи, как обычно говорят	28
III.	Показывая, что то, что сейчас называется административной опекой, было институтом во Франции до революции	36
IV.	Административная юрисдикция и иммунитет государственных должностных лиц являются институтами Франции до революции	45
V.	Показывая, как централизация смогла внедриться среди древних институтов Франции и вытеснить их, не разрушая	50
VI.	Административные обычаи Франции до революции	54
VII.	Из всех европейских наций Франция уже была той, в	63

	которой Метрополия приобрела наибольшее преобладание над the Провинциями и наиболее полно поглотила всю Империю	
VIII.	Франция была Страной, в которой люди стали наиболее похожими друг на друга	67
IX.	Это показывает, что люди, столь похожие друг на друга, были более чем когда-либо разделены на небольшие группы, отчужденные и безразличные друг к другу	71
X.	Уничтожение политической свободы и отчуждение классов были причинами почти всех беспорядков, которые привели к распаду Старого общества Франции	84
XI.	О Видах Свободы, существовавших при Старой монархии, и о влиянии этой Свободы на революцию	94
XII.	Показывая, что положение французского крестьянства, несмотря на прогресс цивилизации, иногда было хуже в Восемнадцатом веке, чем в Тринадцатом	105
XIII.	Показывая, что к середине Восемнадцатого века литераторы стали ведущими политическими деятелями Франции, и о последствиях этого события	119
XIV.	Показывая, как безбожие стало общей и доминирующей	128

	страстью среди французов восемнадцатого века, и какое влияние этот факт оказал на характер Революции	
XV.	Что французы стремились к реформам до появления Свободы	136
XVI.	Показано, что правление Людовика XVI. это была самая процветающая эпоха старой французской монархии, и как само это процветание ускорило революцию	146
XVII.	Показывая, что французский народ был возбужден к восстанию средствами, принятыми для его освобождения	155
XVIII.	О некоторых методах, с помощью которых правительство завершило революционное воспитание народа Франции	162
XIX.	Показано, что великая административная революция предшествовала Политической революции и каковы были последствия, которые она произвела	166
XX.	Показывая, что Революция естественным образом вытекала из существующего состояния Франции	175
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА.		
	О государственных платежах и особенно о конституциях Лангедока	182
КНИГА III.		
I.	О сильном и неопределенном волнении человеческого разума в	192

	момент, когда разразилась Французская революция	
II.	Как это смутное возмущение Человеческого Разума внезапно стало во Франции позитивной страстью и какую форму эта страсть сначала приняла	201
III.	Как парламенты Франции, следуя прецеденту, свергли монархию	205
IV.	Парламенты обнаруживают, что они потеряли всякую Власть, как раз тогда, когда они считали себя хозяевами Королевства	224
Ст.	Когда абсолютная власть была подавлена, истинный дух Революции немедленно проявился	229
VI.	Подготовка инструкций для членов Генеральных штатов донесла концепцию Радикальной революции до сознания людей	240
VII.	Как накануне созыва Национального собрания сознание нации расширилось, а ее дух поднялся	243
	Примечания и иллюстрации	247

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.

С момента первой публикации этой книги во Франции и ее перевода, появившегося одновременно в Англии, прошло около семнадцати лет. Английская версия не переиздавалась и давно вышла из печати. Но само произведение сохранило прочное место в политической литературе Европы.

Исторические события, произошедшие со дня его первой публикации, снова приковали внимание каждого мыслящего человека к удивительным явлениям Французской революции, которая в последние дни возобновила свое таинственное и разрушительное течение; и более глубокий интерес, чем когда-либо, кажется, проявляют к первопричинам этой длинной серии политических и социальных потрясений, которые, по-видимому, как никогда далеки от своего завершения.

Этот интерес не ограничивается только состоянием Франции; ибо в каждый последующий период нашей современной истории действие и следствия тех же причин можно проследить и в других странах, и принципы, которые автор этой книги распознал с безошибочной проницательностью, каждый день находят свежие иллюстрации в ходе событий как за границей, так и внутри страны.

Главным образом по этой причине этот перевод переиздается в настоящее время в надежде, что его смогут прочитать люди молодого поколения, которых еще не было на свете, когда он впервые появился, и что некоторые из тех, кто читал его раньше, возможно, под влиянием проходящих событий прочтут его снова. Ибо я осмеливаюсь сказать, что ни в одной другой работе о Французской революции искусство научного анализа не применялось с таким мастерством к генезису этих великих перемен: ни один другой автор так искусно не прослеживал непрерывное действие причин, задолго до самой революции, которые постепенно довели одну из величайших монархий Европы до ее нынешнего состояния.

Должны ли мы усвоить из этого сурового урока опыта, что надежды на прогресс тесно связаны с зародышами распада и что великое преобразование, приветствуемое с таким энтузиазмом восемьдесят четыре года назад, было лишь прелюдией окончательной катастрофы; что нация, которая первой погрузилась в этот новый порядок вещей, разрушив все, что она когда-то любила и почитала, также первой проявила его фатальные результаты; и что последние достижения цивилизации не спасают от упадка империй? Эти страницы могут навести на подобные размышления, ибо если пороки и злоупотребления политического общества Франции до революции были в какой-то мере присущи ей самой, то элементы разрушения, которые Революция обрушила на мир, присущи всем цивилизованным нациям.

Более того, в настоящем издании представляется желательным внести значительное дополнение к тому, что было опубликовано в 1856 году. На момент своей смерти весной 1859 года г-н де Токвиль добился некоторого прогресса в продолжении своей работы, хотя его труд продвигался очень медленно из-за тщательной и добросовестной тщательности, с которой он проводил свои исследования и развивал свои мысли. Семь глав нового тома были, однако, найдены среди его бумаг его другом и литературным душеприказчиком месье Гюставом де Бомоном в состоянии, близком к завершению; и эти посмертные главы были опубликованы в седьмом томе собрания сочинений месье де Токвиля. Они ранее не переводились и, я полагаю, малоизвестны в этой стране.

Я думаю, что эти главы не уступают ни одной из работ их автора по оригинальности и интересу; и их заслуга в том, что они сводят его обзор состояния Франции до революции к тому самому моменту, который предшествовал созыву Генеральных штатов. Поэтому я включил эти посмертные главы в настоящее издание, и они составляют Третью книгу в дополнение к двум книгам первоначального тома.

Генри Рив.

Апрель 1873 года.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Книга, которую я сейчас публикую, не является историей Французской революции; эта история была написана со слишком большим успехом, чтобы я мог пытаться написать ее снова. Этот том представляет собой исследование о Революции.

Французский народ предпринял в 1789 году величайшее усилие, которое когда-либо предпринимала какая-либо нация, чтобы, так сказать, разделить свою судьбу пополам и отделить пропастью то, чем он был до сих пор, от того, чем он стремился стать впоследствии. С этой целью они принимали всевозможные меры предосторожности, чтобы ничего из своего прошлого не унести с собой в свое новое состояние; они подчинялись всевозможным ограничениям, чтобы выглядеть иначе, чем их отцы; они не пренебрегали ничем, что могло бы стереть их индивидуальность.

Я всегда думал, что они преуспели в этой уникальной попытке гораздо меньше, чем предполагалось за границей, и меньше, чем они сами поначалу предполагали. Я был убежден, что они бессознательно сохранили от прежнего состояния общества большую часть чувств, привычек и даже мнений, посредством которых они осуществили разрушение этого состояния вещей; и что, сами того не желая, они использовали его остатки для восстановления здания современного общества, так что, чтобы полностью понять Революцию и ее работу, мы должны на мгновение забыть ту Францию, которую мы видим перед собой, и исследовать в ее гробнице ту Францию, которой больше нет. Это то, что я пытался сделать; но при выполнении этой задачи я столкнулся с большими трудностями, чем мог предположить.

Первые века французской монархии, средние века и Возрождение литературы - все это дало толчок обширным исследованиям, которые раскрыли нам не только события тех периодов истории, но и законы, обычаи и дух правительства и нации в те эпохи. Но никто еще не взял на себя труд исследовать восемнадцатый век таким же образом и с такой тщательностью. Мы предполагаем, что хорошо знакомы с французским обществом того времени, потому что мы ясно различаем все, что блестело на его поверхности; мы в деталях знаем жизнь самых выдающихся личностей того времени, а изобретательность или красноречие критики познакомили нас с произведениями великих писателей, которые украшали его. Но что касается способа ведения государственных дел, практической работы институтов, точного отношения, в котором различные классы общества находились друг к другу, состояния и чувств тех классов, которые пока еще не были ни видны, ни услышаны за господствующими мнениями и нравами страны, — все наши представления запутанны и часто неточны.

Я предпринял попытку проникнуть в суть этого общественного состояния при старой монархии Франции, которое по прошествии лет все еще так близко к нам, но скрыто от нас Революцией.

С этой целью я не только перечитал знаменитые книги, созданные в восемнадцатом веке, я также изучил множество произведений, менее известных и менее достойных того, чтобы их знали, но которые из-за небрежности их композиции раскрывают, возможно, даже лучше, чем более законченные произведения, истинные инстинкты того времени. Я приложил все усилия, чтобы тщательно изучить все публичные документы, с помощью которых французы могли с приближением Революции выразить свои мнения и вкусы. Регулярные отчеты о заседаниях штатов, а впоследствии и провинциальных ассамблей, предоставили мне большое количество доказательств. Я особенно широко использовал Инструкции, составленные Тремя Орденами в 1789 году. Эти Инструкции, составляющие в оригинале длинную серию рукописных томов, останутся как завещание старого общества Франции, высший отчет о его желаниях, подлинная декларация его последних намерений. Подобный документ уникален в истории. И все же одно это меня не удовлетворило.

В странах, в которых Административное правительство уже обладает властью, существует мало мнений, желаний или печалей - мало интересов или страстей, — которые рано или поздно не обнажаются перед ним. В архивах такого правительства можно получить не только точное представление о его процедурах, но и представить всю страну в целом. Любой посторонний человек, который имел бы доступ ко всей конфиденциальной переписке Министерства внутренних дел и префектур Франции, вскоре узнал бы о французах больше, чем они сами знают. В восемнадцатом веке администрация страны, как будет видно из этой книги, была в высшей степени централизованной, очень могущественной и необычайно активной. Оно постоянно помогало, предотвращало, разрешало. Оно могло многое пообещать — многое дать. Его влияние уже ощущалось тысячью способов не только на общее ведение дел, но и на состояние семей и частную жизнь каждого человека. Более того, поскольку эта администрация не афишировалась, мужчины не боялись обнажать перед ее глазами даже свои самые тайные немощи. Я потратил много времени на изучение того, что осталось от его деятельности, как в Париже, так и в нескольких провинциях. [1]

Там, как я и ожидал, я обнаружил всю структуру старой монархии, все еще существующую, с ее мнениями, страстями, предрассудками и обычаями. Там каждый человек высказывал свое мнение и раскрывал свои самые сокровенные мысли. Таким образом, мне удалось получить информацию о прежнем состоянии общества, которой не обладали те, кто жил в нем, ибо передо мной было то, что никогда не открывалось им.

По мере того, как я продвигался в этих исследованиях, я постоянно с удивлением обнаруживал во Франции того времени многие характерные черты нашей собственной Франции. Я столкнулся со множеством чувств, которые, как я предполагал, были порождением Революции, со множеством идей — которые, как я полагал, зародились там, со множеством привычек, которые приписываются только Революции. Повсюду я находил корни существующего состояния французского общества, глубоко укоренившиеся в старой почве. Чем ближе я подходил к 1789 году, тем отчетливее я различал дух, руководивший формированием, рождением и ростом Революции; я постепенно видел, что передо мной раскрывается весь аспект Революции; она уже сама заявляла о своем темпераменте — о своем гении. Там я также нашел не только причину того, что он собирался совершить в своей первой попытке, но, возможно, даже больше, намек на то, что он должен был в конечном итоге оставить после себя. Ибо Французская революция имела две совершенно разные фазы: первую, во время которой французы, казалось, стремились отменить все, что было в прошлом; вторую, когда они

стремились восстановить часть того, от чего отказались. Таким образом, многие законы и политическая практика старой монархии внезапно исчезли в 1789 году, но они возникают снова несколько лет спустя, поскольку некоторые реки теряются в земле, чтобы снова вырваться ниже и нести те же воды к другим берегам.

Особая цель работы, которую я сейчас представляю публике, состоит в том, чтобы объяснить, почему эта великая Революция, которая готовилась одновременно почти на всем европейском континенте, разразилась во Франции раньше, чем где-либо еще; почему она возникла спонтанно в обществе, которое ей предстояло разрушить; и, наконец, как старая французская монархия пала так полностью и так внезапно.

В мои намерения не входит, чтобы начатая мной работа резко останавливалась на этом этапе. Я надеюсь, если позволят время и мои собственные силы, проследить за перипетиями этой долгой революции за теми же французами, с которыми я так близко жил при старой монархии и которых сформировало то состояние общества, — увидеть, как они видоизменялись и трансформировались в результате хода событий, но не меняя своей природы, и постоянно предстают перед нами с чертами, несколько отличающимися, но всегда узнаваемыми.

Вместе с ними я продолжу обзор той первой эпохи 1789 года, когда любовь к равенству и свободе разделяла их сердца, когда они стремились основать не только институты демократии, но и институты свободы — не только для уничтожения привилегий, но и для признания и утверждения прав: время молодости, энтузиазма, гордости, великодушной и искренней страсти, которая, несмотря на свои ошибки, будет вечно жить в памяти людей и которая еще долго будет тревожить сон тех, кто стремится развратить или поработить их.

Таким образом, быстро следуя по пути той же Революции, я попытаюсь показать, какие события, какие ошибки привели к тому, что тот же самый французский народ в конце концов отказался от своей первой цели и, забыв о свободе, стремился только стать равными слугами Хозяина мира — как правительство, более сильное и гораздо более абсолютное, чем то, которое было свергнуто Революцией, захватило и сконцентрировало все силы нации, подавило свободы, которые были куплены такой дорогой ценой, поставив на их место подделку под свободу, называющую "суверенитетом нации". люди лишают права голоса выборщиков, которые не могут ни самостоятельно информировать, ни согласовывать свои действия, ни, по сути, выбирать, называя "голосование по налогам" согласием немых и порабощенных собраний; и, лишая таким образом нацию права на самоуправление, великих гарантий закона, свободы мысли, слова и пера — то есть всех самых драгоценных и самых благородных завоеваний 1789 года, — все еще осмеливаются носить это могучее название.

Я останавлиюсь на том моменте, когда Революция, как мне кажется, почти завершила свое дело и дала рождение современному обществу Франции. Тогда это общество попадет под мое наблюдение: я попытаюсь указать, в чем оно напоминает общество, которое ему предшествовало, в чем оно отличается, что мы потеряли в результате этого огромного изменения наших институтов, что мы благодаря этому приобрели и, наконец, каким может быть наше будущее.

Часть этой второй работы набросана, хотя все еще недостойна быть представленной публике. Будет ли мне дано завершить ее? Кто может сказать? Судьба людей гораздо более неясна, чем судьба наций.

Я надеюсь, что написал эту книгу без предубеждения, но я не утверждаю, что писал ее без страсти. Ни один француз не должен говорить о своей стране и думать об этом времени равнодушно. Я признаю, что, изучая старое общество Франции в каждой из его частей, я никогда полностью не упускал из виду общество более поздних времен. Я стремился не только обнаружить болезнь, от которой умер пациент, но и средства, с помощью которых можно было сохранить жизнь. Я имитировал тот медицинский анализ, который стремится в каждом умирающем органе уловить законы жизни. Моей целью было нарисовать картину, строго точную и в то же время поучительную. Всякий раз, когда я встречал среди наших прародителей какие—либо из тех мужских добродетелей, в которых мы больше всего нуждаемся и которыми меньше всего обладаем, — такие как истинный дух независимости, вкус к великим свершениям, вера в себя и в правое дело, - я находил их с облегчением; точно так же, когда я находил в законах, мнениях и нравах того времени следы некоторых из тех пороков, которые, поглотив бывшее французское общество, все еще заражают нас, я тщательно извлекал их на свет, чтобы, видя зло, которое они нам причинили, можно было лучше понять, что это за пороки. зло, которое они все еще могут породить. Признаюсь, для достижения этой цели я не боялся ранить ни людей, ни классы, ни мнения, ни воспоминания о прошлом, какими бы достойными уважения они ни были. Я часто поступал так с сожалением, но всегда без угрызений совести. Пусть те, кого я, возможно, таким образом оскорбил, простят меня ввиду честной и бескорыстной цели, которую я преследую.

Многие, возможно, обвинят меня в том, что я демонстрирую в этой книге неуместную любовь к свободе — то, о чем, как говорят, во Франции больше никто не заботится.

Я только попрошу тех, кто может адресовать мне этот упрек, учесть, что это не недавняя склонность моего ума. Более двадцати лет назад, говоря о другом сообществе, я записал почти текстуально следующие наблюдения.

Во тьме будущего могут быть ясно открыты три истины. Первая заключается в том, что всеми людьми нашего времени движет неизвестная сила, которую они, возможно, надеются регулировать и обуздать, но не победить, — сила, которая иногда мягко движет ими, иногда торопит их к уничтожению аристократии. Второе заключается в том, что из всех сообществ в мире те, которые всегда будут наименее способны навсегда уйти от абсолютного правительства, - это именно те сообщества, в которых аристократия прекратила свое существование и никогда не сможет существовать снова. Наконец, в-третьих, деспотизм нигде не производит более пагубных последствий, чем в тех же самых сообществах, ибо больше, чем любая другая форма правления, деспотизм способствует росту всех пороков, которым такие общества особенно подвержены, и, таким образом, придает дополнительный вес той стороне, к которой они уже были склонны в силу своей естественной склонности.

Люди в таких странах, больше не связанные между собой никакими узами касты, класса, корпорации, семьи, слишком легко склонны думать только о своих частных интересах, слишком готовы думать только о себе и погружаться в узкие рамки самости, в которых угасает всякая общественная добродетель. Деспотизм, вместо того чтобы бороться с этой тенденцией, делает ее непреодолимой, ибо он лишает своих подданных всякой общей страсти, всякой взаимной потребности, всякой необходимости объединяться, всех возможностей действовать сообща.

Это замуровывает их в частной жизни: они уже были склонны к разделению; деспотизм изолирует их: они уже были холодны во взаимном отношении; деспотизм превращает их в лед.

В таких обществах, в которых нет ничего стабильного, каждого человека постоянно подстегивает страх падения и стремление подняться; и поскольку деньги, хотя они и стали основным признаком, по которому люди классифицируются и отличаются друг от друга, приобрели необычайную мобильность, непрерывно переходя из рук в руки, изменяя положение людей, повышая или понижая положение семей, едва ли найдется человек, который не был бы вынужден прилагать отчаянные и постоянные усилия, чтобы сохранить или приобрести их. Таким образом, желание разбогатеть любой ценой, любовь к бизнесу, страсть к наживе, стремление к комфорту и материальным удовольствиям являются в таких сообществах преобладающими страстями. Они легко распространяются по всем классам, они проникают даже в те классы, которые до сих пор были наиболее свободны от них, и вскоре ослабили бы и деградировали их всех, если бы ничто не сдерживало их влияния. Но в самой сути деспотизма заложено поощрение и расширение этого влияния. Эти изнуряющие страсти помогают его работе: они отвлекают и поглощают воображение людей от общественных дел и заставляют их трепетать при одной мысли о революции. Только деспотизм может придать им скрытность и тень, которые облегчают алчность и позволяют людям получать бесчестные выгоды, пока они отваживаются на бесчестье. Без деспотического правления такие страсти были бы сильны: с ним они суверенны.

Напротив, только свобода может эффективно противодействовать в сообществах такого рода естественным для них порокам и удерживать их на склоне, по которому они скользят. Ибо только свобода может вывести членов такого сообщества из изоляции, в которую их ставит сама независимость их положения, заставляя их действовать сообща. Только свобода может согревать и объединять их изо дня в день благодаря необходимости взаимного согласия, взаимного убеждения и взаимной уступчивости в ведении их общих дел. Только свобода может оторвать их от поклонения деньгам и мелких дрязг, связанных с их частными интересами, напомнить им и заставить их почувствовать, что над ними и вокруг них есть Страна. Иногда одна только свобода может вытеснить любовь к комфорту более энергичными и возвышенными страстями, может поставить перед честолюбием более масштабные цели, чем приобретение богатства, может пролить свет, который позволяет нам видеть пороки и добродетели человечества и судить о них.

Несвободные демократические сообщества могут быть богатыми, утонченными, украшенными, величественными, могущественными благодаря своей однородной массе; они могут обладать многими личными достоинствами — хорошими отцами семейств, честными торговцами, уважаемыми собственниками; более того, там найдется много добрых христиан, ибо их страна не от мира сего, и слава их веры в том, что они производят таких людей среди величайшей порочности нравов и при наихудшем правительстве. Римская империя в период ее крайнего упадка была полна таких людей. Но я уверен, что в таких обществах никогда не найдется великого гражданина или, прежде всего, великого народа; более того, я без колебаний утверждаю, что общий уровень сердца и интеллекта никогда не перестанет снижаться, пока там сочетаются равенство условий и деспотическая власть.

Так я думал и так писал двадцать лет назад. Признаюсь, с тех пор в мире не произошло ничего, что заставило бы меня думать или писать иначе. Высказав хорошее мнение, которое у меня

было о Свободе в то время, когда Свобода была в почете, мне, возможно, будет позволено придерживаться этого мнения, даже если она будет отвергнута.

Давайте также примем во внимание, что даже в этом я меньше расхожусь с большинством моих противников, чем, возможно, они сами предполагают. Где тот человек, у которого от природы была бы настолько подлая душа, чтобы предпочесть зависимость от капризов одного из своих ближних повиновению законам, которые он сам способствовал установить, при условии, что его нация, по его мнению, обладает добродетелями, необходимыми для правильного использования свободы? Такого человека нет. Сами деспоты не отрицают превосходства свободы, но они хотят сохранить все это при себе и утверждают, что все остальные люди совершенно недостойны ее. Таким образом, это различие зависит не от мнения, которого можно придерживаться о свободе, а от большего или меньшего уважения, которое мы можем испытывать к человечеству; и можно со строгой точностью сказать, что вкус, который человек может проявлять к абсолютному правительству, находится в точном соотношении с презрением, которое он может проявлять к своим соотечественникам. Я делаю паузу, прежде чем меня можно будет склонить к этому мнению.

Я могу добавить, думаю, без излишних претензий, что опубликованный сейчас том является результатом очень продолжительного труда. Иногда короткая глава стоила мне больше года исследований. Я мог бы обогатить свои страницы примечаниями, но предпочел поместить их в ограниченном количестве в конце тома со ссылкой на страницы текста, к которым они относятся. В этих заметках читатель найдет несколько иллюстраций и доказательств того, что я выдвинул. Я мог бы значительно увеличить их количество, если бы эта книга, по-видимому, этого потребовала.

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА Во ФРАНЦИИ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ 1789 ГОДА.

КНИГА I.

ГЛАВА I.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ У ЕЕ ИСТОКОВ.

Ничто так не подходит для того, чтобы преподать урок скромности философам и государственным деятелям, как история Французской революции; ибо никогда еще события не были более важными, дольше зрели, более тщательно подготовлены или менее предвидены.

Сам великий Фридрих, при всей своей гениальности, не смог предвидеть, что надвигается, и был почти в контакте с событием, не видя его. Более того, он даже заранее действовал в духе

Революции и был в некотором роде ее предшественником и уже ее проводником; однако он не распознал ее приближения, и когда, наконец, она появилась, новые и необычные черты, которые должны были выделить ее среди бесчисленной толпы человеческих революций, все еще оставались незамеченными.

Любопытство всех других стран было на пределе. Повсюду среди народов возникало смутное представление о том, что приближается новый период, и возбуждались смутные надежды на великие перемены и реформы; но ни у кого еще не было ни малейшего подозрения о том, чем на самом деле должна была стать Революция. Государям и их министрам не хватало даже смутного предчувствия, которым были взволнованы массы; они видели в Революции лишь одно из тех периодических потрясений, которым подвержены конституции всех наций и единственным результатом которых является открытие новых путей для политики их соседей. Даже когда им удавалось высказать истинное мнение о происходящих перед ними событиях, они делали это неосознанно. Таким образом, главные монархи Германии, собравшиеся в Пильнице в 1791 году, действительно провозгласили, что опасность, угрожавшая королевской власти во Франции, была общей для всех признанных держав Европы и что всем угрожала одна и та же опасность; но на самом деле они не верили ничему подобному. Секретные записи того периода доказывают, что они использовали этот язык лишь как благовидный предлог, чтобы скрыть свои истинные замыслы или, по крайней мере, приукрасить их в глазах толпы.

Что касается их самих, то они были убеждены, что Французская революция была чисто местной и временной случайностью, которую им оставалось только использовать с пользой. Исходя из этого, они строили планы, делали приготовления и заключали тайные союзы; они ссорились между собой из-за раздела ожидаемой добычи; разделялись на фракции, вступали в комбинации и были готовы почти ко всему, кроме того, что надвигалось.

Действительно, англичане, наученные своей собственной историей и просвещенные долгой практикой политической свободы, смутно, как сквозь густую завесу, видели приближающийся призрак великой революции; но они были неспособны различить ее истинные очертания, и влияние, которое она так скоро должна была оказать на судьбы мира и на их собственную, было непредвиденным. Артур Янг, путешествовавший по Франции как раз в тот момент, когда Революция вот-вот должна была вспыхнуть, и считавший ее неминуемой, настолько неверно истолковал ее реальный характер, что подумал, что вопрос в том, не увеличит ли она существующие привилегии. "Что касается дворянства и духовенства, - говорит он, - то, если бы эта Революция сделала их еще более влиятельными, я думаю, это принесло бы больше вреда, чем пользы".

Берк, чей гений был озарен ненавистью, которую Революция внушала ему с самого ее зарождения, сам Берк на мгновение заколебался при виде этого зрелища. Его первое предсказание состояло в том, что Франция будет ослаблена и почти уничтожена этим. 'В настоящее время Францию в политическом плане следует рассматривать как вычеркнутую из системы Европы; сможет ли она когда-нибудь снова появиться в ней в качестве ведущей державы, определить было нелегко; но в настоящее время он рассматривал Францию как политически несуществующую; и, несомненно, потребуется много времени, чтобы восстановить ее прежнее активное существование. *Галлос квок в "Прекрасной флорисской аудивимус"*, возможно, станет языком подрастающего поколения'. [2]

Суждения тех, кто находился на месте, были не менее ошибочными, чем у далеких наблюдателей. Накануне начала Революции мужчины во Франции не имели четкого представления о том, к чему она приведет. Среди многочисленных инструкций делегатам Генеральных штатов я нашел только две, которые демонстрируют некоторую степень опасения за народ. Все высказанные опасения связаны с перевесом, который, вероятно, сохранится за королевской семьей, или Двором, как его все еще называли. Слабость и непродолжительность Генеральных штатов были источником беспокойства, и высказывались опасения, что они могут подвергнуться насилию. Эти опасения особенно волновали дворянство. Некоторые из их инструкций предусматривают: 'Швейцарские войска должны принести клятву никогда не применять оружие против граждан, даже в случае бунта'. Только дайте Генеральным Штатам свободу, и все злоупотребления были бы легко уничтожены; реформа, которую предстояло провести, была грандиозной, но легкой.

Между тем Революция шла своим чередом. Постепенно стала видна голова чудовища, раскрылся его странный и ужасный облик; уничтожив политические учреждения, он упразднил и гражданские; изменив законы, он изменил нравы, обычаи и даже язык Франции; ниспровергнув структуру правительства, он потряс основы общества и восстал против самого Всемоущего. Революция вскоре вышла за пределы Франции с доселе неизвестной неистовостью, с новой тактикой, с кровавыми доктринами, с *вооруженными мнениями*—используя слова Питта - с непостижимой силой, которая разрушила барьеры империй, сокрушила короны Европы, растоптала ее народы, хотя, как ни странно, привлекла их на свою сторону; и, когда все это произошло, мнение мира изменилось. То, что поначалу казалось князьям и государственным деятелям Европы одной из случайностей, обычных в жизни нации, теперь представлялось им событием столь беспрецедентным, столь противоречащим всему, что когда-либо происходило в мире, и в то же время столь широко распространенным, столь чудовищным и столь непостижимым, что человеческий разум терялся в изумлении при виде этого зрелища. Некоторые верили, что эта неизвестная сила, которую, казалось, ничто не могло ни взрастить, ни разрушить, которую никто не был в состоянии обуздать и которая не могла обуздать саму себя, должна привести все человеческое общество к его окончательному распаду. Многие смотрели на это как на видимое действие дьявола на земле. 'Французская революция носит сатанинский характер', - сказал г-н де Местр еще в 1797 году. Другие, напротив, усматривали в этом благодетельный замысел Провидения изменить облик не только Франции, но и всего мира и как бы создать новую эру для человечества. У многих писателей того времени можно увидеть что-то от религиозного ужаса, который испытывал Сальвиан при вторжении варваров. Берк, возвращаясь к своим первым впечатлениям, воскликнул: "Лишенная старого правительства, в некотором смысле лишенная всякого правительства, Франция, павшая как монархия, обычным спекулянтам могла бы показаться скорее объектом жалости или оскорбления, в зависимости от расположения окружающих держав, чем бичом и ужасом для них всех; но из могилы убитой монархии во Франции восстал обширный, устрашающий, бесформенный призрак, в гораздо более устрашающем обличье, чем любое другое, которое когда-либо поражало воображение и подчиняло разум. сила духа человека. Идя прямо к своему концу, не страшась опасности, не сдерживаемая угрызениями совести, презирая все общепринятые принципы и все общепринятые средства, этот отвратительный призрак одержал верх над теми, кто не мог поверить, что она вообще может существовать" и т.д.

И действительно ли это событие было таким экстраординарным, каким оно казалось тем, кто жил в то время, когда оно произошло? Была ли она настолько беспрецедентной, настолько крайне подрывной, настолько насыщенной новыми формами и идеями, какой они ее себе представляли? Каков был реальный смысл, реальный характер — каковы были постоянные последствия этой странной и ужасной революции? Что это, на самом деле, разрушило и что создало?

Кажется, что подходящий момент для изучения и решения этих вопросов наступил, и сейчас мы стоим именно в той точке, откуда это обширное явление можно лучше всего рассматривать и оценивать. Мы достаточно далеки от Революции, чтобы быть лишь слегка затронутыми страстями, которые ослепили тех, кто ее вызвал, и мы достаточно близки к ней, чтобы проникнуться духом, из-за которого все это произошло. Вскоре это станет еще труднее; ибо, поскольку все великие революции, будучи успешными, сметают причины, их породившие, сам их успех делает их непонятными для последующих поколений.

ГЛАВА II.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ РЕВОЛЮЦИИ НЕ БЫЛО, КАК ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, УНИЧТОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО АВТОРИТЕТА И ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ.

Одним из первых актов Французской революции было нападение на Церковь; и среди всех страстей, порожденных Революцией, первыми были возбуждены и последними были утолены страсти, враждебные религии. Даже когда энтузиазм по поводу свободы угас, а спокойствие было куплено ценой рабства, нация все еще восставала против религиозной власти. Наполеон, которому удалось подавить либеральный дух французской революции, тщетно пытался обуздать ее антихристианский дух; и даже в наше время мы видели людей, которые думали искупить свое раболепие перед самыми ничтожными представителями политической власти дерзостью по отношению к Богу, и которые, хотя и отказались от всего самого свободного, самого благородного и возвышенного в доктринах Революции, льстили себя надеждой, что они все еще остаются верными ее духу, оставаясь нерелигиозными.

Тем не менее сейчас легко убедить себя, что война, развязанная против религий, была лишь одним из эпизодов этой великой революции, действительно поразительной чертой, но преходящей по своему аспекту, преходящим результатом идей, страстей и особых событий, которые предшествовали ей и готовили ее, а не неотъемлемой частью ее гениальности.

Философия восемнадцатого века справедливо рассматривалась как одна из главных причин Революции, и совершенно верно, что эта философия была глубоко нерелигиозной. Но мы должны быть осторожны и заметить, что оно состоит из двух отдельных частей.

Одно из них относится ко всем новым или только что возрожденным мнениям относительно состояния общества и принципов гражданских и политических законов, таким, например, как естественное равенство человечества и отмена всех привилегий касты, класса, профессии, которые являются следствием этого равенства; суверенитет народа, всемогущество социальной власти, единообразие законов. Все эти доктрины были не только причинами

Французской революции, они были самой ее сутью: из всех ее последствий они являются наиболее фундаментальными, наиболее длительными и наиболее верными с точки зрения времени.

В другой части своих доктрин философы восемнадцатого века нападали на Церковь с величайшей яростью; они поносили ее духовенство, ее иерархию, ее институты, ее догмы; и, чтобы более уверенно ниспровергнуть их, они пытались разрушить сами основы христианства. Но поскольку эта часть философии восемнадцатого века возникла из тех самых злоупотреблений, которые Революция уничтожила, она неизбежно исчезла вместе с ними и была как бы погребена под своим собственным триумфом. Я добавлю только одно слово, чтобы меня лучше поняли, поскольку я вернусь позже к этой важной теме: христианство вызывало такую яростную ненависть именно по характеру политического института, гораздо больше, чем по характеру религиозной доктрины; это было не столько потому, что священники взяли на себя власть над делами загробного мира, сколько потому, что они были землевладельцами, десятинщиками и администраторами в этом мире; не потому, что Церковь была неспособна найти место в новом обществе, которое вот-вот должно было сформироваться, но потому, что она занимала самое сильное и привилегированное место в этом мире. старое состояние общества, которое было обречено на разрушение.

Понаблюдайте, как ход времени делал и продолжает делать эту истину все более ощутимой день ото дня. В той же мере, в какой политические последствия Революции стали более прочными, ее нерелигиозные результаты были уничтожены; в той же мере, в какой все старые политические институты, против которых Революция нападала, были полностью разрушены — в той же мере, в какой силы, влияния и классы, которые были объектами ее особой враждебности, были безвозвратно подавлены, пока даже ненависть, которую они вызывали, не начала терять свою интенсивность — в той же мере, короче говоря, по мере того, как духовенство все больше и больше отделялось от всего, что ранее пало вместе с ним, мы видели, как власть Церкви постепенно восстанавливается и восстановите его господство над умами людей.

Также не следует предполагать, что это явление характерно только для Франции; вряд ли в Европе найдется хоть одна христианская церковь, которая не восстановила свою жизнеспособность после Французской революции.

Было бы большой ошибкой полагать, что демократическое состояние общества обязательно враждебно религии: ничто в христианстве или даже в католицизме не противоречит абсолютно духу этой формы общества, и многое в демократии чрезвычайно благоприятствует ей. Более того, опыт всех эпох показывает, что самый живой корень религиозной веры когда-либо был посажен в сердце народа. Все погибшие религии дольше всего оставались в этой обители, и было бы действительно странно, если бы институты, которые стремятся придать силу идеям и страстям людей, в качестве постоянного и неизбежного результата вели умы людей к нечестию.

То, что только что было сказано о религиозной власти, может быть с еще большей силой отнесено к социальной.

Когда Революция разом свергла все институты и все обычаи, которые до того времени поддерживали определенные градации в обществе и удерживали людей в определенных рамках, казалось, что результатом будет полное разрушение не только одного конкретного

общественного порядка, но и всего порядка вообще: не только той или иной формы правления, но и всей социальной власти; и ее природа была признана по существу анархической. Тем не менее, я утверждаю, что это тоже было правдой только внешне.

В течение года после начала революции Мирабо тайно писал королю: 'Сравните новое положение вещей со старым правлением; здесь есть почва для утешения и надежды. Одна часть актов Национального собрания, и эта более значительная часть, очевидно, благоприятствует монархическому правлению. Разве без парламентов ничего не будет? *безгосударственной поддержки?* без духовенства? без привилегированного класса? без дворянства? Идея создания единого класса из всех граждан понравилась бы Ришелье; это внешнее равенство облегчает осуществление власти. Несколько последовательных правлений абсолютной монархии не сделали бы для королевской власти так много, как этот год революции.' Таков был взгляд на Революцию человека, способного руководить ею.

Поскольку целью Французской революции было не только изменение древней формы правления, но и упразднение древнего общественного состояния, она должна была сразу же атаковать каждую установленную власть, уничтожить всякое признанное влияние, стереть все традиции, создать новые манеры и обычаи и, так сказать, очистить человеческий разум от всех идей, на которых до сих пор основывались уважение и повиновение. Отсюда и возник его необычайно анархический характер.

Но расчистите руины, и вы увидите огромную центральную власть, которая привлекла и поглотила в единство все доли власти и влияния, которые ранее были рассеяны среди множества второстепенных сил, орденов, классов, профессий, семей и отдельных лиц и которые были рассеяны по всей структуре общества. Мир не видел такой силы со времен падения Римской империи. Эта власть была создана Революцией, или, скорее, она возникла спонтанно из руин, оставленных Революцией. Правительства, которые он основал, более ненадежны, это правда, но в сто раз могущественнее любого из тех, которые он сверг; позже мы увидим, что их хрупкость и могущество были вызваны теми же причинами.

Именно эту простую, регулярную и внушительную форму власти Мирабо воспринимал сквозь пыль и хлам древних, наполовину разрушенных институтов. Этот объект, несмотря на свое величие, все еще был невидим для глаз многих, но время постепенно открыло его всем взорам. В настоящий момент это особенно привлекает внимание правителей: на это смотрят с восхищением и завистью не только те, кого создала Революция, но и те, кто наиболее чужд и враждебен ей; все они стремятся в пределах своих собственных владений уничтожить иммунитеты и отменить привилегии. Они смешивают ранги, они уравнивают классы, они заменяют аристократию государственными чиновниками, местные привилегии - единообразными законодательными актами, а разнообразие полномочий - единством Центрального правительства. Они трудятся над этой революционной задачей с неослабевающим усердием, и когда они сталкиваются со случайными препятствиями, они без колебаний копируют меры, а также принципы Революции. Они даже настраивали бедных против богатых, средние классы против знати, крестьян против своих феодалов. Французская революция была одновременно и их проклятием, и их наставником.

ГЛАВА III.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ, ПОСЛЕДОВАВШЕЙ За РЕЛИГИОЗНЫМИ РЕВОЛЮЦИЯМИ, И ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ.

Все простые гражданские и политические революции зарождались в какой-либо стране и оставались ограниченными ее пределами. Французская революция, однако, не имела территориальных границ — отнюдь нет; одним из ее последствий стало как бы стирание всех древних границ с карты Европы. Она объединяла или разделяла человечество вопреки законам, традициям, характерам и языкам, превращая соотечественников во врагов, а иностранцев - в братьев; или, скорее, она сформировала интеллектуальную страну, общую для людей каждой нации, но независимую от всех отдельных национальностей.

Мы напрасно стали бы рыться во всех анналах истории в поисках политической революции того же характера; этот характер можно найти только в определенных религиозных революциях. И соответственно, именно с ними следует сравнивать Французскую революцию, если мы хотим пролить на нее какой-либо свет по аналогии.

Шиллер справедливо замечает в своей "Истории Тридцатилетней войны", что великая Реформация шестнадцатого века привела к сближению наций, которые едва знали друг друга, и к тесному объединению их новыми симпатиями. Таким образом, французы воевали против французов, в то время как англичане приходили им на помощь; люди, родившиеся на самых отдаленных берегах Балтики, проникали в самое сердце Германии, чтобы защитить немцев, о существовании которых они до тех пор никогда не слышали. Международные войны приобрели характер гражданских войн, в то время как в каждой гражданской войне участвовали иностранцы. Прежние интересы каждой нации были забыты ради новых интересов; территориальные вопросы сменились вопросами принципа. Правила дипломатии были вовлечены в неразбериху, к большому ужасу и изумлению политиков того времени. То же самое произошло в Европе после 1789 года.

Французская революция тогда была политической революцией, которая по своему действию и своему аспекту напоминала религиозную. Оно обладало всеми особыми и характерными чертами религиозного движения; оно не только распространилось в зарубежных странах, но и было перенесено туда проповедью и пропагандой. Невозможно представить себе более странное зрелище, чем политическая революция, вдохновляющая на прозелитизм, который ее приверженцы проповедуют иностранцам с таким же рвением, с какой они проводили его у себя дома. Из всех новых и странных вещей, явленных миру Французской революцией, эта, несомненно, самая новая. Углубляясь в этот вопрос, мы, скорее всего, обнаружим, что это сходство следствий должно быть вызвано скрытым сходством причин.

Общий характер большинства религий таков, что они имеют дело с человеком самим по себе, не принимая во внимание то, что законы, традиции и обычаи каждой страны могли привнести в его изначальную природу. Их главная цель - регулировать отношения человека к Богу, а также права и обязанности людей друг по отношению к другу независимо от различных форм общества. Правила поведения, которые они прививают, применимы не столько к человеку какой-либо конкретной страны или периода, сколько к человеку как к сыну, отцу, слуге, хозяину или соседу. Будучи, таким образом, основаны на самой природе человека, они применимы ко всем людям, во все времена и во всех местах. Именно по этой причине религиозные революции

так часто охватывали такие обширные сферы действия и редко ограничивались, подобно политическим революциям, территорией одной нации или даже одной расы. Если мы исследуем этот предмет еще внимательнее, то обнаружим, что чем более абстрактным и общим характером обладала какая-либо религия, о которой я говорю, тем шире она распространялась, несмотря на все различия в законах, климате и расах.

Языческие религии древности, которые все были более или менее связаны с политическим устройством или социальным состоянием каждой нации и которые даже в своих догмах проявляли определенный национальный и даже муниципальный характер, редко распространялись за пределы своих собственных территориальных границ. Иногда они порождали нетерпимость и преследования, но прозелитизм был им неизвестен.

Соответственно, до введения христианства в Западной Европе не было великих религиозных революций, которые легко преодолели барьеры, которые были непреодолимы для языческих религий, и быстро покорили значительную часть человеческой расы. Не будет неуважением к этой святой религии сказать, что своим триумфом она отчасти обязана тому факту, что была более свободна, чем любая другая вера, от всего, присущего какой-либо нации, форме правления, социальным условиям, периоду или расе.

Французская революция в отношении этого мира протекала точно так же, как религиозные революции протекают в отношении следующего; она рассматривала гражданина *abstraitement*, независимо от какого-либо конкретного общества, точно так же, как большинство религий смотрят на человека в целом независимо от времени или страны. Она стремилась не просто определить, каковы особые права французского гражданина, но и каковы универсальные обязанности и права всех людей в политических вопросах. Именно благодаря такому обращению к тому, что было наименее своеобразным и, можно почти сказать, наиболее *естественным* в принципах общества и правительства, Французская революция стала понятной всем людям, и ей можно было подражать в сотне различных мест.

Поскольку она делала вид, что больше стремится к возрождению человечества, чем даже к реформе Франции, она вызвала такие страсти, каких никогда прежде не вызывали самые жестокие политические революции. Это породило дух прозелитизма и создало пропаганду. Это придало ему тот аспект религиозной революции, который так ужасал его современников, или, скорее, мы должны сказать, что он стал своего рода новой религией сам по себе — религией, правда, несовершенной, без Бога, без поклонения, без будущей жизни, но которая, тем не менее, подобно исламу, распространила по лицу земли своих солдат, своих апостолов и своих мучеников.

Не следует, однако, воображать, что метод действий, примененный Французской революцией, был совершенно беспрецедентным или что все идеи, которые она развила, были совершенно новыми. В каждую эпоху, даже в глубине средневековья, находились агитаторы, которые ссылались на универсальные законы человеческого общества, чтобы ниспровергнуть определенные обычаи, и которые пытались выступить против конституций своих собственных стран с оружием, заимствованным из естественных прав человечества. Но все эти попытки потерпели неудачу; пожар, который воспламенил Европу в восемнадцатом веке, был легко потушен в пятнадцатом. Революции не могут быть вызваны аргументами такого рода до тех пор, пока не будут произведены определенные изменения в состоянии, привычках и манерах нации, благодаря которым умы людей будут подготовлены к переменам.

Бывают периоды, когда люди настолько сильно отличаются друг от друга, что понятие единого закона, применимого ко всем, для них совершенно непостижимо. Есть и другие, в которых достаточно показать им издавна неясный образ такого закона, чтобы они сразу узнали его и поспешили принять.

Самое экстраординарное явление заключается не столько в том, что Французская революция пошла тем курсом, которым она шла, и развила идеи, которые она породила, но в том, что так много стран достигли точки, на которой такой курс мог быть эффективно применен и такие максимы были легко приняты.

ГЛАВА IV.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО ПОЧТИ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ БЫЛИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ИНСТИТУТЫ, И ЧТО ЭТИ ИНСТИТУТЫ ПОВСЮДУ РАЗВАЛИВАЛИСЬ НА КУСКИ.

Племена, которые свергли Римскую империю и которые в конце концов образовали все современные нации Европы, различались друг от друга по расе, стране и языку; они походили друг на друга только варварством. Утвердившись во владениях империи, они вступили в долгую и ожесточенную борьбу, и когда, наконец, они обрели прочную опору, то оказались разделенными теми самыми руинами, которые сами же и создали. Цивилизация была почти уничтожена, общественному порядку пришел конец, отношения между людьми стали трудными и опасными, и огромная часть европейского общества была распadena на тысячи маленьких отдельных и враждебных обществ, каждое из которых жило отдельно от остальных. Тем не менее из гущи этой бессвязной массы сразу возникли определенные единообразные законы.

Эти институты не были скопированы с римского законодательства; [4] действительно, они были настолько против этого, что пришлось прибегнуть к римскому праву, чтобы изменить и отменить их. Они обладают определенными оригинальными характеристиками, которые отличают их от всех других законов, изобретенных человечеством. Они соответствовали друг другу во всех своих частях и, взятые вместе, образовали свод законов, настолько компактный, что статьи наших современных кодексов не отличаются большей целостностью; это были искусно составленные законы, предназначенные для полудикого состояния общества.

В мои задачи не входит выяснять, как такая система законодательства могла возникнуть, распространиться и стать всеобщей по всей Европе. Но несомненно, что в средние века она существовала в большей или меньшей степени в каждой европейской нации и что во многих она преобладала, исключая все остальные.

У меня была возможность изучать политические институты средневековья во Франции, Англии и Германии, и чем дальше я продвигался в своих трудах, тем больше я поражался поразительному сходству, которое существовало между всеми этими различными сводами законов; и тем больше я удивлялся, как столь разные нации, имевшие так мало связей, могли разработать законы, столь схожие. Нет, но они постоянно и почти неизмеримо различаются в своих деталях и в разных странах, но основа неизменно одна и та же. Если бы я обнаружил политический институт, закон, неизменный авторитет в древнегерманском законодательстве, я был уверен,

что при дальнейших поисках нашел бы нечто в точности аналогичное ему во Франции и в Англии. Каждая из этих трех наций помогла мне более полно понять другие.

Во всех трех странах управление осуществлялось в соответствии с одними и теми же принципами, политические собрания формировались из одних и тех же элементов и наделялись одними и теми же полномочиями. Общество было разделено таким же образом, и в каждом существовала одна и та же градация классов; во всех трех положение знати, ее привилегии, ее характеристики и их нрав были идентичны; как люди они не отличались друг от друга, а скорее, собственно говоря, были одними и теми же людьми везде.

Муниципальные конституции были одинаковыми; сельские округа управлялись одинаковым образом. Положение крестьянства отличалось лишь немногим; земля принадлежала, заселялась и обрабатывалась одним и тем же способом, и земледельцы несли одно и то же бремя. От границ Польши до Ирландского канала поместья лордов, манориальные суды, феодальные владения, земельная рента, феодальная служба, феодальные права и корпорации или торговые гильдии - все было одинаковым. Иногда сами названия были одними и теми же; и что еще более примечательно, один и тот же дух веял во всех этих аналогичных учреждениях. Думаю, я могу рискнуть утверждать, что в четырнадцатом веке социальные, политические, административные, судебные, экономические и литературные институты Европы были более близки друг другу, чем в настоящее время, когда цивилизация, по-видимому, открыла все каналы коммуникации и устранила все препятствия.

В мои планы не входит рассказывать о том, как эта древняя конституция Европы постепенно истощалась и приходила в упадок; достаточно отметить, что в восемнадцатом веке она повсеместно приходила в упадок. [5] В целом, его упадок был менее заметен на востоке, чем на западе континента; но со всех сторон были заметны старость и дряхлость.

За ходом этого постепенного упадка институтов средневековья можно проследить в архивах различных наций. Хорошо известно, что в каждом поместье хранились списки, называемые *терьерами*, в которых из века в век записывались границы феодальных владений и размер арендной платы, пошлины, подлежащие оказанию услуги и местные обычаи. Я видел свитки тринадцатого и четырнадцатого веков, которые являются шедеврами метода, прозорливости, лаконичности и остроты. Чем дальше мы продвигаемся к современности, тем более неясными, плохо перевариваемыми, ущербными и запутанными они становятся, несмотря на общий прогресс просвещения. Кажется, что политическое общество стало варварским, в то время как гражданское общество продвигается к цивилизации.

Даже в Германии, где древняя конституция Европы сохранила гораздо больше своих примитивных черт, чем во Франции, некоторые из созданных ею институтов были уже полностью разрушены. Но мы не сможем так хорошо оценить разрушительное действие времени, когда примем во внимание то, что ушло, как когда исследуем состояние того, что осталось.

Муниципальные учреждения, которые в XIII и XIV веках превратили главные города Германии в богатые и просвещенные маленькие республики, все еще существовали в XVIII веке; но они были лишь подобием прошлого. Их древние традиции, казалось, продолжали оставаться в силе; назначенные ими магистраты носили те же титулы и, казалось, выполняли те же функции; но активность, энергия, муниципальный патриотизм, мужественные и плодотворные добродетели,

которые они некогда вдохновляли, исчезли. Эти древние институты, по-видимому, рухнули, не утратив той формы, которая их отличала. [6]

Все державы Средневековья, которые все еще существовали, казалось, были поражены одной и той же болезнью; все проявляли симптомы одинаковой вялости и упадка. Более того, все, что было связано с конституцией того времени и сохраняло о ней сильное впечатление, даже не относясь абсолютно к этим институтам, сразу же теряло свою жизнеспособность. Таким образом, аристократия была охвачена старческой немощью; даже политическая свобода, наполнившая предыдущие столетия своими достижениями, казалась пораженной бессилием везде, где она сохраняла особые черты, навязанные ей средневековьем. Везде, где Провинциальные собрания сохраняли неизменной свою древнюю конституцию, они сдерживали прогресс цивилизации, вместо того чтобы способствовать ему; они казались бесчувственными и невосприимчивыми к новому духу времени. Соответственно, сердца людей отвернулись от них к их государям. Древность этих институтов не сделала их почтенными: напротив, чем старше они становились, тем больше подвергались дискредитации; и, как ни странно, они вызывали все большую ненависть по мере того, как их упадок делал их менее способными на зло. 'Действительное положение вещей,' сказал немецкий писатель, который был другом и современником периода, предшествовавшего Французской революции, - кажется, стало в целом оскорбительным для всех, а иногда и достойным презрения. Странно видеть, с какой неприязнью мужчины теперь смотрят на все старое. Новые впечатления проникают в лоно наших семей и нарушают их покой. Даже наши домохозяйки больше не будут терпеть свою старинную мебель'. Тем не менее, в то время Германия, как и Франция, отличались высокой социальной активностью и постоянно растущим благосостоянием. Но следует иметь в виду, что все элементы жизни, деятельности и производства были новыми, и не только новыми, но и антагонистичными прошлому.

Королевская власть больше не имела ничего общего с королевской властью средневековья, она пользовалась другими прерогативами, занимала другое место, была проникнута другим духом и внушала другие чувства; государственное управление распространялось во всех направлениях на развалинах местных органов власти; организованный ряд государственных служащих все больше и больше вытеснял правительство знати. Все эти новые силы использовали методы и следовали принципам, которых люди Средневековья либо не знали, либо осуждали; и, действительно, они принадлежат к такому состоянию общества, о котором эти люди не могли составить никакого представления.

В Англии, где, на первый взгляд, может показаться, что древняя конституция Европы все еще действует в полную силу, дело обстоит точно так же. Отбросив древние названия и старые формы, в Англии феодальная система была в значительной степени упразднена в семнадцатом веке; все классы общества начали смешиваться, притязания на происхождение были стерты, аристократия получила широкое распространение, богатство становилось властью, было установлено равенство перед законом, государственные должности были открыты для всех, пресса стала свободной, дебаты в парламенте публичными; все это были новые принципы, неизвестные обществу средневековья. Именно эти новые элементы, постепенно и умело включенные в древнюю конституцию Англии, возродили ее, не подвергая опасности, и наполнили новой жизнью и энергией, не разрушая древние формы. В семнадцатом веке Англия была уже вполне современной нацией, которая все еще сохраняла и как бы забальзамировала некоторые реликвии Средневековья.

Этот быстрый взгляд на положение вещей за пределами Франции был необходим для понимания того, что вот—вот последует; ибо никто, кто видел и изучал только Францию, никогда не сможет — я осмелюсь утверждать - понять что-либо о Французской революции.

ГЛАВА V.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ ОСОБЫЙ РАЗМАХ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Предыдущие страницы не имели иной цели, кроме как пролить некоторый свет на рассматриваемый предмет и облегчить решение вопросов, которые я поставил в начале, а именно: какова была реальная цель Революции? В чем была его особенность? По какой именно причине он был создан и на что это повлияло?

Революция была совершена не для того, как некоторые предполагали, чтобы разрушить авторитет религиозных верований. Вопреки внешнему виду, это была, по сути, социальная и политическая революция; и в кругу социальных и политических институтов она не имела тенденции увековечивать и придавать стабильность беспорядку или (как сказал один из ее главных противников) систематизировать анархию; скорее, она увеличивала силу и права государственной власти. Ей не было суждено (как полагали другие) изменить весь характер, который ранее принимала цивилизация, остановить ее прогресс или даже существенно изменить какой-либо из фундаментальных законов, на которых основано человеческое общество в Западной Европе. Если мы освободим ее от всех случайных обстоятельств, которые меняли ее облик в разных странах и в разное время, и рассмотрим только саму революцию, мы ясно увидим, что ее единственным результатом было упразднение тех политических институтов, которые в течение нескольких столетий действовали среди большей части европейских народов и которые обычно обозначаются как феодальные институты, чтобы заменить их более единообразным и простым состоянием общества и политики, основанным на равенстве социальных условий.

Этого было вполне достаточно, чтобы совершить грандиозную революцию, ибо эти древние институты не только перепутались почти со всеми религиозными и политическими законами Европы, но и породили массу идей, чувств, привычек и манер, которые окружали их. Ничто иное, как ужасная судорога, не могло внезапно разрушить и изгнать из общественного тела ту часть, к которой прилипли все его органы. Из-за этого Революция казалась еще более грандиозной, чем она была на самом деле; казалось, что она разрушает все, ибо то, что она действительно разрушала, было связано и составляло, так сказать, одну плоть со всем в общественном теле.

Какой бы радикальной ни была Революция, ее нововведения на самом деле были гораздо меньше, чем принято предполагать, как я покажу ниже. Что действительно можно сказать, так это то, что она полностью разрушила или продолжает разрушать (ибо это еще не конец) каждую часть древнего состояния общества, обязанного своим происхождением аристократическим и феодальным институтам, — все, что так или иначе связано с этими институтами или в какой-либо степени, сколь угодно незначительной, проникнуто их духом. Она не пощадила ни одной части старого света, за исключением тех, которые всегда были чужды этим институтам или

могли существовать отдельно от них. Меньше всего Революция была случайным событием. Это, правда, застало мир врасплох, но тем не менее это было завершение длительного процесса, внезапное и насильственное прекращение работы, которая последовательно проходила на глазах десяти поколений. Если бы этого не произошло, старая социальная структура в равной степени рухнула бы раньше в одном месте и позже в другом — только она рушилась бы постепенно, а не рушилась с грохотом. Революция совершилась внезапно, яростным и конвульсивным усилием, без какого-либо перехода, без предвидения, без милосердия, то есть то, что произошло бы мало-помалу, если бы было предоставлено самому себе. Это была его работа.

Удивительно, что этот взгляд на предмет, который сейчас кажется таким легким для понимания, был настолько затемнен и запутан даже для самого ясного восприятия.

‘Вместо того, чтобы уладить свои обиды, - говорит Берк о представителях французской нации, - и улучшить структуру своего государства, к чему их призвал их монарх и послала их страна, их заставили избрать совсем другой курс. Сначала они разрушили все равновесия и противовесы, которые служат для закрепления государства и придания ему устойчивого направления и которые обеспечивают верные средства борьбы с любым духом насилия, который может преобладать в любом из сословий. Эти балансы существовали в самой старой конституции и в конституциях всех стран Европы. Их они опрометчиво уничтожили, а затем переплавили все в одну неуместную, плохо связанную массу". [7]

Берк не понимал, что перед его глазами происходит та самая Революция, которая должна была отменить древнее общее право Европы; он не мог понять, что именно об этом, и ни о каком другом, идет речь.

Но почему, мы можем спросить, эта Революция, которая была неизбежна по всей Европе, разразилась во Франции, а не где-либо еще, и почему там она проявила определенные черты, которые больше нигде не проявлялись или, по крайней мере, проявились лишь частично? Этот второй вопрос вполне заслуживает рассмотрения, и исследование его составит тему следующей книги.

КНИГА II.

ГЛАВА I.

ПОЧЕМУ ФЕОДАЛЬНЫЕ ПРАВА СТАЛИ БОЛЕЕ НЕНАВИСТНЫ НАРОДУ ФРАНЦИИ, ЧЕМ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ.

На первый взгляд должно вызывать удивление, что Революция, особой целью которой, как мы видели, было повсеместное уничтожение остатков институтов средневековья, вспыхнула не в тех странах, где эти институты, еще лучше сохранившиеся, заставляли людей сильнее всего

ощущать их стеснение и суровость, а, напротив, в странах, где их последствия ощущались меньше всего; так что бремя казалось наиболее невыносимым там, где оно на самом деле было наименее тяжелым.

Ни в одной части Германии в конце восемнадцатого века крепостное право еще не было полностью отменено, [8] и в большей части Германии люди все еще были буквально *adscripti glebæ*, как в средние века. Почти все солдаты, сражавшиеся в армиях Фридриха II. и Марии Терезии, на самом деле были крепостными. [9] В большинстве немецких государств еще в 1788 году крестьянин не мог покинуть свои владения, и если он покидал их, его могли преследовать во всех местах, где бы его ни нашли, и возвращать силой. В этих владениях он жил под юрисдикцией сеньории, которая контролировала его домашнюю жизнь и наказывала за невоздержанность или лень. Он не мог ни улучшить свое состояние, ни сменить призвание, ни жениться без благосклонности своего хозяина. Служению этому хозяину была посвящена значительная часть его времени. Трудовая рента (*барщина*) существовала в полном объеме и взималась в некоторых из этих стран три дня в неделю. Крестьянин перестроил и отремонтировал особняк лорда, возил свои продукты на рынок, водил свой экипаж и отправлялся по своим поручениям. Несколько лет юности крестьянина прошли на домашней службе в господском доме. Однако крепостной мог стать владельцем земли, но его собственность всегда оставалась очень неполной. Он был обязан определенным образом обрабатывать свое поле под присмотром хозяина, и он не мог ни распоряжаться им, ни закладывать по своему желанию. В некоторых случаях он был вынужден продавать свои продукты; в других ему запрещали их продавать; его обязанность обрабатывать землю была абсолютной. Даже его наследство не переходило к его потомству без вычета; штраф обычно вычитался господином.

Я не ищу эти положения в устаревших законах. Они встречаются даже в Кодексе, составленном Фридрихом Великим и обнародованном его преемником в самый разгар Французской революции. [10]

Во Франции долгое время ничего подобного не существовало. Крестьянин приходил и уходил, покупал и продавал, заключал сделки и трудился, как ему заблагорассудится. Последние следы крепостничества можно было обнаружить только в одной или двух восточных провинциях, присоединенных к Франции в результате завоевания; повсюду этот институт исчез; и действительно, его отмена произошла так давно, что даже дата ее была забыта. Исследования археологов наших дней доказали, что уже в XIII веке крепостного права в Нормандии больше не существовало.

Но в положении народа во Франции произошла другая, еще более великая революция. Французский крестьянин не только перестал быть крепостным; он стал Собственником Земли. Этот факт в настоящее время все еще настолько несовершенно установлен, а его последствия, как мы сейчас увидим, были настолько замечательными, что мне должно быть позволено ненадолго остановиться, чтобы изучить его.

Долгое время считалось, что разделение земельной собственности во Франции восходит к революции 1789 года и было только результатом этой революции. Обратное можно доказать любыми доказательствами.

По крайней мере за двадцать лет до этой революции существовали сельскохозяйственные общества, которые уже сожалели о чрезмерном разделении почвы. 'Разделение наследства,' сказал г-н де Тюрго примерно в то же время, - таково, что то, чего хватало на одну семью, распределяется между пятью или шестью детьми. Поэтому эти дети и их семьи больше не могут существовать исключительно за счет земли". Несколько лет спустя Неккер сказал, что во Франции *огромное* количество небольших сельских владений.

В секретном донесении, направленном одному из провинциальных интендантов за несколько лет до революции, я встречал следующие выражения: "Наследства делятся равным и вызывающим тревогу образом, и поскольку каждый желает иметь что-то от всего и везде, участки земли делятся бесконечно и постоянно". Разве это предложение не могло быть написано в наши дни?

Я сам приложил бесконечные усилия, чтобы, так сказать, реконструировать обзор земельной собственности в том виде, в каком она существовала во Франции до революции, и в некоторых случаях достиг своей цели. В соответствии с законом 1790 года, установившим земельный налог, каждый приход должен был оформить возврат земельной собственности, существовавшей тогда в его границах. Эти доходы по большей части исчезли; тем не менее я обнаружил их в нескольких деревнях и, сравнив их со списками нынешних владельцев, обнаружил, что в этих деревнях число землевладельцев в то время составляло половину, часто две трети от их нынешнего числа: факт, который тем более примечателен, если вспомнить, что общее население Франции увеличилось с того периода более чем на четверть.

Уже тогда, как и в настоящее время, любовь крестьянина к собственности на землю была сильной, и все страсти, которые владение землей породило в его натуре, были уже разожжены. 'Земля всегда продается выше ее стоимости, - сказал замечательный современный наблюдатель, - что проистекает из страсти всех жителей стать собственниками земли. Все сбережения низших слоев общества, которые в других странах вкладываются в частные интересы или в государственные ценные бумаги, предназначены во Франции для покупки земли".

Среди новшеств, которые Артур Янг наблюдал во Франции, когда впервые посетил эту страну, ни одно не поразило его больше, чем огромный раздел земли между крестьянством. Он утверждал, что половина территории Франции принадлежит им по праву собственности. "Я понятия не имел, - часто говорит он, - о таком положении вещей"; и это правда, что такое положение вещей существовало в то время только во Франции или в ближайших окрестностях Франции.

В Англии были крестьяне-землевладельцы, но число их уже значительно сократилось. В Германии во все времена и во всех частях страны существовало определенное количество свободных крестьян-землевладельцев, которые платили за землю. Своеобразные и часто эксцентричные законы, регулировавшие собственность этих крестьян, можно встретить в древнейших германских обычаях; но этот вид собственности всегда носил исключительный характер, и число этих мелких собственников было очень ограничено. [11]

Районы Германии, в которых в конце XVIII века крестьяне владели землей и жили почти так же свободно, как во Франции, лежали на берегах Рейна. [12] В тех же районах революционные

страсти во Франции распространялись с предельной скоростью и всегда были наиболее интенсивными. Районы Германии, которые, напротив, дольше всего оставались недоступными для этих страстей, - это те, где еще не было введено такое право аренды земли. Это наблюдение заслуживает того, чтобы его сделать.

Таким образом, вульгарной ошибкой является предположение, что разделение земельной собственности во Франции восходит к Революции. Такое положение вещей гораздо старше. Революция, это правда, привела к продаже земель Церкви и значительной части земель знати; но если кто-нибудь возьмет на себя труд, как это иногда делал я, обратиться к фактическим доходам и записям об этих продажах, то будет видно, что большая часть этих земель была куплена лицами, которые уже владели другими землями; так что, хотя собственность переходила из рук в руки, число владельцев увеличилось гораздо меньше, чем предполагается. Эти личности уже были *необъятны*, если воспользоваться несколько амбициозным, но, в данном случае, не неточным выражением Неккера.

Результатом Революции был не раскол почвы, а ее временное освобождение. Все эти мелкие землевладельцы на самом деле испытывали трудности в обработке своей собственности и должны были нести множество поборов или сервитутов за землю, от которых они не могли избавиться.

Эти расходы, без сомнения, были обременительными. [13] Но причина, из-за которой они казались невыносимыми, была именно той, которая, казалось бы, рассчитана на то, чтобы уменьшить их бремя. Крестьяне Франции были освобождены больше, чем в какой-либо другой части Европы, от власти своих сеньоров в результате революции, не менее важной, чем та, которая сделала их хозяевами земли.

Хотя то, что во Франции называют Старым режимом, все еще очень близко нам, поскольку мы живем в ежедневном общении с людьми, рожденными по его законам, этот период кажется уже затерянным во мраке времени. Радикальная революция, которая отделяет нас от него, произвела эффект веков: она стерла с лица земли все, что не уничтожила. Поэтому сейчас мало кто может дать точный ответ на простой вопрос — как управлялись сельские округа Франции до 1789 года? И действительно, на этот вопрос нельзя дать точный и детализированный ответ, не изучив не книги, а административные отчеты того периода.

Часто говорят, что французское дворянство, которое давно перестало принимать участие в управлении государством, до последнего сохраняло администрацию сельских округов — сеньоры управляли крестьянством. Это опять очень похоже на ошибку.

В восемнадцатом веке всеми делами прихода управляло определенное количество приходских чиновников, которые больше не были агентами поместья или домена и которых Господь больше не избирал. Некоторые из этих лиц были выдвинуты интендантом провинции, другие были избраны самими крестьянами. В обязанности этих властей входило взимать налоги, ремонтировать церковь, строить школы, созывать приходские собрания и председательствовать на них. Они заботились о собственности прихода и определяли ее применение — они подавали в суд и были привлечены к ответственности от его имени. Лорд домена не только больше не руководил этими мелкими местными делами, но даже не руководил ими. Все приходские чиновники находились в ведении правительства или под контролем центральной власти, как мы покажем в следующей главе. Более того, сеньор почти перестал

действовать как представитель короны в приходе или как канал связи между королем и его подданными. От него больше не ожидали, что он будет применять в приходе общие законы королевства, созывать ополчение, собирать налоги, обнародовать распоряжения суверена или распределять щедроты короны. Все эти обязанности и все эти права принадлежали другим. Фактически сеньор был уже не кем иным, как жителем прихода, отделенным своими собственными иммунитетами и привилегиями от всех остальных жителей. Его ранг был другим, но не его сила. *Сеньор - это всего лишь главный житель* таковы были инструкции, постоянно даваемые провинциальными интендантами своим заместителям.

Если мы покинем приход и изучим устройство более крупных сельских округов, мы обнаружим то же самое положение вещей. Нигде дворяне не занимались общественными делами ни в своем коллективном, ни в индивидуальном качестве. Это было характерно для Франции. Повсюду частично сохранялись характерные черты старого феодального общества: владение землей и управление теми, кто жил на этой земле, все еще были неразрывно связаны.

Англия управлялась так же хорошо, как и главные владельцы земли. Даже в тех частях Германии, как в Пруссии и в Австрии, где правящие князья добились наибольшего успеха в устранении контроля знати над общими делами государства, они в значительной степени оставили за этим классом управление сельскими делами, и хотя землевладелец в некоторых местах контролировался правительством, его власть нигде не была отменена.

По правде говоря, французское дворянство уже давно утратило всякую власть над управлением государственными делами, за исключением одного-единственного пункта, а именно правосудия. Высшая знать все еще сохраняла за собой право иметь судей, которые разрешали определенные иски от их имени, и иногда устанавливала полицейские правила в пределах своих владений; но власть короны постепенно урезала, ограничила и подчинила себе эту сеньориальную юрисдикцию до такой степени, что дворяне, которые все еще ею пользовались, рассматривали ее не столько как источник власти, сколько как источник дохода.

Такова была судьба всех особых прав французского дворянства. Политический элемент исчез; остался только денежный элемент, который в некоторых случаях был значительно увеличен.

Я говорю сейчас о той части благотворных привилегий аристократии, которые были специально названы именем феодальных прав, поскольку именно эти привилегии особенно касались народа.

Нелегко установить, в чем именно заключались эти права в 1789 году, поскольку их число было велико, их разнообразие поразительно, и многие из этих прав уже исчезли или претерпели трансформацию; так что значение терминов, которыми они обозначались, сбивало с толку даже современников и стало неясным для нас. Тем не менее, обратившись к трудам местных юристов восемнадцатого века и внимательно изучив местные обычаи, можно обнаружить, что все права, все еще существовавшие в то время, могут быть сведены к небольшому числу ведущих руководителей; все остальные, правда, все еще существовали, но только в единичных случаях.

Следы сеньориальной трудовой ренты (*барщины*) можно обнаружить почти повсюду, но они уже наполовину исчезли. Большая часть сборов за проезд по дорогам была снижена или отменена; тем не менее, было немного провинций, в которых некоторые из таких сборов все еще не взимались. Повсюду сеньоры взимали пошлины с ярмарок и рынков. По всей Франции у них было исключительное право заниматься спортом. Как правило, только они могли содержать

голубятни и голубятниц; почти везде крестьянин был вынужден молотить на сеньориальной мельнице и давить виноград в сеньориальном винном прессе. Очень универсальным и обременительным правом сеньории был штраф, называемый *lods et ventes*, выплачиваемый сеньору каждый раз, когда покупались или продавались земли в пределах его поместья. По всей стране земля была обременена неплатежами, арендными сборами или сборами в денежной или натуральной форме, причитающимися лорду от правообладателя и не подлежащими выкупу последним. Во всех этих различиях можно проследить одну общую черту. Все эти права были в большей или меньшей степени связаны с почвой или с ее продуктами; все они принадлежали тому, кто ее возделывал. [14]

Духовные властители земли пользовались теми же преимуществами; ибо Церковь, имевшая иное происхождение, иную цель и природу, отличную от феодальной системы, тем не менее, в конце концов тесно слилась с этой системой; и хотя она никогда полностью не сливалась с этой чуждой субстанцией, она проникла в нее так глубоко, что запечатлелась в ней. [15]

Епископы, каноники и должностные лица владели поместьями или податями на земле в силу своих церковных функций. Женский монастырь, как правило, находился в ведении деревни, в которой он находился. Церковь держала крепостных в единственной части Франции, где они еще существовали: она взимала ренту за рабочую силу, причитающуюся ей на ярмарках и рынках; у нее были общая печь, общая мельница, общий винный пресс и общий бык. Более того, духовенство все еще пользовалось во Франции, как и во всем остальном христианском мире, правом на десятину. [16]

Но что я здесь хочу отметить, так это то, что во всей Европе в то время существовали одни и те же феодальные права —*идентично одинаковые*— и что в большинстве континентальных государств они были гораздо более обременительными, чем во Франции. Я могу привести единственный пример сеньориальных притязаний на рабочую силу: во Франции это право было редким и мягким; в Германии оно все еще было всеобщим и суровым.

Более того, многие права феодального происхождения, которые вызывали крайнее отвращение у последнего поколения французов и которые они считали противоречащими не только справедливости, но и цивилизации, такие как десятина, неотчуждаемая арендная плата или бессрочные взносы, штрафы или наследственные права, и то, что на несколько напыщенном языке восемнадцатого века называлось *порабощением почвы*, — все это в то время в определенной степени соблюдалось в Англии, и многие из них существуют в Англии по сей день. . Тем не менее, они не мешают английскому земледелию быть самым совершенным и производительным в мире, и английский народ едва ли осознает их существование.

Как же тогда получилось, что те же самые феодальные права возбудили в сердцах французского народа такую сильную ненависть, что эта страсть пережила свой объект и, следовательно, кажется неугасимой? Причина этого явления заключается в том, что, с одной стороны, французский крестьянин стал собственником земли, а с другой - он полностью вырвался из-под власти крупных землевладельцев. Несомненно, можно было бы указать на множество других причин, но я считаю эти две наиболее важными.

Если бы крестьянин не был собственником земли, он был бы нечувствителен ко многим тяготам, которые феодальная система возложила на земельную собственность. Какое значение имеет

десятина для фермера-арендатора? Он вычитает ее из своей арендной платы. Какое значение имеет арендная плата для человека, который не является владельцем земли? Какое значение имеют даже препятствия на пути к свободному самосовершенствованию для человека, который самосовершенствуется для другого?

С другой стороны, если бы французский крестьянин все еще жил под управлением своего землевладельца, эти феодальные права казались бы ему гораздо менее невыносимыми, потому что он рассматривал бы их как естественное следствие устройства страны.

Когда аристократия обладает не только привилегиями, но и властью, когда она управляет страной, ее частные права могут быть одновременно более обширными и менее заметными. В феодальные времена к знати относились примерно так же, как в наши дни к правительству; бремя, которое они налагали, переносили с учетом безопасности, которую они обеспечивали. У знати было много обременительных привилегий; они обладали многими обременительными правами; но они поддерживали общественный порядок, они вершили правосудие, они приводили в исполнение закон, они приходили на помощь слабым, они вели дела общества. По мере того, как знать переставала заниматься подобными вещами, бремя их привилегий становилось все более гнетущим, и их существование становилось аномалией.

Представьте себе французского крестьянина восемнадцатого века, или, я бы скорее сказал, крестьянина, который сейчас перед вашими глазами, потому что человек остался тем же; изменилось его состояние, но не характер. Возьмем его таким, каким он описан в документах, которые я процитировал, — настолько страстно влюбленным в землю, что он потратит все свои сбережения на ее покупку, причем на покупку любой ценой. Чтобы завершить эту покупку, он должен сначала заплатить налог, но не правительству, а другим землевладельцам по соседству, столь же не связанным, как и он, с управлением общественными делами и едва ли более влиятельным, чем он сам. Наконец-то он овладел ею; его сердце погребено в ней вместе с семенем, которое он посеял. Этот маленький уголок земли, который принадлежит ему в этой огромной вселенной, наполняет его гордостью и независимостью. Но эти соседи снова отрывают его от борозды и заставляют работать на них бесплатно. Он пытается защитить свой молодой урожай от их дичи; они снова мешают ему. Когда он пересекает реку, они ждут, пока он проедет, чтобы взимать пошлину. Он находит их на рынке, где они продают ему право продавать его собственные продукты; и когда по возвращении домой он хочет использовать остаток своей пшеницы для собственного пропитания — той пшеницы, которая была посеяна его руками и выросла у него на глазах, — он не может прикоснуться к ней, пока не смолотит ее на мельнице и не испечет в пекарне этих же людей. Часть дохода от его небольшой собственности также выплачивается им в виде арендной платы, и эти взносы не могут быть ни погашены, ни погашены.

Что бы он ни делал, эти беспокойные соседи повсюду встают у него на пути, чтобы нарушить его счастье, помешать его труду, поглотить его прибыль; и когда они увольняются, появляются другие в черных одеждах Церкви, чтобы забрать самую чистую прибыль от его урожая. Представьте себе состояние, потребности, характер, страсти этого человека и подсчитайте, если сможете, запасы ненависти и зависти, которые накопились в его сердце. [17]

Феодализм все еще оставался величайшим из всех гражданских институтов Франции, хотя и перестал быть политическим институтом. Доведенная до таких масштабов, ненависть, которую она возбуждала, была больше, чем когда-либо; и можно с уверенностью сказать, что

разрушение части учреждений Средних веков сделало во сто крат более отвратительной ту их часть, которая еще сохранилась. [18]

ГЛАВА II.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТИТУТОМ, ВОЗНИКШИМ ВО ФРАНЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1789 ГОДА, А НЕ ПРОДУКТОМ РЕВОЛЮЦИИ ИЛИ ИМПЕРИИ, КАК ОБЫЧНО ГОВОРЯТ.

В период, когда во Франции еще существовали политические собрания, я однажды слышал, как один оратор, говоря об административной централизации, назвал ее ‘тем замечательным достижением Революции, которому Европа завидует’. Я признаю тот факт, что централизация - замечательное достижение; я признаю, что Европа завидует нам в ее обладании, но я утверждаю, что это не достижение Революции. Напротив, это продукт прежних институтов Франции и, я могу добавить, единственная часть политической конституции монархии, которая пережила революцию, поскольку она была единственной, которую можно было приспособить к новым социальным условиям, вызванным этой революцией. Читатель, у которого хватит терпения внимательно прочитать настоящую главу, обнаружит, что я доказал это утверждение.

Прежде всего я должен просить разрешения исключить из рассмотрения то, что называлось *les pays d'état*, то есть провинции, которые сами управляли своими делами или, скорее, частично создавали видимость управления ими. В этих провинциях, расположенных на окраинах королевства, проживало не более четверти всего населения Франции; и только в двух из них провинциальная свобода обладала какой-либо реальной жизнеспособностью. Я вернусь к ним позже и покажу, до какой степени центральная власть подчинила эти самые государства общему образцу. [19] Но сейчас я хочу уделить свое основное внимание тому, что на административном языке того времени называлось *выборами*, хотя, по правде говоря, в них было меньше выборов, чем где-либо еще. Эти районы окружали Париж со всех сторон, они были смежными и составляли сердце и лучшую часть территории Франции.

У любого, кто может окинуть взглядом древнее управление королевством, первое впечатление складывается о разнообразии постановлений и властей, а также о запутанном взаимодействии различных властей. Франция была покрыта административными органами и отдельными должностными лицами, которые не имели никакой связи друг с другом, но принимали участие в управлении в силу права, которое они приобрели и которое у них нельзя было отнять; но их обязанности часто были настолько переплетены и настолько почти смежны, что теснили друг друга в рамках одних и тех же операций.

Суды принимали косвенное участие в законодательной власти и обладали правом разработки административных регламентов, которые становились обязательными в пределах их собственной юрисдикции. Иногда они поддерживали оппозицию администрации, так называемой в собственном смысле этого слова, громко обвиняли ее меры и объявляли вне

закона ее агентов. Полицейские постановления издавались простыми судьями в городах и округах, где они проживали.

Города имели большое разнообразие конституций, и их магистраты носили разные звания — иногда мэров, иногда консулов или снова синдиков, и черпали свои полномочия из разных источников. Некоторые из них были избраны королем, другие - землевладельцем или принцем, владеющим феодалом; некоторые снова были избраны на год своими согражданами, в то время как другие приобрели право управлять ими постоянно.

Эти различные силы были последними остатками древней системы; но нечто сравнительно новое или сильно измененное постепенно утвердилось среди них, и это мне еще предстоит описать.

В центре королевства, рядом с тронном, постепенно сформировался административный орган чрезвычайной власти, в руках которого по-новому объединилась вся власть: это был Королевский совет. Его происхождение было древним, но большая часть его функций относится к недавнему времени. Это был одновременно верховный суд, поскольку он имел право отменять решения всех обычных судов, и высший административный трибунал, поскольку каждая специальная юрисдикция зависела от него в последней инстанции. Более того, как Государственный совет, подчинявшийся воле короля, он обладал законодательной властью, поскольку обсуждал и предлагал большую часть законов, а также устанавливал и начислял налоги. Как высший административный совет, он должен был разработать общие правила, которыми должны были руководствоваться агенты правительства. В его стенах решались все важные дела и контролировались все второстепенные полномочия. Все в конце концов вернулось к нему; из этого центра возникло движение, которое привело все в движение. И все же оно не обладало собственной присущей ему юрисдикцией. Король единолично принимал решения, даже когда казалось, что Совет дает советы, и даже когда казалось, что он вершит правосудие, он состоял не более чем из простых "дающих советы" — выражение, использованное парламентом в одном из своих протестов.

Этот Совет состоял не из людей высокого ранга, а из лиц среднего или даже низкого происхождения, бывших интендантов или других представителей этого класса, хорошо разбиравшихся в управлении бизнесом, и все они подлежали увольнению короной. Обычно оно шло своим чередом тихо и осмотрительно, демонстрируя меньше претензий, чем реальную власть; и поэтому у него было лишь немного собственного блеска, или, скорее, оно терялось в великолепии трона, к которому оно находилось так близко; одновременно настолько могущественное, что все попадало в его поле зрения, и настолько темное, что это едва ли было отмечено историей.

Поскольку вся администрация страны направлялась единым органом, то почти все управление внутренними делами было поручено одному—единственному агенту - Генеральному контролеру. Открыв "альманах Франции до революции", вы обнаружите, что в каждой провинции был свой специальный министр; но при изучении самой администрации в юридических документах того времени вскоре станет ясно, что у министра провинции было всего несколько сколько-нибудь важных случаев для осуществления своей власти. Общим ходом дел руководил генеральный контролер, который постепенно взял на себя все дела, имевшие какое-либо отношение к деньгам, то есть почти все государственное управление; и

который, таким образом, последовательно исполнял обязанности министра финансов, министра внутренних дел, министра общественных работ и министра торговли.

Поскольку, по правде говоря, у центральной администрации был только один агент в Париже, точно так же у нее было только по одному агенту в каждой провинции. В восемнадцатом веке все еще можно было встретить дворян, носящих титулы губернаторов провинций; они были древними и часто наследственными представителями феодальной королевской семьи. Им по-прежнему оказывались почести, но они больше не имели никакой власти. Интендант владел всей реальностью управления.

Этот интендант был человеком скромного происхождения, всегда чужим в провинции, и молодым человеком, которому предстояло сколотить состояние. Он никогда не исполнял свои обязанности по какому-либо праву избрания, рождения или покупки должности; он был выбран правительством среди низших членов Государственного совета и всегда подлежал увольнению. Он представлял тело, от которого был таким образом отделен, и по этой причине на административном языке того времени его называли Отстраненным Комиссаром. Все полномочия, которыми обладал сам Совет, были сосредоточены в его руках, и он осуществлял их в первую очередь. Подобно Совету, он был одновременно администратором и судьей. Он переписывался со всеми министрами и в провинции был единственным проводником всех мер правительства.

В каждом кантоне ниже него был назначен офицер, назначаемый им самим и заменяемый по желанию, называемый заместителем делегата. Интендантом очень часто был новоиспеченный дворянин; заместителем делегата всегда был плебей. Тем не менее он представлял все правительство на отведенном ему небольшом ограниченном пространстве в той же степени, что и интендант в целом; и он подчинялся интенданту так же, как интендант министру.

Маркиз д'Аржансон рассказывает в своих 'Мемуарах', что однажды Лоу сказал ему: 'Я никогда бы не поверил в то, что увидел, когда был финансовым контролером. Знаете ли вы, что Французским королевством управляют тридцать интендантов? У вас нет ни парламента, ни поместий, ни губернаторов. Именно от тридцати Мастеров Запросов, разосланных по провинциям, полностью зависит их зло или добро, их плодovitость или бесплодие'.

Однако эти могущественные правительственные чиновники были полностью затмеваемы остатками древней аристократии и терялись в блеске, который эта организация все еще излучала вокруг себя. Так что даже в свое время их почти не было видно, хотя их палец уже касался всего. В обществе дворяне имели перед такими людьми преимущества в ранге, богатстве и уважении, всегда связанном с тем, что является древним. В правительстве знать непосредственно интересовалась личностью принца и формировала его Двор, командовала флотами, командовала армиями, короче говоря, делала все то, что больше всего привлекает внимание современников и слишком часто поглощает внимание потомков. Человек высокого ранга был бы оскорблен предложением назначить его интендантом. Самый бедный член семьи, как правило, отверг бы это предложение. В его глазах интенданты были представителями власти-высочки, новыми людьми, назначенными управлять средними классами и крестьянством, а что касается остального, то это была очень жалкая компания. И все же, как сказал Лоу и как мы увидим позже, именно эти люди правили Францией.

Начнем с права на налогообложение, которое включает в себя, так сказать, все остальные права. Хорошо известно, что часть налогов была получена на фермах. В этих случаях Королевский совет вел переговоры с финансовыми компаниями, устанавливал условия контракта и регулировал способ взыскания. Все остальные налоги, такие как *taille*, подушный налог и *vingtièmes*, устанавливались и взимались агентами центральной администрации или под их всемогущим контролем.

Совет каждый год тайным решением устанавливал количество *тайля* и его многочисленных принадлежностей, а также его распределение между провинциями. Таким образом, количество посетителей увеличивалось из года в год, хотя внимание общественности к этому факту никогда не привлекалось, по этому поводу не поднималось шума.

Поскольку *тайный* налог был древним налогом, его оценка и сбор ранее были поручены местным агентам, которые все были более или менее независимы от правительства по праву рождения, избрания или покупки должности; они были землевладельцами, приходскими сборщиками, казначеями Франции или должностными лицами, называемыми *elus*. Эти органы власти все еще существовали в восемнадцатом веке, но некоторые из них вообще перестали заниматься *тайлем*, в то время как другие делали это лишь второстепенным и полностью подчиненным образом. Даже здесь вся власть находилась в руках интенданта и его агентов; по правде говоря, он один оценивал *налоги* в различных приходах, руководил сборщиками налогов и контролировал их, а также предоставлял отсрочки платежей или льготы.

Поскольку другие налоги, такие как подушный налог, появились совсем недавно, правительство больше не стеснялось в отношении них остатками прежних полномочий, но решало их без какого-либо вмешательства управляемых сторон. Генеральный контролер, интендант и Совет устанавливали размер каждой квоты.

Давайте оставим вопрос денег для мужчин.

Иногда вызывает удивление, как французы могли так терпеливо нести ярмо военной повинности во время Революции и с тех пор; но следует иметь в виду, что они уже были приучены нести его в течение длительного периода времени. Призыву предшествовало ополчение, которое было более тяжелым бременем, хотя требовалось меньше людей. Время от времени молодых людей в стране заставляли тянуть жребий, и из их числа отбиралось определенное количество солдат, которые формировались в полки ополчения, в которых они служили в течение шести лет.

Поскольку ополчение было сравнительно современным институтом, ни одна из древних феодальных держав не вмешивалась в его деятельность; все дело было доверено только агентам центрального правительства. Совет установил общее количество мужчин и долю каждой провинции. Интендант регулировал количество мужчин, подлежащих призыву в каждом приходе; его заместитель руководил жеребьевкой, решал все случаи освобождения, назначал тех ополченцев, которым было разрешено остаться со своими семьями, и тех, кто должен был присоединиться к полку, и, наконец, передавал последних военным властям. Не было никакой апелляции, кроме как к интенданту или Совету.

С такой же точностью можно сказать, что, за исключением *государственных учреждений*, все общественные работы, даже те, которые имели совершенно особое назначение, определялись и управлялись исключительно агентами центральной власти.

Несомненно, существовали местные и независимые органы власти, которые, подобно сеньору, финансовым управлениям и *grands voyers* (инспекторам дорог общего пользования), имели право принимать участие в таких вопросах государственного управления. Но все эти древние власти, как можно видеть при малейшем изучении административных документов того времени, проявляли незначительную активность или не проявляли себя больше. Все большие дороги и даже перекрестки, ведущие из одного города в другой, были построены и содержались за счет государственных доходов. Совет утвердил план и заключил контракт на его выполнение. Интендант руководил инженерными работами, а заместитель делегата собирал подневольных рабочих, которые должны были их выполнять. Забота о проселочных дорогах была возложена только на старые местные власти, и они стали непроходимыми.

Как и в наши дни, организация *мостов и дорог* была главным агентом центрального правительства в области общественных работ, и, несмотря на разницу времен, время от времени в их составе можно обнаружить весьма примечательное сходство. В администрации *моста и Шоссе* были совет и школа, инспекторы, которые ежегодно объезжали всю Францию, и инженеры, которые проживали на месте и которые были назначены руководить работами по приказу интенданта. Гораздо большее количество институтов старой монархии, чем принято считать, было передано современному состоянию французского общества, но в процессе передачи они, как правило, утратили свои названия, хотя и сохранили те же формы. Как редкое исключение, в *мостах и Шоссах* сохранилось как то, так и другое.

Только центральное правительство обязалось с помощью своих агентов поддерживать общественный порядок в провинциях. *Маршалство*, или конная полиция, было рассредоточено небольшими отрядами по всей территории королевства и повсюду находилось под контролем интендантов. Именно с помощью этих солдат, и, при необходимости, регулярных войск, интендант предотвращал любую внезапную опасность, арестовывал бродяг, пресекал нищенство и подавлял беспорядки, которые постоянно возникали из-за роста цен на зерно. Никогда не случалось, как это было раньше, чтобы подданные короны были призваны помогать правительству в выполнении этой задачи, за исключением, конечно, городов, где обычно имелаась городская стража, солдаты которой отбирались, а офицеры назначались интендантом.

Судебные органы сохранили за собой право издавать полицейские постановления и часто пользовались им; но эти постановления были применимы только к части территории и, в более общем плане, только к одному месту. Совет имел право аннулировать их, и часто действительно аннулировал их в случаях подчиненной юрисдикции. Но Совет постоянно издавал общие постановления, применимые ко всем частям королевства, либо в отношении вопросов, отличных от тех, которые трибуналы уже урегулировали, либо применимые к тем, которые они урегулировали другим способом. Число этих постановлений, или *советов*, как их тогда называли, было огромным; и они, по-видимому, постоянно увеличивались по мере того, как мы приближались к Революции. Едва ли найдется хоть один вопрос социальной экономики или политической организации, который не был бы реорганизован этими *советами* за сорок лет, предшествовавших этому событию.

При древнем феодальном строе общества землевладелец, если и обладал важными правами, в то же время нес очень тяжелые обязательства. Его долгом было помогать неимущим в глубине своих владений. Последний след этого старого европейского законодательства можно найти в Прусском кодексе 1795 года, который гласит: 'Хозяин земли должен следить за тем, чтобы

неимущие крестьяне получали образование. Его долг - обеспечивать средствами к существованию тех из своих вассалов, у которых нет земли, насколько это в его силах. Если кто-нибудь из них окажется в нужде, он должен прийти им на помощь.

Но подобного закона во Франции долгое время не существовало. Господь, лишенный своей прежней власти, считал себя освобожденным от своих прежних обязательств; и никакая местная власть, никакой совет, никакая провинциальная или приходская ассоциация не заняли его места. Закон больше не обязывал ни одно живое существо заботиться о бедных в сельских округах, и Центральное правительство смело взяло на себя обязательство обеспечивать их нужды за счет собственных ресурсов.

Каждый год Совет выделял каждой провинции определенные средства, получаемые из общего дохода от налогов, которые интендант распределял на помощь бедным в различных приходах. Именно к нему должен был обращаться неимущий рабочий, и во времена дефицита именно он распоряжался распределением зерна или риса среди людей. Совет ежегодно издавал постановления о создании благотворительных мастерских (*ateliers de charité*), где беднейшие слои крестьянства могли найти работу за низкую заработную плату, и Совет взял на себя определение мест, где это было необходимо. Легко предположить, что милостыня, подаваемая таким образом на расстоянии, была неразборчивой, капризной и всегда очень неадекватной. [20]

Более того, центральное правительство не ограничивалось оказанием помощи крестьянству в трудную минуту; оно также взяло на себя обязательство научить их искусству обогащения, поощряло их в этой задаче и при необходимости принуждало к ней. [21] С этой целью время от времени его Интенданты и их заместители-делегаты распространяли небольшие брошюры по сельскохозяйственной науке, основывали сельскохозяйственные школы, присуждали призы и содержали за большие деньги питомники, продукцию которых оно распространяло. Казалось бы, было бы разумнее облегчить тяжесть и уменьшить неравенство бремени, которое тогда угнетало сельское хозяйство страны, но такая идея, похоже, никогда не приходила в голову.

Иногда Совет настаивал на том, чтобы заставить людей процветать, хотя бы они того или нет. Постановлений, обязывающих ремесленников использовать определенные методы и изготавливать определенные изделия, неисчислимо; и поскольку у интендантов не было времени следить за применением всех этих постановлений, были генеральные инспекторы мануфактур, которые посещали провинции, чтобы настоять на их выполнении. Некоторые *из постановлений Совета* даже запрещали выращивание определенных культур, которые Совет не считал подходящими для этой цели; в то время как другие предписывали уничтожать те виноградные лозы, которые, по его мнению, были посажены в неблагоприятную почву. Правительство уже настолько полностью сменило свой долг суверена на долг опекуна.

ГЛАВА III.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО ТО, ЧТО СЕЙЧАС НАЗЫВАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕКОЙ, БЫЛО ИНСТИТУТОМ ВО ФРАНЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ.

Во Франции муниципальная свобода пережила феодальную систему. Долгое время после того, как землевладельцы перестали быть правителями сельских районов, города все еще сохраняли право самоуправления. Некоторые города Франции продолжали почти до конца семнадцатого века образовывать, так сказать, небольшие демократические государства, в которых магистраты свободно избирались всем народом и были ответственны перед народом, в которых муниципальная жизнь все еще была публичной и оживленной, в которых город все еще гордился своими правами и ревниво относился к своей независимости.

Впервые эти выборы были вообще отменены в 1692 году. Муниципальные учреждения тогда были так называемыми выставленными на продажу (*"офисы мизеса"* было техническим выражением), то есть король продавал в каждом городе некоторым жителям право постоянного управления всеми своими горожанами.

Эта мера стоила городам сразу их свободы и благосостояния; ибо, если практика продажи комиссионных за государственную службу иногда оказывалась полезной по своим последствиям, когда применялась к судам, — поскольку первым условием надлежащего отправления правосудия является полная независимость судьи, — то эта система неизменно оказывалась крайне вредной, когда ее применяли к административным должностям, которые требуют, прежде всего, ответственности, субординации и рвения. Правительство старой французской монархии было прекрасно осведомлено о реальных последствиях такой системы. Оно проявляло большую осторожность, чтобы не прибегать к тому же способу действий, который оно применяло к городам, и скупулечно воздерживалось от выставления на продажу полномочий своих собственных интендантов и заместителей делегатов.

И то, что это великое изменение было совершено без каких-либо политических мотивов, заслуживает всего презрения истории. Людовик XI. ограничил муниципальные свободы городов, потому что был встревожен их демократическим характером; [22] Людовик XIV. уничтожил их, не испытывая таких опасений. Доказательством является то, что он восстановил эти права во всех городах, которые были достаточно богаты, чтобы выкупить их обратно. На самом деле его целью была не их отмена, а торговля ими; и если они действительно были отменены, то это было сделано, сам того не желая, с помощью простой финансовой уловки. То же самое продолжалось более восьмидесяти лет. Семь раз за этот период корона перепродавала городам право избирать своих магистратов, и как только они еще раз вкусили это благословение, оно было отнято, чтобы быть проданным им еще раз. Мотив этой меры всегда был одним и тем же и часто признавался вслух. 'Наши финансовые потребности,' говорится в преамбуле к эдикту 1722 года, 'вынуждают нас прибегать к наиболее эффективным средствам для их удовлетворения'. Способ был эффективным, но разорительным для тех, кто терпел это странное самозванство. 'Я поражен огромными суммами, которые всегда выплачивались для выкупа муниципальных учреждений', - пишет интендант генеральному контролеру в 1764 году. "Сумма этих сумм, потраченных на полезные улучшения, пошла бы на пользу городу, который, напротив, не почувствовал ничего, кроме веса власти и привилегий этих учреждений.' Я не заметил более позорной черты во всем облике правления Франции до революции.

В настоящее время кажется трудным с точностью сказать, как управлялись города Франции в восемнадцатом веке; ибо, помимо того, что происхождение муниципальных властей постоянно менялось, как только что было указано, каждый город все еще сохранял некоторые фрагменты

своего прежнего устройства и свои особые обычаи. Во Франции, пожалуй, не было двух городов, в которых все было бы в точности похоже; но это кажущееся разнообразие ошибочно и скрывает общее сходство. [23]

В 1764 году правительство предложило принять общий закон об управлении городами Франции, и с этой целью интенданты короны стали направлять отчеты о существующем муниципальном управлении страной. Я обнаружил часть результатов этого расследования и, ознакомившись с ним, полностью убедился в том, что муниципальные дела во всех этих городах велись практически одинаково. Различия лишь поверхностны и очевидны — основа везде одна и та же.

В большинстве случаев управление городами осуществлялось двумя ассамблеями. Таким образом управлялись все крупные города, а также некоторые из малых. Первое из этих собраний состояло из муниципальных служащих, более или менее многочисленных в зависимости от места. Они формировали исполнительный орган сообщества, корпорацию или *corps de la ville*, как ее тогда называли. Члены этого органа пользовались временной властью и были избраны, когда король восстановил выборную власть или когда город смог выкупить свои должности. Они занимали свои должности постоянно за определенную плату короне, когда корона присваивала себе покровительство и ей удавалось избавиться от него путем продажи, что было не всегда; ибо такого рода товары падали в цене точно пропорционально возрастающему подчинению муниципальных властей центральной власти. Эти муниципальные служащие никогда не получали никакой стипендии, но они получали вознаграждение в виде освобождения от налогообложения и привилегий. Среди них, по-видимому, не было установлено регулярной градации полномочий — их управление было коллективным. Мэр был президентом корпорации, а не губернатором города.

Второе собрание, которое называлось генеральной ассамблеей, или, как мы сказали бы в Англии, *ливреей*, избирало корпорацию везде, где она все еще подлежала выборам, и всегда продолжало принимать участие в основных делах города.

В пятнадцатом веке это общее собрание часто состояло из всего населения. ‘Этот обычай,’ сказал один из авторов этих Отчетов, ‘соответствовал народному духу наших предков’. В то время весь народ сам избирал своих муниципальных должностных лиц; корпорация иногда консультировалась с этим органом, и перед этим органом корпорация была ответственна. В конце семнадцатого века иногда можно было встретить такое же положение вещей.

В восемнадцатом веке люди, действующие как единое целое, перестали собираться в этой генеральной ассамблее; к тому времени она стала представительной. Но следует осторожно отметить, что этот орган больше нигде не избирался основной частью сообщества и не был впечатлен его духом. В его состав неизменно входили *знатные люди*, некоторые из которых заседали там в силу личного права; другие были назначены гильдиями или компаниями, от которых каждый из них получал настоятельные инструкции.

По мере того как шло это столетие, число этих знатных людей, заседающих в народном собрании по собственному праву, увеличивалось; делегаты рабочих гильдий отпадали или исчезали вовсе. Их сменили делегаты крупных компаний, или, другими словами, в собрании были только горожане и почти не было ремесленников. Тогда горожане, на которых не так легко повлиять пустым подобием свободы, как иногда предполагается, повсеместно перестали

интересоваться делами города и жили как чужие в своих собственных стенах. Напрасно гражданские власти время от времени пытались возродить тот гражданский патриотизм, который сотворил так много чудес в средние века. Люди оставались глухими. Казалось, что величайшие интересы города больше не затрагивают горожан. Их попросили отдать свои голоса, когда тщетная подделка под свободные выборы была сохранена; но они стояли в стороне. В истории нет ничего более частого, чем подобное явление. Почти все государи, уничтожившие свободу, поначалу пытались сохранить формы свободы, начиная с Августа и до наших дней; они льстили себя надеждой, что таким образом им удастся объединить моральную силу, которую всегда дает общественное согласие, с удобствами, которые может предложить только абсолютная власть. Но почти все они потерпели неудачу в этом начинании и вскоре обнаружили, что невозможно продолжать эти ложные видимости там, где реальность перестала существовать.

Таким образом, в XVIII веке муниципальное управление городами Франции повсеместно выродилось в узкокорыстную олигархию. Несколько семей управляли всеми государственными делами в своих личных целях, вдали от глаз общественности и без какой-либо общественной ответственности. Таково было болезненное состояние этой администрации по всей Франции. Все интенданты указывали на это, но единственным средством, которое они предлагали, было усиление подчинения местных властей Центральному правительству.

Однако в этом отношении было трудно добиться более полного успеха. Помимо королевских указов, которые время от времени изменяли администрацию всех городов Франции, местные подзаконные акты каждого города часто отменялись Распоряжениями Совета, которые не были зарегистрированы - принимались по рекомендации интендантов, без какого-либо предварительного расследования, а иногда и без того, чтобы сами жители городов что-либо знали об этом. [24]

"Эта мера, - сказали жители города, на который повлиял указ подобного рода, - повергла в изумление все городские власти, которые ничего подобного не ожидали".

Города Франции в этот период не могли ни устанавливать *octroi* на предметы потребления, ни взимать пошлину, ни закладывать, ни продавать, ни подавать в суд, ни обрабатывать свою собственность, ни управлять этой собственностью, ни даже использовать свои собственные избыточные доходы без вмешательства Совета, вынесенного по докладу интенданта. Все их общественные работы были выполнены в соответствии с планами и сметами, утвержденными Советом. Эти работы поручались подрядчикам интендантом или его заместителями и, как правило, поручались инженерам или архитекторам штата.

Эти факты, несомненно, вызовут удивление у тех, кто полагает, что все нынешнее состояние Франции является чем-то новым.

Но центральное правительство вмешивалось в муниципальную администрацию городов более непосредственно, чем, по-видимому, следует из этих правил; его власть была гораздо более обширной, чем право ее осуществлять.

Я встречаю следующий отрывок из циркулярной инструкции, адресованной примерно в середине прошлого века генеральным контролером всем интендантам Королевства: 'Вы будете обращать особое внимание на все, что происходит в муниципальных собраниях. Вы позаботитесь о том, чтобы иметь самый точный отчет обо всем, что там делается, и обо всех

принятых решениях, с тем чтобы немедленно передать их мне вместе с вашим собственным мнением по этому вопросу".

На самом деле из переписки интенданта со своими подчиненными офицерами видно, что правительство вмешивалось во все проблемы каждого города, как самые незначительные, так и самые большие. С правительством всегда советовались — у правительства всегда было определенное мнение по каждому вопросу. Оно даже регулировало общественные гуляния, предписывало общественные ликования, запускало салюты и иллюминировало дома. Однажды я заметил, что интендант оштрафовал члена бюргерской гвардии на двадцать ливров за то, что он не явился на *Вечерний прием*.

Таким образом, должностные лица этих муниципальных корпораций пришли к растущему осознанию собственной незначительности. 'Мы смиреннейшим образом умоляем вас, монсеньор' (таков был стиль, в котором они обращались к королевскому интенданту), 'даровать нам вашу благосклонность и защиту. Мы постараемся не показать себя недостойными их, проявив покорность, которую мы готовы проявить ко всем повелениям вашего Величия'. "Мы никогда не противились вашей воле, монсеньор", - таков был язык другой группы этих людей, которые все еще носили помпезный титул пэров города.

Такова была подготовка средних классов к власти, а народа - к свободе.

Если бы хотя бы такая тесная зависимость городов от государства сохранила их финансы! но этого не произошло. Иногда утверждается, что без централизации города разорились бы. Я не знаю, как это могло быть, но я знаю, что в восемнадцатом веке централизация не предотвратила их разорения. Вся административная история того времени изобилует их затруднениями.

Если мы перейдем от городов к деревням, то встретимся с разными силами и разными формами правления, но с той же зависимостью. [25]

Я нахожу много указаний на тот факт, что в средние века жители каждой деревни образовывали сообщество, отличное от Хозяина земли. Он, без сомнения, нанимал общину, надзирал за ней, управлял ею; но деревня владела общей собственностью, которая была абсолютно ее собственностью; она сама избирала своих вождей и управляла своими делами демократическим путем.

Это древнее устройство прихода можно проследить у всех народов, в которых господствовал феодальный строй, и во всех странах, в которые эти народы перенесли остатки своих законов. Эти пережитки встречаются в Англии на каждом шагу, а в Германии эта система была в полной силе шестьдесят лет назад, что можно продемонстрировать, прочитав кодекс Фридриха Великого. Даже во Франции в восемнадцатом веке некоторые следы этого все еще существовали.

Я помню, что, когда я впервые приступил к выяснению из архивов одного из старых интендантств Франции, что подразумевалось под *приходом* до революции, я был удивлен, обнаружив в этой общине, такой бедной и поработанной, некоторые черты, которые давным-давно поразили меня в сельских поселениях Соединенных Штатов и которые я тогда ошибочно принял за особенность общества Нового Света. Ни в том, ни в другом из этих сообществ нет никакого постоянного представительства или какого-либо муниципального органа в строгом смысле этого термина; и тем, и другим управляли должностные лица, действовавшие отдельно

под руководством всего населения. В обоих городах время от времени проводились собрания, на которых все жители, собравшись в одно целое, избирали своих собственных магистратов и решали свои основные дела. Короче говоря, эти два прихода похожи настолько, насколько живое может быть похоже на то, что мертво.

Какими бы разными ни были судьбы этих двух объединенных существ, их рождение было фактически одинаковым.

Сельский приход средневековья в Европе, сразу же перенесенный в регионы, далекие от феодальной системы, и наделенный неограниченной властью над самим собой, превратился в городок Новой Англии. Оторванные от господства над землей, но схваченные могущественной рукой государства, сельские приходы Франции приняли форму, которую я собираюсь описать.

В восемнадцатом веке количество и названия приходских чиновников варьировались в разных провинциях Франции. Древние записи показывают, что этих офицеров было больше, когда местная жизнь была более активной, и что их число уменьшалось по мере того, как эта жизнь приходила в упадок. В большинстве приходов в восемнадцатом веке они были сведены к двум лицам — одного называли 'Сборщиком налогов', другого чаще всего называли "Синдиком". Как правило, эти приходские чиновники либо избирались, либо предполагались таковыми; но они повсюду становились инструментами государства, а не представителями общины. Сборщик взимал *пошлину* по прямому приказу интенданта. Синдик, находящийся под ежедневным руководством заместителя представителя интенданта, представлял это лицо во всех вопросах, касающихся общественного порядка или влияющих на правительство. Он стал главным представителем правительства в отношении военной службы, общественных работ в государстве и исполнения общих законов королевства.

Сеньор, как мы уже видели, стоял в стороне от всех этих деталей управления; он даже перестал руководить ими или помогать в них; более того, эти обязанности, которые в прежние времена служили для поддержания его власти, казались недостойными его внимания по мере прогрессирующего упадка этой власти. В конце концов, требовать от него внимания к ним было бы оскорблением его гордости. Он перестал управлять, но его присутствие в приходе и его привилегии фактически препятствовали установлению в приходе какого-либо хорошего правления вместо его собственного. Частное лицо, столь сильно отличающееся от других прихожан, столь независимое от них и столь пользующееся благосклонностью законов, ослабило или уничтожило авторитет всех правил.

Неизбежный контакт с таким человеком в деревне загнал в города, как я впоследствии буду иметь случай показать, почти всех тех жителей, которые обладали либо способностями, либо образованием, так что около сеньора не осталось никого, кроме кучки невежественных и некультурных крестьян, неспособных управлять своими общими интересами. "Приход, - как справедливо заметил Тюрго, - это скопление хижин и жителей, столь же пассивных, как и хижины, в которых они живут".

Административные отчеты восемнадцатого века полны жалоб на неспособность, леность и невежество приходских коллекционеров и синдиков. Министры, интенданты, заместители делегатов и даже сельские джентльмены всегда сожалеют об этих недостатках; но никто из них не проследил причину этих недостатков.

Вплоть до Революции сельские приходы Франции сохраняли в своем управлении нечто от того демократического аспекта, который они приобрели в средние века. Если предстояло избрать приходских чиновников или обсудить какой-то вопрос, представляющий общественный интерес, деревенский колокол созывал крестьян на паперть церкви, где имели право присутствовать как бедные, так и богатые. На этих собраниях действительно не было никаких регулярных дебатов или какого-либо решающего способа голосования, но каждый мог свободно высказывать свое мнение; и обязанностью нотариуса, специально присланного и работавшего под открытым небом, было собрать эти различные мнения и занести их в протокол заседания.

Когда эти пустые видимости свободы сравниваются с полным бессилием, которое было с ними связано, они представляют собой пример в миниатюре сочетания самого абсолютного правления с некоторыми формами крайней демократии; так что к угнетению можно добавить абсурдность притворства с целью его маскировки. Это демократическое приходское собрание действительно могло выражать свои желания, но у него было не больше полномочий для исполнения своей воли, чем у корпоративных органов в городах. Оно не могло говорить, пока не откроет рот, поскольку собрание не могло быть проведено без специального разрешения интенданта и, используя выражение тех времен, которое адаптировало их язык к данному факту, *"с его благоволения"*. Даже если бы такое собрание было единогласным, оно не могло бы ни брать плату, ни продавать, ни покупать, ни сдавать в аренду, ни подавать в суд без разрешения Королевского совета. Необходимо было получить минуту Совета, чтобы устранить повреждения, нанесенные ветром церковному шпилю, или восстановить обвалившиеся фронтоны дома священника. Сельские приходы, наиболее удаленные от Парижа, в такой же степени подчинялись этому правилу, как и ближайшие к столице. Я нашел записи о приходских обращениях в Совет с просьбой разрешить мне потратить двадцать пять ливров.

Жители действительно, как правило, сохраняли за собой право избирать своих приходских магистратов всеобщим голосованием; но часто случалось, что интендант назначал в этот небольшой избирательный орган кандидата, который неизменно избирался единогласно. Иногда, когда выборы производились самими прихожанами, он откладывал их в сторону, назначал сборщика налогов и синдика своего собственного авторитета и откладывал на неопределенный срок новые выборы. Таких примеров тысячи.

Трудно представить себе более жестокую судьбу, чем участь этих приходских чиновников. Низший представитель центрального правительства, заместитель делегата, подчинял их любому капризу. Часто их штрафовали, иногда сажали в тюрьму; ибо гарантии, которые в других местах защищали граждан от произвола, перестали для них существовать: *'Я бросил в тюрьму, - сказал интендант в 1750 году, - некоторых высокопоставленных лиц в деревнях, которые роптали, и я заставил эти приходы оплатить расходы на всадников патруля. С помощью этих средств им был легко поставлен мат.'* Следствием этого было то, что эти приходские функции рассматривались не как почести, а как бремя, от которого приходилось уклоняться всевозможными уловками.

И все же эти последние остатки древнего местнического правления были все еще дороги французским крестьянам; и даже в наши дни из всех общественных свобод единственная, которую они полностью понимают, - это свобода местничества. Единственное дело общественного характера, которое их действительно интересует, находится там. Люди, которые

с готовностью отдают управление целой нацией в руки хозяина, возмущаются при мысли о том, что не могут высказывать свое мнение в администрации своей собственной деревни. Так много веса все же заключено в формах, наиболее полых.

То, что было сказано о городах и приходах Франции, может быть распространено почти на все корпоративные структуры, которые имели какое-либо отдельное существование и коллективную собственность.

При социальном положении Франции до революции 1789 года, а также в наши дни, в королевстве не было ни города, ни околицы, ни деревни, ни хуторка — не было ни больницы, ни церкви, ни религиозного дома, ни колледжа, которые могли бы иметь независимую волю в управлении своими частными делами или которые могли бы распоряжаться своей собственностью по собственному выбору. Таким образом, тогда, как и сейчас, исполнительная администрация держала под опекой весь французский народ; и если этот дерзкий термин еще не был изобретен, то само понятие уже существовало.

ГЛАВА IV.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ И ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БЫЛИ ИНСТИТУТАМИ ФРАНЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ. [26]

Ни в одной стране Европы обычные суды не были менее зависимы от правительства, чем во Франции; но ни в одной стране чрезвычайные суды не использовались более широко. Эти два обстоятельства были связаны гораздо теснее, чем можно было себе представить. Поскольку король был почти полностью бессилён по отношению к судьям страны — поскольку он не мог ни уволить их, ни перевести, ни даже, по большей части, продвинуть по службе, — поскольку, короче говоря, он не держал их ни из честолюбия, ни из страха, их независимость вскоре оказалась неловкой для короны. Результатом стало то, что во Франции больше, чем где-либо еще, были выведены из-под их юрисдикции иски, в которых власти короны были непосредственно заинтересованы, и как бы рядом с ними возник своего рода трибунал, более зависимый от суверена, который должен был представлять подданным короны некое подобие правосудия без каких-либо реальных причин для того, чтобы корона опасалась его контроля.

В других странах, как, например, в некоторых частях Германии, где обычные суды никогда не были столь независимы от правительства, как во Франции, подобные меры предосторожности не принимались, и никакого административного правосудия (как его называли) не существовало. Суверен был настолько властен над судьями, что не нуждался в специальных поручениях.

Эдикты и декларации королей Франции, опубликованные в последнем столетии монархии, и Распоряжения Совета, обнародованные в тот же период, почти все предусматривали от имени правительства, что разногласия, которые могут вызвать те или иные меры, и судебные тяжбы, которые могут последовать, должны рассматриваться исключительно перед интендантами и перед Советом. 'Более того, его Величество приказал, чтобы все споры, которые могут

возникнуть при исполнении этого приказа, со всеми относящимися к ним обстоятельствами и инцидентами, передавались интенданту для рассмотрения им, за исключением апелляции в Совет, и всем судам справедливости и трибуналам запрещается принимать это к сведению'. Такова была обычная форма этих указов.

В вопросах, которые подпадали под действие законов или обычаев более раннего времени, когда эта мера предосторожности не принималась, Совет постоянно вмешивался посредством того, что называлось *эвокацией*, или обращением к своей собственной вышестоящей юрисдикции со стороны обычных судебных исполнителей по искам, в которых была заинтересована администрация государства. Реестры Собора полны протоколов *вызываний* подобного рода. Постепенно исключение превратилось в правило, и была изобретена теория, оправдывающая этот факт. [27] Государственная максима стала рассматриваться не в законах Франции, а в умах тех, кто эти законы применял, что все иски, в которых затрагиваются общественные интересы или которые вытекают из толкования любого акта администрации, не входят в компетенцию обычных судей, единственной обязанностью которых было принимать решения в пользу частных интересов. По этому поводу мы, в более поздние времена, лишь добавили способ выражения; идея предшествовала революции 1789 года.

Уже в то время считалось, что большинство спорных вопросов, возникающих в связи со сбором доходов, относятся к исключительной юрисдикции интенданта и Королевского совета. [28] То же самое касается регулирования движения общественных фургонов и дилижансов, дренажа, судоходства по рекам и т.д.; и в целом все иски, в которых были заинтересованы государственные органы, рассматривались только административными судами. Интенданты проявляли величайшую заботу о том, чтобы эта исключительная юрисдикция постоянно расширялась. Они настаивали на Генеральном контролере и стимулировали Совет. Причина, по которой одному из этих офицеров было поручено побудить Совет возбудить один из этих исков, заслуживает того, чтобы ее запомнили. "Обычный судья, - сказал он, - подчиняется установленным правилам, которые обязывают его наказывать за любое нарушение закона; но Совет всегда может отменить правила ради полезной цели".

Исходя из этого принципа, часто случалось, что интендант или Совет обращались в свою собственную юрисдикцию с исками, которые имели почти незаметную связь с каким-либо предметом административного интереса или даже вообще не имели заметной связи с подобными вопросами. Деревенский джентльмен ссорится со своим соседом и, будучи недоволен явным расположением своих судей, просит Совет *возбудить* его дело. Интендант сообщает, что, 'хотя это дело затрагивает исключительно частные права, которые подпадают под юрисдикцию судов справедливости, тем не менее, его Величество всегда может, когда ему заблагорассудится, оставить за собой решение по любому иску без какого-либо отчета о своих мотивах".

Обычно все низшие слои населения предстали перед судом посредством этого процесса воскрешения, когда они были виновны в общественных беспорядках, перед интендантом или начальником мэрии. Большинство беспорядков, столь часто вызываемых высокими ценами на кукурузу, привели к передаче юрисдикции такого рода. Затем интендант призвал к своему суду определенное количество лиц, которые образовали своего рода местный совет, избранный им самим, и с их помощью приступил к суду над преступниками. Я встречал вынесенные таким образом приговоры, по которым людей приговаривали к галерам и даже к смертной казни.

Уголовные процессы, решаемые интендантом, все еще были обычным явлением в конце семнадцатого века.

Современные юристы, обсуждая тему административной юрисдикции, утверждают, что со времен Революции был достигнут большой прогресс. 'До этой эпохи,' говорят они, - судебная и административная власти были смешаны; с тех пор они были разграничены и распределены по своим соответствующим местам'. Чтобы правильно оценить прогресс, о котором здесь говорится, никогда не следует забывать, что если, с одной стороны, судебная власть при старой монархии постоянно выходила за пределы естественной сферы своей власти, то, с другой стороны, эта сфера никогда не была ею полностью заполнена. Рассматривать один из этих фактов без другого - значит формировать неполное и неточное представление о предмете. Иногда судам разрешалось принимать постановления по вопросам государственного управления, что явно выходило за рамки их юрисдикции; иногда им запрещалось рассматривать обычные иски, что должно было лишить их возможности выполнять свои надлежащие функции. Современное право Франции, несомненно, устранило отправление правосудия из тех политических институтов, в которые ему очень ненадлежащим образом было позволено проникнуть до революции; но в то же время, как только что было показано, правительство постоянно вторгалось в надлежащую сферу деятельности судебных властей, и такое положение вещей остается неизменным, как если бы смешение этих полномочий не было одинаково опасным с одной стороны, как и с другой, и даже хуже в последнем случае; ибо вмешательство судебной власти в административные дела только вредит ведению дел; но вмешательство административной власти в судебное разбирательство развращает граждан. Человечество и стремится сделать людей одновременно революционными и раболепными.

Среди девяти или десяти конституций, которые были установлены бессрочно во Франции за последние шестьдесят лет, есть одна, в которой прямо предусмотрено, что ни один представитель администрации не может быть привлечен к ответственности в судах общей юрисдикции без предварительного получения согласия правительства на такое судебное преследование. [29] Этот пункт оказался настолько хорошо продуманным, что, когда конституция, к которой он относился, была уничтожена, это положение было спасено от крушения, и с тех пор его тщательно оберегали от повреждений революций. Административный корпус по-прежнему называет привилегию, предоставленную им этой статьей, одним из великих завоеваний 1789 года; но в этом они ошибаются, поскольку при старой монархии правительство не менее, чем в наши дни, заботилось о том, чтобы избавить своих должностных лиц от неприятностей, связанных с предоставлением отчета в суде, как и любых других частных граждан. Единственное существенное различие между этими двумя периодами заключается в следующем: до революции правительство могло защищать своих агентов, только прибегая к незаконным и произвольным мерам; после Революции оно может законно разрешать им нарушать законы.

Когда обычные трибуналы старой монархии разрешали возбуждать дело против любого должностного лица, представляющего центральную власть правительства, обычно вмешивался Приказ Совета о выводе обвиняемого из-под юрисдикции его судей и предъявлении ему обвинения комиссарами, назначенными Советом; ибо, как сказал государственный советник того времени, государственное должностное лицо, подвергшееся таким нападкам, должно было столкнуться с неблагоприятным предубеждением в умах обычных судей, и авторитет короля был бы подорван. Такого рода вмешательство происходило не только с большими

интервалами, но и каждый день — не только в отношении главных агентов правительства, но и в отношении самых незначительных. Малейшей нити связи с администрацией было достаточно, чтобы освободить офицера от всякого другого контроля. Конный надзиратель Управления общественных работ, в обязанности которого входило руководить принудительным трудом крестьян, подвергся судебному преследованию со стороны крестьянина, с которым он жестоко обращался. Совет сослался на причину, и главный инженер округа в конфиденциальном письме интенданту сказал по этому поводу: "Совершенно верно, что надзиратель во многом виноват, но это не является основанием для передачи дела в обычную юрисдикцию; для Управления работ крайне важно, чтобы суды общего права не рассматривали жалобы крестьян, занятых принудительным трудом, на надзирателей этих работ и не принимали по ним решений. Если бы этому прецеденту последовали, этим работам помешали бы постоянные судебные разбирательства, возникающие из-за враждебности общественности к должностным лицам правительства".

В другом случае интендант сам написал Генеральному контролеру со ссылкой на государственного подрядчика, который забрал его материалы в области, которая ему не принадлежала. "Я не могу в достаточной мере представить вам, насколько вредно было бы для интересов Администрации, если бы подрядчики были переданы в юрисдикцию обычных судов, принципы которых никогда не могут быть согласованы с принципами правительства".

Эти строки были написаны ровно сто лет назад, но создается впечатление, что администраторы, написавшие их, были нашими современниками.

ГЛАВА V.

ПОКАЗЫВАЯ, КАК ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СМОГЛА ВНЕДРИТЬСЯ В ДРЕВНИЕ ИНСТИТУТЫ ФРАНЦИИ И ВЫТЕСНИТЬ ИХ, НЕ РАЗРУШАЯ.

Давайте теперь вкратце резюмируем то, что было сказано в трех предыдущих главах. Единый орган или учреждение, размещенное в центре королевства, регулировало государственное управление всей страной; один и тот же министр руководил почти всеми внутренними делами королевства; в каждой провинции один правительственный агент руководил всеми деталями; второстепенных административных органов не существовало, и ни один из них не мог действовать до тех пор, пока они не были приведены в действие властью государства; суды чрезвычайной юрисдикции рассматривали дела, в которых была заинтересована администрация, и давали приют всем ее агентам. Что это, как не централизация, с которой мы так хорошо знакомы? Ее формы были менее выражены, чем сейчас; ее течение было менее регулярным, ее существование более нарушенным; но это то же самое существо. Не было необходимости добавлять или убирать какие-либо существенные условия; устранение всего, что когда-то окружало его, сразу обнажило его в той форме, которая сейчас предстает перед нашими глазами.

Большинству институтов, которые я только что описал, впоследствии подражали в сотне разных мест; [30] но в то время они были характерны только для Франции; и вскоре мы увидим,

насколько велико было влияние, которое они оказали на Французскую революцию и на ее результаты.

Но как получилось, что эти современные институты возникли во Франции на руинах феодального общества?

Это была работа терпения, рассудительности и времени, а не силы или абсолютной власти. В то время, когда произошла Революция, едва ли какая-либо часть старого административного здания Франции была разрушена; но под ним как бы возникла другая структура.

Нет ничего, что указывало бы на то, что правительство старой французской монархии следовало какому-либо сознательно согласованному плану для осуществления этой сложной операции. Это правительство просто повиновалось инстинкту, который побуждает все правительства стремиться к исключительному управлению делами, — инстинкту, который всегда оставался неизменным, несмотря на разнообразие его агентов. Монархия оставила древним державам Франции их почтенные имена и почести, но постепенно лишила их авторитета. Их не изгнали, а выманили из их владений. Благодаря лени одного человека, эгоизму другого правительство нашло средства занять их места. Пользуясь всеми их пороками, никогда не пытаясь исправить, а только вытеснить их, правительство, наконец, нашло средства заменить почти все из них своим единственным агентом, интендантом, само имя которого было неизвестно, когда появились те полномочия, которые он вытеснил.

Только судебные учреждения препятствовали правительству в этом великом предприятии; но даже здесь государство захватило саму суть власти, оставив своим противникам лишь тень от нее. Парламенты Франции не были исключены из сферы управления, но правительство постепенно расширилось в этом направлении, так что присвоило себе почти всю ее. В некоторых чрезвычайных и преходящих чрезвычайных ситуациях, например, во времена дефицита, когда страсти народа поддерживали честолюбие должностных лиц, Центральное правительство позволяло парламентам управлять на короткий промежуток времени и оставить след на страницах истории; но вскоре правительство молча вернулось на свое место и мягко распространило свою власть на все классы людей и сферы деятельности.

При внимательном наблюдении за борьбой между французскими парламентами и властью короны будет видно, что эти столкновения почти всегда происходили на поле политики в собственном смысле этого слова, а не на поле управления. Эти ссоры обычно возникали из-за введения нового налога; иными словами, соперничающие власти оспаривали не административную власть, а законодательную, на которую один имел столь же мало законных прав, как и другой.

Это становилось все более и более очевидным по мере приближения Революции. По мере того как страсти народа начинали разгораться, парламенты принимали более активное участие в политике; и поскольку в то же время центральная власть и ее агенты становились все более опытными и ловкими, парламенты принимали менее активное участие в управлении страной. С каждым днем они приобретали все меньше администратора и все больше трибуна.

Более того, ход событий постоянно открывает перед исполнительной властью новые сферы деятельности, которым судебные органы не имеют возможности следовать; ибо это новые

сделки, не регулируемые прецедентом и чуждые судебной рутине. Великий прогресс общества постоянно порождает новые потребности, и каждая из этих потребностей является новым источником власти для правительства, которое единственное в состоянии удовлетворить их. В то время как сфера отправления правосудия судами остается неизменной, сфера исполнительной власти изменчива и постоянно расширяется вместе с развитием самой цивилизации. [31]

Приближавшаяся революция, которая уже начала будоражить умы всего французского народа, подсказала ему множество новых идей, реализовать которые могла только центральная власть правительства. Революция развила эту власть до того, как свергла ее, и агенты правительства прошли тот же процесс совершенствования, что и все остальное. Этот факт становится особенно очевидным при изучении старых административных архивов. Генеральный контролер и интендант 1780 года больше не похожи на генерального контролера и интенданта 1740 года; администрация уже была преобразована, агенты были те же, но ими двигал другой дух. По мере того, как она становилась более подробной и всеобъемлющей, она также становилась более регулярной и более научной. Она становилась более умеренной по мере того, как ее господство становилось всеобщим; она меньше угнетала, больше направляла.

Первая вспышка революции разрушила этот великий институт монархии, но в 1800 году он был восстановлен. Не принципы 1789 года, как часто говорилось, восторжествовали в то время и с тех пор в государственном управлении Франции, а, напротив, принципы администрации, существовавшей до революции, которые затем восстановили свою власть и с тех пор сохраняют ее.

Если меня спросят, каким образом этот фрагмент общественного состояния, предшествовавшего революции, мог быть таким образом пересажен во всей своей полноте и включен в возникшее новое общественное состояние, я отвечу, что если принцип централизации не погиб во время революции, то это потому, что этот принцип сам был предшественником и началом Революции; и я добавлю, что когда народ уничтожил аристократию в своей социальной структуре, этот народ под собственной тяжестью скатывается к централизации. Тогда требуется гораздо меньше усилий, чтобы загнать его вниз по этому склону, чем для того, чтобы удержать его обратно. Среди такого народа все силы естественным образом стремятся к единству, и только благодаря большой изобретательности они все еще могут оставаться разделенными. Демократическая революция, уничтожившая столь многие институты французской монархии, послужила, следовательно, укреплению централизованной администрации, и централизация, казалось, настолько естественно нашла свое место в обществе, сформированном революцией, что ее легко можно было принять за ее порождение.

ГЛАВА VI.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ ФРАНЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ.

Невозможно читать письма, адресованные интендантом одной из провинций Франции времен старой монархии своему начальству и подчиненным, не восхищаясь сходством, порожденным

подобными учреждениями, между администраторами тех времен и администраторами наших дней. Кажется, что они берутся за руки над пропастью Революции, которая лежит между ними. То же самое можно сказать и о людях, которыми они управляют. Власть законодательства над умами людей никогда не была так отчетливо видна.

Министры короны уже задумали взять под контроль каждую деталь бизнеса и регулировать все своими собственными полномочиями из Парижа. По мере того как шло время и администрация становилась все более совершенной, эта страсть возрастала. К концу восемнадцатого века ни одна благотворительная мастерская не могла быть основана в отдаленной провинции Франции до тех пор, пока генеральный контролер лично не определит стоимость, не составит схему и не выберет место. Если планируется построить богадельню, Священник должен быть проинформирован об именах нищих, которые часто посещают ее — когда они прибывают - когда они уходят. Еще в середине того же столетия (в 1733 году) м. д'Аржансон писал: "Детали бизнеса, возложенные на министров, огромны. Ничто не делается без них, ничем, кроме них самих, и если их информация не столь обширна, как их полномочия, они вынуждены предоставить все делать клеркам, которые на самом деле становятся хозяевами."

Генеральный контролер требовал не только отчетов по деловым вопросам, но даже мельчайших подробностей, касающихся отдельных лиц. Чтобы получить эти сведения, интендант, в свою очередь, обратился к своим заместителям и, конечно, в точности повторил то, что они ему сказали, как если бы он сам был досконально знаком с предметом.

Чтобы руководить всем из Парижа и знать все там, нужно было изобрести тысячу проверок и средств контроля. Масса бумажных документов и без того была огромной, и эти административные процедуры были настолько утомительно медленными, что, как я заметил, приходу всегда требовался по меньшей мере год, прежде чем он мог получить разрешение на ремонт колокольни или перестройку дома священника: чаще всего проходило два или три года, прежде чем требование удовлетворялось.

Сам Совет отметил в одном из своих протоколов (29 марта 1773 г.), что "административные формальности приводят к бесконечным задержкам и слишком часто вызывают очень обоснованные жалобы; однако все эти формальности необходимы", - добавил Совет.

Раньше я полагал, что вкус к статистике присущ исключительно нынешним администраторам, но я ошибался. Во времена, непосредственно предшествовавшие революции 1789 года, интенданту часто присылали небольшие печатные таблицы, которые он просто должен был заполнить своими заместителями и приходскими синдиками. Генеральный контролер требовал отчетов о характере почвы, методах возделывания, качестве и количестве продукции, поголовье скота, занятиях и нравах жителей. Полученная таким образом информация была не менее обстоятельной и не более точной, чем та, которую при аналогичных обстоятельствах предоставляют супрефекты и мэры в настоящее время. Мнения, высказанные в этих случаях заместителями делегатов относительно характера лиц, находящихся в их ведении, были по большей части далеки от благоприятных. Они постоянно повторяли, что 'крестьяне от природы ленивы и не будут работать, если их не заставят это делать, чтобы выжить'. Эта экономическая доктрина, казалось, была очень распространена среди этого класса администраторов.

Даже официальный язык этих двух периодов поразительно похож. В обоих случаях стиль одинаково бесцветен, текуч, расплывчат и слаб; особые черты каждого отдельного писателя

стираются и теряются в общей посредственности. Читать излияния современного префекта или древнего интенданта - почти одно и то же.

Однако к концу столетия, когда своеобразный язык Дидро и Руссо успел распространиться и смешаться с вульгарным языком, ложная чувствительность, которой наполнены произведения этих писателей, заразила администраторов и достигла даже финансистов. Официальный стиль, обычно такой сухой по своей текстуре, стал более елейным и даже нежным. Заместитель делегата жалуется интенданту Парижа, "что при исполнении своих обязанностей он часто испытывает горе, наиболее острое для чувствующего сердца".

Тогда, как и в настоящее время, правительство распределяло определенные благотворительные пожертвования между различными приходами при условии, что жители, со своей стороны, будут подавать определенную милостыню. Когда предложенная ими сумма оказывалась достаточной, Генеральный контролер писал на полях списка взносов: "Хорошо; выразите удовлетворение"; но если сумма была значительной, он писал: "Хорошо; выразите удовлетворение и чувствительность".

Административные чиновники, почти все принадлежавшие к среднему классу, уже образовали класс, проникнутый присущим ему духом и обладающий традициями, добродетелями, честью и гордостью за себя. Фактически, это была аристократия нового общественного порядка, полностью сформированная и готовая вступить в жизнь; она только ждала, пока Революция освободит для нее место.

Правление Франции уже тогда характеризовалось яростной ненавистью, которую оно питало ко всем без разбора, кто не входил в его черту, будь то дворяне или представители средних классов, которые пытались принимать какое-либо участие в государственных делах. Самая маленькая независимая организация, которая, казалось, могла быть сформирована без его вмешательства, вызывала тревогу; самая маленькая добровольная ассоциация, какова бы ни была ее цель, считалась вызывающей беспокойство; и не допускалось существования ни одной, кроме тех, которые она создавала произвольным образом и над которыми она председательствовала. Даже крупные промышленные компании не пользовались особой благосклонностью администрации; одним словом, она не считала, что граждане должны проявлять какую-либо озабоченность при рассмотрении своих собственных дел, и предпочитала стерильность конкуренции. Но, поскольку всегда было необходимо позволять французскому народу небольшую вольность, чтобы утешить его в рабстве, правительство позволяло ему с большой свободой обсуждать всевозможные общие и абстрактные теории религии, философии, морали и даже политики. Она была достаточно готова к тому, чтобы подвергнуть нападкам фундаментальные принципы, на которых тогда зиждилось общество, и обсудить существование самого Бога, при условии, что не будет сделано никаких замечаний в адрес самого незначительного из ее собственных представителей. Предполагалось, что подобные спекуляции не имеют никакого отношения к государству.

Хотя газеты восемнадцатого века, или, как их тогда называли, "вестники", содержали больше эпиграмм, чем полемики, администрация смотрела на эту маленькую державу очень ревниво. Она была достаточно снисходительна к книгам, но уже чрезвычайно сурова к газетам; поэтому, будучи не в состоянии полностью подавить их, она попыталась использовать их в своих собственных целях. Под датой 1761 года я нахожу циркуляр, адресованный всем интендантам по всему королевству, в котором сообщается, что король (Людовик XV.) распорядился, чтобы в

будущем "Газетт де Франс" выпускалась под контролем правительства; "его Величество желает, - говорится в циркуляре, - сделать этот журнал интересным и обеспечить ему превосходство над всеми другими. Вследствие чего, - добавляет министр, - вы позаботитесь о том, чтобы присылать мне бюллетень обо всем, что происходит в вашем округе, что может заинтересовать общественность, особенно обо всем, что касается физики, естественной истории или замечательных и занимательных явлений'. К этому циркуляру прилагается проспект, в котором говорится, что new Gazette, хотя и выходит чаще и содержит больше материалов, чем журнал, который он заменяет, обойдется подписчикам гораздо дешевле.

Получив эти документы, интендант написал своим заместителям и поручил им работу; но сначала они ответили, что ничего не знают. Это вызвало второе письмо от министра, в котором он горько жаловался на бесплодие провинции в том, что касается новостей. 'Его Величество приказывает мне передать вам, что он намерен, чтобы вы уделили этому вопросу самое серьезное внимание и отдали самый точный приказ своим агентам'. После этого делегаты приступают к выполнению этой задачи. Один из них сообщил, что был повешен контрабандист соли, проявивший большое мужество; другой - что женщина в его округе родила сразу трех девочек; третий - что разразился ужасный шторм, хотя и не причинивший никакого вреда. Один из них заявил, что, несмотря на все свои усилия, ему не удалось обнаружить ничего стоящего записи, но что он сам подпишется на столь полезный журнал и будет призывать всех уважаемых людей последовать его примеру. Однако все эти усилия, по-видимому, не принесли большого эффекта, поскольку новое письмо сообщает нам, что "король, который имеет доброту, - как говорит министр, - сам входит во все детали мер по совершенствованию "Вестника" и который желает придать этому журналу превосходство и известность, которых он заслуживает, выразил большое недовольство тем, что его взгляды так плохо претворяются в жизнь".

История - это картинная галерея, содержащая мало оригиналов и великое множество копий.

Следует, однако, признать, что во Франции Центральное правительство никогда не подражало правительствам Юга Европы, которые, по-видимому, завладели всем только для того, чтобы сделать все бесплодным. Французское правительство часто проявляло большой разум в отношении своих функций и всегда проявляло огромную активность. Но его деятельность часто была непродуктивной и даже вредной, потому что временами он пытался делать то, что было выше его сил, или то, что никто не мог контролировать.

Оно редко предпринимало попытки или быстро отказывалось от самых необходимых реформ, которые могли быть проведены только благодаря неиссякаемой энергии; но оно постоянно меняло свои подзаконные акты и подзаконные акты. В сфере его присутствия ничто ни на мгновение не оставалось в покое. Новые постановления сменяли друг друга с такой необычайной быстротой, что представителям правительства среди множества получаемых ими приказов часто было трудно понять, как им подчиняться. Некоторые муниципальные служащие жаловались самому Генеральному контролеру на чрезвычайную подвижность этого подзаконного акта. "Разница только в финансовых правилах, - сказали они, - такова, что муниципальный служащий, даже если бы его назначение было постоянным, не имеет времени ни на что, кроме изучения новых правил по мере их появления, вплоть до того, что вынужден пренебрегать своими делами".

Даже когда сам закон не менялся, его применение менялось каждый день. Не видя работы администрации при старом французском правительстве по секретным документам, которые все

еще существуют, невозможно представить, в какое презрение в конечном итоге впадает закон, даже в глазах тех, кто отвечает за его применение, когда больше нет ни политических собраний, ни общественных журналов, которые могли бы сдерживать капризную деятельность или устанавливать границы произвольному и переменчивому настроению министров и их офисов.

Мы едва ли найдем в Совете хоть одно Распоряжение, в котором не перечислялись бы некоторые предшествующие законы, часто совсем недавнего времени, которые были приняты, но так и не были приведены в исполнение. Не было ни одного эдикта, королевской декларации или какого-либо официально зарегистрированного письма-патента, применение которого не встречало бы тысячи препятствий. Письма генерального контролера и интендантов показывают, что правительство в порядке исключения постоянно допускало совершение действий, противоречащих его собственным приказам. Это редко нарушало закон, но закон постоянно заставляли слегка отклоняться во всех направлениях, чтобы соответствовать конкретным случаям и облегчить ведение дел.

Интендант пишет министру в связи с обязанностью *октрой*, от которой подрядчик общественных работ хотел быть освобожден: "Несомненно, что в соответствии со строгой буквой эдиктов и постановлений, которые я только что процитировал, ни один человек во всем королевстве не освобожден от этих обязанностей; но те, кто сведущ в делах, хорошо знают, что эти императивные акты имеют такое же значение, как и наказания, которые они налагают, и что, хотя их можно найти почти в каждом эдикте, декларации и декрете о наложении санкций". что касается налогов, то они никогда не препятствовали принятию исключений".

Вся суть тогдашнего состояния Франции заключена в этом отрывке: жесткие правила и небрежная практика были его характерными чертами.

Любой, кто попытался бы судить о правительстве того периода по собранию его законов, впал бы в самые абсурдные ошибки. Под датой 1757 года я нашел королевскую декларацию, приговаривающую к смерти любого, кто сочинит или напечатает произведения, противоречащие религии или установленному порядку. Книготорговец, который продает, и коробейник, который продает их вразнос, должны понести одинаковое наказание. Было ли это в эпоху Святого Доминика? Это было при верховенстве Вольтера.

На французов часто жалуются, что они презирают закон; но когда, увы! могли ли они научиться уважать его? Можно с уверенностью сказать, что среди людей того периода, который я описываю, место, которое должно было быть занято в человеческом сознании понятием *закона*, было пустым. Каждый проситель умолял о том, чтобы установленный порядок вещей был отменен в его пользу с такой горячностью и авторитетностью, как если бы он требовал, чтобы его должным образом соблюдали; и действительно, его авторитет никогда не был направлен против него, а был средством избавиться от его назойливости. Подчинение людей существующим властям все еще было полным, но их послушание было результатом скорее обычая, чем воли, и когда случайно они возбуждались, малейшее возбуждение сразу же приводило к насилию, которое, опять же, почти всегда подавлялось встречным насилием и произволом власти, а не законом.

В XVIII веке центральная власть во Франции еще не приобрела того здорового и энергичного устройства, которое она продемонстрировала с тех пор; тем не менее, поскольку ей уже удалось уничтожить все промежуточные органы власти и оставить лишь огромную пропасть между

собой и индивидами, составляющими нацию, она уже издали казалась каждому из них единственной пружиной социальной машины, единственным и незаменимым проводником общественной жизни.

Ничто не показывает это более полно, чем труды даже его недоброжелателей. Когда начал ощущаться длительный период беспокойства, предшествовавший революции, были придуманы всевозможные новые системы общества и правительства. Цели, которые преследовали эти различные реформаторы, были различными, но средства, которые они предлагали, всегда были одними и теми же. Они хотели использовать власть центральной власти для того, чтобы разрушить все существующие институты и реконструировать их в соответствии с каким-то новым планом их собственного устройства; никакая другая власть не казалась им способной выполнить такую задачу. Власть государства, говорили они, должна быть такой же неограниченной, как и его права; все, что требуется, - это заставить его надлежащим образом использовать и то, и другое. Мирабо—старший, дворянин, настолько проникнутый представлением о правах своего ордена, что открыто называл интендантов "злоумышленниками" и заявлял, что, если назначение магистратов будет полностью оставлено в руках правительства, суды вскоре превратятся просто в "группы уполномоченных", - сам Мирабо рассчитывал только на действия центральной власти для реализации своих дальновидных планов.

Эти идеи не ограничивались книгами; они проникли в умы людей, изменили их обычаи, повлияли на их привычки и проникли во все общество, даже в повседневную жизнь.

Никто и представить себе не мог, что какое-либо важное дело может быть должным образом выполнено без вмешательства государства. Даже земледельцы — класс, обычно невосприимчивый к предписаниям, — были склонны думать, что если сельское хозяйство не улучшается, то это вина правительства, которое не давало им достаточных советов и помощи. Один из них пишет интенданту в раздраженном тоне, предвещающем грядущую Революцию. 'Почему правительство не назначает инспекторов, которые раз в год выезжали бы в провинции для проверки состояния земледелия, чтобы проинструктировать земледельцев, как его улучшить — сказать им, что делать со своим скотом, как откармливать, выращивать и продавать его, и куда везти на рынок? Этим инспекторам следует хорошо платить, а фермеры, продемонстрировавшие наилучшую систему земледелия, должны получить какой-нибудь почетный знак".

Сельскохозяйственные инспекторы и почетные кресты! Такие средства поощрения сельского хозяйства никогда бы не пришли в голову фермеру из Саффолка.

В глазах большинства французов правительство было единственным, кто мог обеспечить общественный порядок; люди не боялись ничего, кроме патрулей, а имущие люди не доверяли ничему другому. Оба класса считали жандарма во время его обхода не просто главным защитником порядка, но и самим порядком. 'Никто, ' заявляет провинциальное собрание Гиенны, - не может не заметить, что появление патруля хорошо рассчитано на то, чтобы сдержать тех, кто наиболее враждебен всякой субординации'. Соответственно, каждый хотел иметь такую эскадрилью у своей двери. Архивы интендантства полны запросов подобного рода; никто, казалось, не подозревал, что под маской протектора может скрываться магистр. [32]

Ничто так не поражало эмигрантов по прибытии в Англию, как отсутствие этой военной силы. Это наполнило их удивлением, а часто даже презрением к англичанам. Один из них, человек способный, но чье образование не подготовило его к тому, что ему предстояло увидеть, писал следующее: 'Совершенно верно, что англичанин поздравляет себя с ограблением, поскольку, во всяком случае, в его стране нет патруля. Человек может оплакивать все, что нарушает общественное спокойствие, но, тем не менее, когда он увидит, что беспорядки в обществе восстановлены, он утешит себя мыслью, что буква закона сильнее всех других соображений. Однако такие ложные представления, - добавляет он, - не являются абсолютно универсальными; есть некоторые мудрые люди, которые думают иначе, и в конце концов мудрость должна восторжествовать'.

Но то, что эти эксцентричности англичан могут иметь какую-либо связь с их свободами, никогда не приходило в голову этому наблюдателю. Он предпочел объяснить это явление более научными причинами. 'В стране, - сказал он, ' где влажный климат и недостаток эластичности в воздухе придают темпераменту мрачный оттенок, люди склонны предаваться серьезным занятиям. Английский народ от природы склонен заниматься государственными делами, к которым французы питают отвращение'.

Поскольку французское правительство, таким образом, заняло место Провидения, было естественно, что каждый человек должен был прибегать к его помощи в своих личных нуждах. Соответственно, мы обнаруживаем огромное количество петиций, которые, хотя и кажутся относящимися к общественным интересам, на самом деле касаются лишь небольших индивидуальных интересов. [33] Ящики, содержащие их, являются, пожалуй, единственным местом, в котором все еще смешиваются все классы, составляющие то общество Франции, которое давно прекратило свое существование. Читать их - печальная задача: мы находим крестьян, молящих о возмещении ущерба за потерю их скота или лошадей; богатых землевладельцев, просящих помощи в повышении продуктивности своих поместий; промышленников, выпрашивающих у интенданта привилегии, с помощью которых они могли бы быть защищены от назойливой конкуренции, и очень часто делящихся с ним затруднительным состоянием своих дел и умоляющих его получить для них облегчение или ссуду у Генерального контролера. Похоже, что для этой цели был выделен какой-то фонд.

Даже дворяне часто были очень назойливыми просителями; единственным признаком их положения является надменный тон, которым они просили милостыню. Двадцатилетний налог был для многих из них главным звеном в цепи их зависимости. [2] Их квота этого налога ежегодно устанавливалась Советом по докладу интенданта, и к нему они обращались сами, чтобы добиться отсрочки и послаблений. Я читал множество петиций подобного рода, поданных дворянами, почти все титулованными людьми, и часто очень высокого ранга, в связи, как они утверждали, с недостаточностью их доходов или неупорядоченным состоянием их дел. Дворяне обычно обращались к интенданту 'месье', но я заметил, что при таких обстоятельствах они неизменно называли его "монсеньор", как это обычно делали люди среднего класса. Иногда в этих прошениях забавным образом смешивались гордость и бедность. Один из дворян написал интенданту: 'Ваше чувствительное сердце никогда не согласится, чтобы отец семейства моего ранга облагался двадцатилетним налогом, как отец представителей низших классов'. В периоды дефицита, которые были так часты в восемнадцатом веке, все население каждого округа обращалось к интенданту и, казалось, ожидало, что он один будет кормить их. Это правда, что каждый человек уже винил правительство во всех своих страданиях. Ему

приписывались самые неизбежные лишения, и даже смена времен года стала предметом порицания.

Нам не нужно удивляться удивительной легкости, с которой централизация была восстановлена во Франции в начале этого столетия. [34] Люди 1789 года разрушили здание, но его основы остались глубоко в умах разрушителей, и на этих основах было легко построить его заново и сделать более устойчивым, чем когда-либо прежде.

ГЛАВА VII.

ИЗ ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИЙ ФРАНЦИЯ УЖЕ БЫЛА СТРАНОЙ, В КОТОРОЙ МЕТРОПОЛИЯ ПРИОБРЕЛА НАИБОЛЬШЕЕ ПРЕОБЛАДАНИЕ НАД ПРОВИНЦИЯМИ И НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ПОГЛОТИЛА ВСЮ ИМПЕРИЮ.

Политическое превосходство столичных городов над остальной частью империи обусловлено не их положением, не их размерами и не их богатством, а характером правительства. Лондон, в котором проживает население целого королевства, никогда до сих пор не оказывал суверенного влияния на судьбы Великобритании. Ни один гражданин Соединенных Штатов никогда не представлял себе, что жители Нью-Йорка могут решать судьбу Американского союза. Более того, никто даже в штате Нью-Йорк не представляет, что только воля этого города может направлять дела нации. И все же в Нью-Йорке на данный момент проживает столько же жителей, сколько было в Париже, когда вспыхнула Революция.

Во времена религиозных войн во Франции Париж был густонаселен пропорционально остальной части королевства, как и в 1789 году. Тем не менее, в то время он не обладал решающей силой. Во времена Фронды Париж все еще был не более чем крупнейшим городом Франции. В 1789 году это была уже сама Франция.

Еще в 1740 году Монтескье писал одному из своих друзей: 'Во Франции не осталось ничего, кроме Парижа и отдаленных провинций, потому что Париж еще не успел поглотить их'. В 1750 году маркиз де Мирабо, причудливый, но иногда глубокий мыслитель, сказал, говоря о Париже, не называя его по имени: 'Столицы необходимы; но если голова становится слишком большой, тело поражает апоплексический удар, и все погибает. Каков же будет результат, если, отдав провинции в своего рода прямую зависимость и рассматривая их жителей только как подданных короны низшего порядка, которым не оставлено никаких средств к существованию и не открыта карьера для честолюбия, каждый человек, обладающий каким-либо талантом, устремится в столицу!' Он назвал это своего рода тихой революцией, которая должна лишить провинции всех их высокопоставленных, деловых и талантливых людей.

Читатель, внимательно прочитавший предыдущие главы, уже знает причины этого явления; было бы излишним испытанием его терпения заново перечислять их в этом месте.

Эта революция не совсем ускользнула от внимания правительства, но главным образом из-за ее физического воздействия на рост города. Правительство наблюдало за ежедневным

расширением Парижа и опасалось, что станет трудно должным образом управлять таким большим городом. Огромному числу указов, изданных королями Франции, главным образом в семнадцатом и восемнадцатом веках, было суждено остановить рост столицы. Эти монархи все больше и больше сосредоточивали всю общественную жизнь Франции в Париже или у его ворот, и все же они хотели, чтобы Париж оставался маленьким городом. Возведение новых домов было запрещено, либо же были отданы приказы строить их самым дорогостоящим способом и в непривлекательных местах, которые были оговорены заранее. Каждое из этих постановлений, правда, провозглашает, что, несмотря на все предыдущие эдикты, Париж продолжал распространяться. Шесть раз за время своего правления Людовик XIV, находясь на пике своего могущества, тщетно пытался остановить рост Парижа; город постоянно рос, несмотря на все эдикты. Его политическое и социальное превосходство росло даже быстрее, чем его стены, не столько из-за того, что происходило внутри них, сколько из-за событий, происходивших снаружи.

В течение этого периода все местные свободы постепенно угасли, исчезли признаки независимой жизнеспособности. Отличительные черты различных провинций перепутались, и последние следы древней общественной жизни были стерты. Не то чтобы нация впадала в состояние апатии; напротив, повсюду царила активность; но движущий принцип действовал уже не где-нибудь, а в Париже. Я приведу лишь один пример из тысячи подобных. В отчетах, представленных министру о состоянии книготорговой торговли, я нахожу, что в шестнадцатом веке и в начале семнадцатого в провинциальных городах, где сейчас нет типографий или где типографии не работают, существовало много значительных типографий. И все же не может быть сомнения в том, что в конце восемнадцатого века было опубликовано гораздо больше литературных произведений всех видов, чем в течение шестнадцатого; но вся умственная деятельность теперь исходила только из центра; Париж полностью поглотил провинции. В то время, когда разразилась Французская революция, эта первая революция была полностью завершена.

Знаменитый путешественник Артур Янг покинул Париж вскоре после заседания Генеральных штатов и за несколько дней до взятия Бастилии; контраст между тем, что он только что увидел в городе, и тем, что он обнаружил за его стенами, наполнил его удивлением. В Париже царили шум и суета; каждый час появлялась новая политическая брошюра; в неделю выходило до девяноста двух. 'Никогда, - сказал он, ' я не видел такой издательской деятельности, даже в Лондоне'. За пределами Парижа все казалось инертным и безмолвным; печаталось мало брошюр и не было газет. Тем не менее провинции были взволнованы и готовы к действию, но неподвижны; если жители и собирались время от времени, то только для того, чтобы услышать новости, которые они ожидали из Парижа. В каждом городе Янг спрашивал жителей, что они намерены делать? 'Ответ, ' говорит он, ' всегда был один и тот же: "Наш город всего лишь провинциальный; мы должны подождать и посмотреть, что будет сделано в Париже". Эти люди, - добавляет он, - даже не осмеливаются высказать свое мнение, пока не узнают, что думают в Париже".

Ничто не было более поразительным, чем необычайная легкость, с которой Учредительное собрание одним махом уничтожило все древние французские провинции, многие из которых были старше монархии, а затем методично разделило королевство на восемьдесят три отдельные части, как если бы это была девственная почва Нового Света. Европа была удивлена и встревожена зрелищем, к которому она была так мало подготовлена. 'Это первый раз, ' сказал

Берк, - когда мы видим, как люди разрывают свою родную землю на куски таким варварским способом'. Без сомнения, это выглядело как разрывание на куски живых тел, но на самом деле расчлененные таким образом провинции были всего лишь трупами.

В то время как Париж, таким образом, окончательно устанавливал свое внешнее превосходство, в его собственных стенах произошли перемены, в равной степени заслуживающие внимания истории. После того как Париж был городом простого обмена, бизнеса, потребления и удовольствий, он теперь превратился в промышленный город; второй факт, придавший первому новый и более грозный характер.

Происхождение этого изменения было очень отдаленным; похоже, что даже в средние века Париж уже был самым трудолюбивым и крупнейшим городом королевства. Это становится все более очевидным по мере приближения к современности. В той же степени, в какой административное дело было перенесено в Париж, туда проникли и промышленные дела. По мере того как Париж все больше становился вершителем вкуса, единственным центром власти и искусств и главным средоточием национальной деятельности, промышленная жизнь нации удалялась и концентрировалась там в той же пропорции.

Хотя статистические документы, предшествовавшие революции, по большей части не заслуживают особого доверия, я думаю, можно с уверенностью утверждать, что за шестьдесят лет, предшествовавших Французской революции, число ремесленников в Париже увеличилось более чем вдвое; тогда как за тот же период общее население города увеличилось едва ли на треть.

Независимо от общих причин, которые я изложил, были и другие, весьма своеобразные причины, которые привлекали рабочих в Париж со всех концов Франции и постепенно концентрировали их в определенных кварталах города, которые они в конце концов заняли почти исключительно. Ограничения, налагаемые на мануфактуры налоговым законодательством того времени, были в Париже легче, чем где-либо еще во Франции; нигде не было так легко спастись от тирании гильдий. Некоторые предместья, такие как предместье Сент-Антуан и особенно Тампль, пользовались большими привилегиями такого рода. Louis XVI. значительно расширил эти иммунитеты Сент-Антуанского предместья и сделал все возможное, чтобы собрать в этом месте огромное количество трудящихся, "желая, - сказал этот несчастный монарх в одном из своих указов, - предоставить ремесленникам Сент-Антуанского предместья дополнительный знак нашей защиты и освободить их от ограничений, которые наносят ущерб их интересам, а также свободе торговли".

Число мастерских, мануфактур и литейных цехов в Париже с приближением революции так сильно увеличилось, что правительство в конце концов встревожилось этим. Вид этого прогресса внушал ему множество воображаемых ужасов. Среди прочего, мы находим Распоряжение Городского совета от 1782 года, в котором говорится, что "король, опасаясь, что быстрый рост производства приведет к потреблению древесины, которое, вероятно, нанесет ущерб снабжению города, запрещает в будущем создание любых предприятий подобного рода в радиусе пятнадцати лье вокруг Парижа'. Реальная опасность, которая могла возникнуть из-за такой агломерации, никого не беспокоила.

Таким образом, Париж стал владычицей Франции, и народная армия, которой было суждено овладеть Парижем, уже собиралась.

Теперь, я полагаю, почти все признают, что административная централизация и всемогущество Парижа сыграли большую роль в свержении всех различных правительств, сменявших друг друга на протяжении последних сорока лет. Нетрудно будет показать, что такое же положение вещей в значительной степени способствовало внезапному и насильственному падению старой монархии и должно быть причислено к основным причинам той первой революции, которая породила все последующие.

ГЛАВА VIII.

ФРАНЦИЯ БЫЛА СТРАНОЙ, В КОТОРОЙ МУЖЧИНЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА.

Если мы внимательно изучим состояние общества во Франции до революции, мы можем увидеть его в двух совершенно противоположных аспектах. Казалось бы, все мужчины того времени, особенно принадлежавшие к средним и высшим слоям общества, которые единственные бросались в глаза, были совершенно одинаковы. Тем не менее мы находим, что эта монотонная толпа была разделена на множество различных частей огромным количеством небольших барьеров, и что каждое из этих небольших подразделений образовывало отдельное общество, занятое исключительно своими особыми интересами и не принимающее участия в жизни общества в целом.

Когда мы рассмотрим это почти бесконечно малое разделение, мы увидим, что граждане ни одной другой нации не были так плохо подготовлены к совместным действиям или к оказанию друг другу взаимной поддержки во время кризиса; и что созданное таким образом общество могло быть полностью разрушено в одно мгновение великой революцией. Представьте себе все эти небольшие барьеры, разрушенные землетрясением, и в результате сразу же возникнет социальное тело, более компактное и однородное, чем любое, возможно, когда-либо виденное миром.

Я показал, что почти по всему королевству независимая жизнь провинций давно угасла; это в значительной степени способствовало тому, что все французы стали очень похожи друг на друга. В тех различиях, которые все еще существовали, уже можно было различить единство нации; единообразие законодательства выявило это. По мере продвижения восемнадцатого века значительно увеличилось количество эдиктов, королевских деклараций и распоряжений Совета, применявших одни и те же правила одинаковым образом во всех частях империи. Не только руководящий орган, но и масса управляемых зародили идею столь общего и единообразного законодательства, одинакового везде и для всех: эта идея была очевидна во всех планах реформ, которые сменяли друг друга в течение тридцати лет до начала революции. Двумя столетиями ранее самих материалов для подобных концепций, если можно так выразиться, было бы недостаточно.

Не только провинции становились все более и более похожими друг на друга, но и в каждой провинции люди различных классов, по крайней мере те, кто стоял выше простого народа, становились все более и более похожими друг на друга, несмотря на разницу в ранге. Ничто не демонстрирует это более ясно, чем ознакомление с инструкциями к нескольким

постановлениям Генеральных штатов 1789 года. Интересы тех, кто их составлял, сильно различались, но во всем остальном они были идентичны. В предыдущих Генеральных штатах положение вещей было совершенно иным; у средних классов и дворянства тогда было больше общих интересов, больше общего бизнеса; они проявляли гораздо меньше взаимной враждебности; и все же казалось, что они принадлежат к двум разным расам. Время, которое увековечило и во многих отношениях усугубило привилегии, существовавшие между двумя классами людей, в значительной степени способствовало тому, что они стали одинаковыми во всех других отношениях. В течение нескольких столетий французская знать постепенно становилась все беднее и беднее. 'Несмотря на свои привилегии, дворянство разоряется день ото дня, а средние классы завладевают большими состояниями', - меланхолично писал один дворянин в 1755 году. Тем не менее законы, по которым защищались дворянские поместья, по-прежнему оставались прежними, и в их экономическом состоянии, по-видимому, ничего не изменилось. Тем не менее, чем больше они теряли свою власть, тем беднее они становились повсюду, причем в совершенно одинаковой пропорции.

Может показаться, что во всех человеческих институтах, как и в самом человеке, независимо от органов, которые явно выполняют различные функции существования, существует некая центральная и невидимая сила, являющаяся самим принципом жизни. Напрасно кажется, что органы действуют по-прежнему; когда это животворящее пламя угасает, вся структура чахнет и умирает. У французской знати все еще были наследственные права (действительно, Берк заметил, что в его время наследственные права были более частыми и строгими во Франции, чем в Англии), право первородства, территориальные и бессрочные взносы и все, что называлось выгодным участием в земле. Они были освобождены от тяжелой обязанности вести войну за свой счет и в то же время сохранили увеличенное освобождение от налогов; иными словами, они сохранили компенсацию и избавились от бремени. Более того, они пользовались несколькими другими денежными преимуществами, которыми никогда не обладали их предки; тем не менее они постепенно обнищали в той же степени, в какой утратили способность управлять страной и дух правления. Действительно, именно этому постепенному обнищанию следует отчасти приписать то обширное дробление земельной собственности, о котором мы уже упоминали. Дворяне продавали свои земли крестьянам по частям, оставляя за собой только сеньориальные права, которые придавали им скорее видимость, чем реальность их прежнего положения. Несколько провинций Франции, таких как Лимузен, упомянутый Тюрго, были населены небольшой бедной знатью, почти не владевшей землей и жившей только на правах сеньора и арендной плате за свои бывшие поместья. [35]

'В этом округе,' говорит интендант начала века, 'число благородных семей все еще достигает нескольких тысяч, но среди них нет и пятнадцати человек, которые получали бы двадцать тысяч ливров в год'. Я нахожу в нескольких минутах обращение другого интенданта (из Франш-Конте) к своему преемнику в 1750 году: 'дворянство в этой части страны довольно хорошее, но чрезвычайно бедное, и столь же гордое, сколь и бедное. Это значительно унижено по сравнению с тем, что было раньше. Это неплохая политика - держать дворян в таком состоянии бедности, чтобы заставить их служить и нуждаться в нашей помощи. Они образуют,' добавляет он, 'братство, в которое допускаются только те, кто может доказать четыре четверти. Это братство не запатентовано, а только разрешено; оно собирается только раз в год и в присутствии Интенданта. Пообедав вместе и отслушав мессу, эти дворяне возвращаются, каждый к себе домой, некоторые на своих "росинантах", остальные пешком. Вы увидите, какое это комичное собрание'.

Это постепенное обнищание дворянства было более или менее очевидно не только во Франции, но и во всех частях Континента, где, как и во Франции, феодальная система окончательно отмирала, не будучи замененной новой формой аристократии. Этот упадок был особенно очевиден и привлек большое внимание германских государств на берегах Рейна. Только в Англии дело обстояло наоборот. Там древние дворянские семьи, которые все еще существовали, не только сохранили, но и значительно приумножили свое состояние; они по-прежнему были первыми как по богатству, так и по власти. Новые семьи, вставшие рядом с ними, только скопировали их богатство, но не превзошли его.

Во Франции, казалось, только неблагодарные классы унаследовали все богатство, которого лишилась знать; они как бы жирели на его содержании. И все же не существовало законов, которые препятствовали бы разорению среднего класса или помогали бы ему разбогатеть; тем не менее они постоянно увеличивали свое состояние; во многих случаях они становились такими же богатыми, как дворяне, а часто и богаче их. Более того, их богатство было того же рода, ибо, хотя они и жили в городе, они часто были землевладельцами в деревне, а иногда даже покупали сеньориальные поместья.

Образование и образ жизни уже создали тысячи других точек сходства между этими двумя классами людей. Представитель среднего класса был таким же просвещенным, как и аристократ, и следует отметить, что его знания были получены из того же источника. Один и тот же свет сиял над обоими. Их образование было в равной степени теоретическим и литературным. Париж, который все больше и больше становился единственным наставником Франции, в конце концов дал всем умам единую форму и действие.

В конце восемнадцатого века, без сомнения, все еще ощущалась некоторая разница между манерами знати и среднего класса, ибо ничто не усваивается медленнее, чем та поверхность общества, которую мы называем манерами; в основе, однако, все люди, стоящие выше простого народа, были похожи друг на друга; у них были одинаковые идеи, одинаковые привычки, одинаковые вкусы; они предавались одним и тем же удовольствиям, читали одни и те же книги и говорили на одном языке. Единственное различие, оставшееся между ними, заключалось в их правах.

Я сильно сомневаюсь, что это имело место в такой же степени где-либо еще, даже в Англии, где различные классы, хотя и прочно объединенные общими интересами, все же различались в своих привычках и чувствах; ибо политическая свобода, обладающая замечательной способностью ставить граждан государства в обязательное общение и взаимную зависимость, по этой причине не всегда делает их похожими; именно правление одного человека, в конце концов, неизбежно приводит к тому, что все люди становятся одинаковыми и взаимно безразличными к своей общей судьбе.

ГЛАВА IX.

ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛЮДИ, СТОЛЬ ПОХОЖИЕ ДРУГ НА ДРУГА, БЫЛИ БОЛЕЕ РАЗДЕЛЕННЫ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО, НА МАЛЕНЬКИЕ ГРУППЫ, ОТЧУЖДЕННЫЕ И БЕЗРАЗЛИЧНЫЕ ДРУГ К ДРУГУ.

Давайте теперь посмотрим на картину с другой стороны, и мы увидим, что те же самые французы, у которых было так много общего между собой, были, тем не менее, более изолированы друг от друга, чем, возможно, жители любой другой страны или чем когда-либо прежде было во Франции.

Представляется чрезвычайно вероятным, что во времена первого установления феодальной системы в Европе класс, впоследствии названный дворянством, не сразу образовал *касту*, а первоначально состоял из высших людей нации и, следовательно, вначале был просто аристократией. Это, однако, вопрос, который я не собираюсь здесь обсуждать; будет достаточно отметить, что в средние века дворянство превратилось в касту, то есть его отличительным признаком было рождение.

Она действительно сохранила одну из присущих аристократии характеристик - быть руководящим органом граждан; но только рождение решало, кто должен быть во главе этого органа. Тот, кто не был дворянином по рождению, исключался из этого тесного и особого класса и мог занимать только более или менее высокое, но все же подчиненное положение в государстве.

Везде, где на европейском континенте устанавливалась феодальная система, она заканчивалась кастовой системой; только в Англии она вернулась к аристократии.

Меня всегда удивляло, что факт, который отличает Англию от всех других современных наций и который один может пролить свет на особенности ее законов, ее духа и ее истории, не привлек в еще большей степени внимания философов и государственных деятелей, и эта привычка сделала его, так сказать, незаметным для самих англичан. Его часто видели мельком и не совсем точно описывали, но, я полагаю, о нем никогда не было составлено полного и отчетливого представления. Монтескье, правда, посетив Великобританию в 1739 году, писал: "Сейчас я нахожусь в стране, которая мало похожа на остальную Европу", но это все.

На самом деле, не столько парламент, свобода, публичность или присяжные заседатели делали Англию в то время такой непохожей на остальную Европу; это было нечто гораздо более своеобразное и гораздо более могущественное. Англия была единственной страной, в которой кастовая система была не только изменена, но и фактически разрушена. Дворянство и средний класс в Англии занимались одним и тем же бизнесом, занимались одними и теми же профессиями и, что гораздо важнее, вступали в смешанные браки друг с другом. Дочь величайшего аристократа уже могла без позора выйти замуж за вчерашнего человека.

Чтобы убедиться, действительно ли уничтожена каста с ее идеями, привычками и барьерами, которые она создает среди нации, посмотрите на ее браки. Только они дают решающую характеристику, которую мы ищем. В этот самый день во Франции, после шестидесяти лет демократии, мы, как правило, будем искать ее напрасно. Старые и новые семьи, между которыми, по-видимому, больше не существует различий, по возможности избегают смешиваться друг с другом посредством брака.

Часто отмечалось, что английская знать была более благоразумной, более способной и менее замкнутой, чем любая другая. Было бы гораздо ближе к истине сказать, что в Англии в течение очень долгого времени не существовало дворянства, собственно так называемого, если мы возьмем это слово в том древнем и ограниченном смысле, который оно сохранило повсюду.

Эта уникальная революция затерялась во тьме веков, но живое свидетельство ее все еще сохранилось в идиомах языка. За несколько столетий слово *джентльмен* полностью изменило свое значение в Англии, а слово *roturier* прекратило свое существование. Было бы невозможно дословно перевести на английский хорошо известную строку из 'Тартюфа', даже когда Мольер написал ее в 1664 году:

Et tel qu'on le voit, il est bon gentilhomme.

Если мы продолжим применять науку о языках к науке об истории и проследим судьбу слова *джентльмен* во времени и пространстве — производного французского слова *gentilhomme*, — мы обнаружим, что его применение распространяется в Англии в той же пропорции, в какой классы сближаются друг с другом и сливаются. В каждом последующем столетии оно применялось к лицам, стоящим несколько ниже по социальной лестнице. В конце концов оно переключалось с англичанами в Америку, где им обозначают всех граждан без разбора. Его история - это история самой демократии.

Во Франции слово *gentilhomme* всегда было строго ограничено своим первоначальным значением; после революции оно почти вышло из употребления, но его применение никогда не менялось. Слово, которое использовалось для обозначения членов касты, было сохранено нетронутым, потому что сама каста оставалась такой же отдельной от всех остальных, какой она была всегда.

Я иду еще дальше и утверждаю, что эта каста стала гораздо более исключительной, чем это было, когда впервые было изобретено это слово, и что во Франции произошли изменения в направлении, противоположном тому, что произошло в Англии.

Хотя дворянство и средний класс во Франции стали гораздо более похожими друг на друга, в то же время они были более изолированы друг от друга — две вещи, которые настолько существенно различаются, что первое, вместо того чтобы смягчать второе, часто может усугублять его.

В Средние века, пока феодальная система все еще была в силе, все те, кто владел землей под властью сеньора (и кого по феодальному праву правильно называли вассалами), были постоянно связаны с сеньором, хотя многие из них не были благородными, в правительстве сеньории; действительно, это было основным условием их пребывания в должности. Они не только были обязаны следовать за господом на войну, но и были обязаны, в силу своих владений, проводить определенную часть года при его дворе, то есть помогать ему вершить правосудие и управлять жителями. Двор лорда был главной движущей силой феодальной системы правления; он играл определенную роль во всех древних законах Европы, и очень отчетливые его следы все еще можно найти во многих частях Германии. Ученый феодалист Эдме де Фремениль, который за тридцать лет до Французской революции считал нужным написать толстый том о правах феодалов и о обновлении списков поместий, сообщает нам, что он видел в 'названиях ряда поместий, что вассалы были обязаны каждые две недели являться в суд сеньора и что, собравшись там, они судили совместно с сеньором и его обычным судьей судебные заседания и разногласия, возникшие между жителями'. Он добавляет, что обнаружил, что "иногда у одного лорда было восемьдесят, сто пятьдесят и даже целых двести вассалов, многие из которых были *ротюрьерами*'. Я привел это не как доказательство, ибо можно привести тысячу других, но как пример того, каким образом вначале и долгое время

после этого сельские классы были объединены с дворянством и ежедневно взаимодействовали с ними в ведении дел. То, что суд лорда сделал для мелких сельских собственников, провинциальных поместий, а впоследствии и Генеральных штатов, было сделано для горожан.

Невозможно изучать протоколы Генеральных штатов XIV века и, прежде всего, протоколы провинциальных поместий того же периода, не поражаясь важности места, которое *Турс-Этат* занимал в этих собраниях, и той власти, которой он там обладал.

Как человек, бюргер четырнадцатого века, несомненно, был очень низок по сравнению с бюргером восемнадцатого; но средний класс как группа занимал гораздо более высокое и безопасное место в политическом обществе. Его право на долю в правительстве было неоспоримым; роль, которую он играл в политических собраниях, всегда была значительной и часто преобладающей. Другие классы общества были вынуждены постоянно считаться с народом.

Но что поражает нас больше всего, так это то, что дворянству и *Турс-Этату* в то время было гораздо легче вести дела сообща или оказывать общее сопротивление, чем когда-либо с тех пор. Это наблюдается не только в Генеральных штатах четырнадцатого века, многие из которых носили нерегулярный и революционный характер, навязанный им бедствиями того времени, но и в провинциальных поместьях того же периода, где, кажется, ничто не нарушало регулярного хода дел. Таким образом, в Оверни мы обнаруживаем, что три Ордена совместно принимали наиболее важные меры и что за их исполнением наблюдали уполномоченные, выбранные в равной степени из всех трех. То же самое произошло в то же время в Шампани. Всем известен знаменитый акт, посредством которого в начале того же столетия знать и горожане большого числа городов объединились, чтобы защитить привилегии нации и своих провинций от посягательств короны. В этот период французской истории мы находим много подобных эпизодов, которые выглядят так, словно заимствованы из истории Англии. В последующие столетия события такого характера полностью исчезли. [36]

Дело в том, что по мере того, как постепенно правительство лордств становилось дезорганизованным, а Генеральные штаты становились все реже или вообще прекратились, — что по мере того, как общие свободы страны были окончательно уничтожены, вовлекая в их гибель свободы местные, — бюргерство и знать перестали соприкасаться в общественной жизни. Они больше не чувствовали необходимости поддерживать друг друга или заключать взаимные соглашения; каждый день делал их более независимыми друг от друга, но в то же время отдалял их все больше и больше. В восемнадцатом веке эта революция была полностью завершена; два состояния людей встретились лишь случайно в частной жизни. Отныне эти два класса были не просто соперниками, но и врагами. [37]

Одно обстоятельство, которое кажется очень характерным для Франции, заключалось в том, что в то самое время, когда дворянство таким образом теряло свою политическую власть, дворяне индивидуально приобрели несколько привилегий, которыми они никогда раньше не обладали, или увеличили те, которыми они уже пользовались. Это было так, как если бы члены церкви обогащались за счет добычи тела. У знати было все меньше и меньше прав командовать, но у дворян становилось все больше и больше исключительной прерогативы быть первыми слугами хозяина. Человеку низкого происхождения было легче стать офицером при Людовике XIV. чем при Людовике XVI.; это часто случалось в Пруссии в то время, когда во Франции подобного примера не было. Каждая из этих однажды полученных привилегий привязывалась к крови и

была неотделима от нее. Чем больше французское дворянство переставало быть аристократией, тем больше оно превращалось в касту.

Возьмем самую возмутительную из всех этих привилегий - освобождение от налогообложения.

[38] Легко понять, что с пятнадцатого века до Французской революции эта привилегия постоянно возрастала, и что она увеличивалась по мере быстрого роста общественного бремени. Когда, как при Карле VII, *taille* собирал только 1 200 000 ливров, привилегия освобождения от него была весьма незначительной; но когда при Людовике XVI тот же налог собрал восемьдесят миллионов, привилегия освобождения стала очень большой. Когда *taille* был единственным налогом, взимаемым с небогатых классов, освобождение дворянства ощущалось слабо; но когда налоги этого типа были тысячекратно увеличены под различными названиями и формами - когда четыре других налога были ассимилированы с *taille* — когда *taille* со всеми общественными работами или службами, ополчением и т. Д., неизвестные в Средние века, такие как применение короной принудительного труда — были добавлены с таким же неравенством — и были распределены с таким же неравенством, освобождение дворянства от уплаты налогов стало возможным. рождение казалось огромным. Неравенство, хотя и велико, на самом деле было скорее кажущимся, чем реальным, поскольку дворянин часто получал через своего фермера налог, которого тот избегал лично; но в таких делах, как это, неравенство, которое видно, приносит больше вреда, чем то, которое ощущается.

Людовик XIV, столкнувшийся с финансовыми трудностями, которые одолевали его к концу правления, установил два общих налога — подушный налог и двадцатки; но, как будто освобождение от налогообложения само по себе было привилегией настолько почтенной, что ее необходимо было уважать в том самом акте, которым она была нарушена, были приняты меры к тому, чтобы изменить способ взимания, даже когда налог был общим. Для одного класса это оставалось жестоким и унижающим достоинство, для другого - снисходительным и благородным. [39]

Хотя налоговое неравенство преобладало на всем европейском континенте, было очень мало стран, в которых оно стало столь ощутимым или ощущалось так постоянно, как во Франции. На большей части Германии большинство налогов были косвенными; и даже в отношении прямых налогов привилегия знати часто заключалась лишь в том, чтобы нести меньшую долю общего бремени. [40] Кроме того, существовали определенные налоги, которые падали только на дворян и которые были предназначены для замены безвозмездной военной службы, которая больше не требовалась.

Итак, из всех средств отличить одного человека от другого и обозначить разницу классов неравенство налогообложения является наиболее пагубным и наиболее рассчитанным на то, чтобы усилить изоляцию неравенства и в некотором роде сделать то и другое непоправимым. Давайте посмотрим на его последствия. Когда дворянство и средний класс не облагаются одним и тем же налогом, оценка и сбор ежегодного дохода заново с четкостью проводят демаркационную линию между ними. Каждый год каждый член привилегированного ордена испытывает непосредственную и настоятельную заинтересованность в том, чтобы не допустить смешения себя с массой, и предпринимает новые усилия, чтобы отделить себя от нее. [41]

Поскольку едва ли существует какой-либо общественный вопрос, который не вытекал бы из налога или не приводил к нему, отсюда следует, что, как только два класса не будут в равной степени облагаться им, у них больше не может быть никаких оснований для совместного

обсуждения или каких-либо причин для общих желаний; не требуется никаких усилий, чтобы разлучить их; повод и стремление к совместным действиям устранены.

В красочном описании, которое мистер Берк дал древней конституции Франции, он настаивал на конституировании французского дворянства, на легкости, с которой средние классы могли быть облагорожены путем получения должности: он полагал, что в этом есть некоторая аналогия с открытой аристократией Англии. Людовик XI. правда, увеличил количество дворянских пожалований; для него это было средством понижения уровня аристократии: его преемники расточали их, чтобы получить деньги. Неккер сообщает нам, что в его время число должностей, дававших дворянство, составляло четыре тысячи. Ничего подобного не существовало ни в одной другой части Европы, но аналогия, которую Берк пытался провести между Францией и Англией на этот счет, была тем более ложной.

Если средние классы Англии, вместо того чтобы вести войну с аристократией, сохранили с ней столь тесные связи, то это не только потому, что аристократия открыта для всех, но скорее, как уже было сказано, потому, что ее очертания нечетки, а границы неизвестны — не столько потому, что в нее мог быть принят любой человек, сколько потому, что невозможно было с уверенностью сказать, когда он занял там высокое положение, — чтобы все, кто приближался к ней, могли считать себя принадлежащими к ней, могли принимать участие в ее правлении и извлекать либо блеск, либо выгоду из ее влияния.

Тогда как барьер, отделявший дворянство Франции от других классов, хотя и был достаточно легко преодолен, всегда был прочным и видимым и проявлялся для тех, кто оставался за его пределами, поразительными и отвратительными признаками. Тот, кто однажды пересек его, был отделен от всех тех, чьи ряды он только что покинул, привилегиями, которые были для них обременительными и унижительными.

Система создания новых дворян, отнюдь не уменьшив ненависти *ротюрье* к дворянину, усилила ее сверх всякой меры; она усугублялась завистью, с которой на нового дворянина смотрели его прежние равные. По этой причине *Tiers-Etat* во всех своих жалобах всегда проявляли больше раздражения против новоиспеченных дворян, чем против старой знати; и они были далеки от того, чтобы требовать, чтобы ворота, ведущие из их собственного состояния, были сделаны шире, они постоянно требовали, чтобы они были сужены.

Ни в один период истории Франции не было так легко получить дворянство, как в 1789 году, и никогда средние классы и дворянство не были так полностью разделены. Мало того, что знать отказывалась терпеть в своих коллегиях выборщиков любого, у кого была хоть малейшая примесь крови среднего класса, но и средние классы столь же тщательно исключали всех тех, кого в какой-либо степени можно было считать благородными. В некоторых провинциях новоиспеченные дворяне были отвергнуты одним классом, потому что они были недостаточно благородны, а другим — потому что их было слишком много. Говорят, так было и со знаменитым Лавуазье.

Если, оставив в стороне дворянство, мы обратим наше внимание на средние классы, мы обнаружим то же самое положение вещей: человек из средних классов живет почти так же далеко от простых людей, как дворянин от среднего класса.

Почти весь средний класс до революции жил в городах. К такому результату в основном привели две причины — привилегии знати и *taille*. Сеньор, живший в своих поместьях, обычно обращался со своими крестьянами с определенной добродушной фамильярностью, но его высокомерие по отношению к соседям из среднего класса было безграничным. Она никогда не переставала увеличиваться по мере того, как его политическая власть уменьшалась, и именно по этой причине; ибо, с одной стороны, поскольку он перестал управлять, он больше не был заинтересован в примирении тех, кто мог помочь ему в этой задаче; в то время как, с другой стороны, как часто наблюдалось, он пытался утешить себя в связи с потерей реальной власти неумеренной демонстрацией своих очевидных прав. Даже его отсутствие в своих поместьях, вместо того чтобы облегчить участь соседей, только усилило их раздражение. Прогулы не имели даже такого хорошего эффекта, поскольку привилегии, навязываемые по доверенности, были еще более невыносимыми.

Я, однако, не уверен, что *тайный сбор* и все налоги, которые были приравнены к нему, не были еще более мощными причинами.

Я мог бы, я думаю, показать в очень немногих словах, почему *taille* и его принадлежности оказали гораздо большее влияние на сельскую местность, чем на города; но читатель, вероятно, сочтет это излишним. Будет достаточно указать, что средние классы, собравшиеся вместе в городах, могли бы найти тысячу способов облегчить бремя *taille*, а часто и вовсе избежать его, которыми ни один из них не смог бы воспользоваться в одиночку, если бы он оставался в поместье, к которому принадлежал. Прежде всего, он тем самым избежал обязанности собирать *тайль*, которой он боялся гораздо больше, чем необходимости его уплаты, и не без причины; ибо никогда при старом французском правительстве или, я полагаю, ни при каком другом правительстве не было худшего положения, чем положение приходского сборщика *тайль*. У меня будет возможность показать это позже. И все же никто в деревне, кроме знати, не мог избежать этой должности; и вместо того, чтобы подчиниться ей, богатый человек среднего класса сдавал свои поместья и уезжал в соседний город. Тюрго совпадает со всеми секретными документами, с которыми я имел возможность ознакомиться, когда он говорит, что "коллекционирование *taille* превращает всех землевладельцев, не принадлежащих к знати, в городских жителей". Действительно, это, замечу мимоходом, было одной из главных причин того, что во Франции было больше городов, особенно маленьких, чем почти в любой другой стране Европы.

Однажды поселившись в городских стенах, богатый, хотя и низкородный представитель среднего класса вскоре утратил вкусы и представления о сельской жизни; он полностью отделился от труда и дел тех представителей своего класса, которых он оставил позади. Теперь вся его жизнь была посвящена одной-единственной цели: он стремился стать государственным служащим в своем родном городе.

Было бы большой ошибкой полагать, что страсть к месту, которая обуревает почти всех французов нашего времени, особенно тех, кто принадлежит к среднему классу, возникла после революции; ее зарождение датируется несколькими столетиями назад, и она постоянно набирала силу благодаря разнообразию свежих продуктов, которыми ее постоянно снабжали.

Места при старом правительстве не всегда были похожи на места наших дней, но я полагаю, что их было еще больше; количество мелких мест было почти бесконечным. Было подсчитано, что только в период с 1693 по 1790 год было создано сорок тысяч таких заведений, почти все в

пределах досягаемости низшего среднего класса. Я подсчитал, что в 1750 году в провинциальном городке средних размеров не менее ста девяти человек были заняты отправлением правосудия и сто двадцать шесть - исполнением вынесенных ими судебных решений — все жители города. Рвение, с которым горожане среднего класса стремились заполучить эти места, было поистине беспрецедентным. Как только один из них обзаводился небольшим капиталом, он, вместо того чтобы вложить его в бизнес, немедленно вкладывал его в покупку жилья. Это жалкое честолюбие нанесло больше вреда сельскому хозяйству и торговле Франции, чем гильдии или даже *taille*. Когда запасы мест заканчивались, воображение искателей новых мест немедленно принималось за работу по изобретению новых. Некий сьер Лембервилль опубликовал мемориал, доказывающий, что создание инспекторов для определенной отрасли промышленности вполне соответствует интересам общества, и в заключение он предложил себя на эту должность. Кто из нас не знал Лембервилля? Человек, получивший некоторое образование и небольшой достаток, считал неприличным умереть, не побывав государственным служащим. "Каждый человек в соответствии со своим положением, - говорит современный писатель, - хочет быть кем-то по приказу короля".

Принципиальная разница в этом отношении между временем, о котором я говорил, и настоящим состоит в том, что раньше правительство продавало места, тогда как теперь оно их раздает. Человек больше не платит свои деньги за то, чтобы купить жилье: он делает больше, он продает себя.

Отделенные от крестьянства разницей в месте жительства и еще больше образом жизни, средние классы были также по большей части отделены от них интересами. На привилегии знати в отношении налогообложения справедливо жаловались, но что тогда можно сказать о привилегиях, которыми пользовался средний класс? Должности, которые полностью или частично освобождали их от общественных тягот, исчислялись тысячами: одна освобождала их от ополчения, другая - от *барщины*, третья - от *taille*. 'Есть ли приход, - говорит писатель того времени, ' в котором, независимо от знати и духовенства, не было бы нескольких жителей, которые приобрели для себя с помощью мест или комиссий своего рода освобождение от налогов?' Одной из причин, по которой определенное количество должностей, предназначенных для среднего класса, время от времени упразднялось, является уменьшение поступлений, вызванное освобождением столь большого числа лиц *отподатей*. Я не сомневаюсь, что число освобожденных среди среднего класса было так же велико, как и среди знати, а часто и больше.

Эти жалкие привилегии наполняли тех, кто был их лишен, завистью, а тех, кто ими пользовался, - самой эгоистичной гордыней. Ничто так не поражает на протяжении всего восемнадцатого века, как враждебность горожан к окружающему крестьянству и зависть, которую крестьяне испытывают к горожанам. 'Каждый отдельный город,' говорит Тюрго, 'поглощенный своими собственными интересами, готов пожертвовать ради них страной и деревнями своего округа'. "Вам часто приходилось, - сказал он в другом месте, обращаясь к своим заместителям делегатов, - пресекать постоянную тенденцию к узурпации и посягательству, которая характеризует поведение городов по отношению к сельским жителям и деревням своего округа".

Даже простые люди, жившие в городских стенах вместе со средними классами, стали отчужденными и почти враждебными по отношению к ним. Большая часть местных тягот,

которые они налагали, были придуманы таким образом, чтобы сильнее всего давить на низшие классы. У меня не раз была возможность убедиться в истинности того, что Тюрго также говорит в другой части своих работ, а именно, что средние классы городов нашли средства регулировать *octrois* таким образом, чтобы это бремя не ложилось на них самих.

Что наиболее очевидно в каждом поступке представителей французского среднего класса, так это их страх быть смешанными с простыми людьми и их страстное желание любыми доступными им средствами вырваться из-под народного контроля. "Если бы его Величеству было угодно, - писали горожане одного города в памятной записке, адресованной генеральному контролеру, - чтобы должность мэра стала выборной, было бы уместно обязать выборщиков выбирать его только из числа высшей знати и даже из корпорации".

Мы видели, что частью политики королей Франции было последовательно лишать население городов возможности пользоваться своими политическими правами. Начиная с Людовика XI. Людовику XV. все их законодательство выдает это намерение; часто сами горожане поддерживали это намерение, иногда они предлагали его.

Во время муниципальной реформы 1764 года интендант консультировался с муниципальными чиновниками небольшого городка по вопросу сохранения за ремесленниками и рабочими - *autre menu peuple*— права избирать своих магистратов. Эти чиновники ответили, что это правда, что "народ никогда не злоупотреблял этим правом и что, несомненно, было бы приятно сохранить за ним утешение в выборе своих собственных хозяев; но что было бы еще лучше, в интересах поддержания порядка и общественного спокойствия, полностью передать эту обязанность Собранию знати". Заместитель делегата, со своей стороны, сообщил, что он провел в своем собственном доме тайное собрание 'шести лучших граждан города'. Эти шесть лучших граждан были единодушны во мнении, что самым мудрым было бы доверить выборы даже не Собранию знати, как предлагали муниципальные чиновники, а определенному числу депутатов, выбранных из различных органов, из которых состояло это Собрание. Заместитель делегата, более благосклонный к народным свободам, чем сами эти граждане, сообщил их мнение, но добавил, как свое собственное, что 'тем не менее рабочему классу было очень тяжело выплачивать, без каких-либо средств контроля за расходованием денег, суммы, наложенные на них такими их согражданами, которые, вероятно, из-за привилегированного освобождения от налогообложения были наименее заинтересованы в этом вопросе".

Давайте завершим этот опрос. Давайте теперь рассмотрим средние классы как нечто отличное от народа, точно так же, как мы ранее рассматривали дворянство как нечто отличное от средних классов. [42] Мы обнаружим в этой небольшой части французской нации, таким образом отделенной от остальных, бесконечные подразделения. Кажется, что народ Франции подобен тем мнимо простым веществам, в которых современная химия постоянно обнаруживает новые элементы с помощью силы своего анализа. Я обнаружил не менее тридцати шести различных тел среди знати одного маленького городка. Эти различные тела, хотя и без того очень миниатюрные, постоянно использовались для уменьшения друг друга до еще более узких размеров. Они постоянно отбрасывали разнородные частицы, которые еще могли содержать, чтобы свести себя к самым простым элементам. В результате этого сложного процесса число некоторых из них сократилось не более чем до трех-четырех человек, но их личности стали только более напряженными, а характер более неуживчивым. Все они были отделены друг от друга некоторыми незначительными привилегиями, наименее почетной из которых по-

прежнему был знак почета. Между ними бушевали непрекращающиеся споры о прецеденте. Интендант и даже члены Суда были отвлечены их ссорами. "Только что было решено, что святая вода должна быть предложена магистратам (*le presidial*), прежде чем она будет предложена корпорации. Парламент колебался, но король созвал свой Совет и принял решение сам. Давно пора было; этот вопрос вызвал брожение во всем городе. ' Если один из этих органов получал преимущество над другим в генеральной ассамблее знати, последний немедленно выходил из нее и предпочитал полностью отказаться от общественных дел общины, чем подчиниться оскорблению своего достоинства.— Организация изготовителей париков из города Ла Флеш решила, 'что таким образом она выразит свое вполне обоснованное горе, вызванное прецедентом, который был предоставлен пекарям'. Часть знати другого города упрямо отказывалась исполнять свои обязанности, потому что, как сообщил интендант, 'в Ассамблею были введены некоторые ремесленники, с которыми видные горожане не выносят общения'. 'Если место шерифа, ' сказал интендант другой провинции, ' будет отдано нотариусу, другие знатные люди почувствуют отвращение, поскольку нотариусы здесь люди незнатные, не принадлежащие к семьям знати, и все они были клерками'. 'Шесть лучших граждан', о которых я уже упоминал и которые с такой готовностью решили, что народ должен быть лишен своих политических прав, были крайне озадачены, когда им пришлось определять, кем должны быть знатные люди и какой порядок главенства должен быть установлен среди них. В таком затруднительном положении они осмеливаются только выражать свои сомнения, опасаясь, как они сказали, "причинить некоторым из своих сограждан слишком сильное огорчение".

Естественное тщеславие французов усиливалось и стимулировалось непрекращающимся столкновением их притязаний в этих небольших группах, и законная гордость граждан была забыта. Большинство этих мелких корпораций, о которых я говорил, существовали уже в шестнадцатом веке; но в то время их члены, уладив между собой дела своего собственного братства, присоединились ко всем остальным гражданам, чтобы совместно вести общественные дела города. В восемнадцатом веке эти органы были почти полностью замкнуты в себе, поскольку забот, связанных с их муниципальной жизнью, стало мало, и всеми ими управляли делегаты. Таким образом, каждое из этих маленьких сообществ жило только для себя, было занято только собой и не имело никаких дел, кроме своих собственных интересов.

Наши предки еще не усвоили термин "*индивидуальность*", который мы ввели в обиход для собственного употребления, потому что в их времена не существовало такого понятия, как индивид, не принадлежащий к какой-либо группе лиц и который мог бы считать себя абсолютно одиноким; но каждая из тысячи маленьких групп, из которых тогда состояло французское общество, думала только о себе. Это было, если можно так выразиться, состояние коллективной индивидуальности, подготовившее французское сознание к тому состоянию позитивной индивидуальности, которое является характерной чертой нашего времени.

Но что самое странное, так это то, что все эти люди, стоявшие так далеко друг от друга, стали настолько чрезвычайно похожи между собой, что, если бы их позиции изменились, между ними нельзя было бы проследить никакого различия. Более того, если бы кто-нибудь мог озвучить их самые сокровенные убеждения, он бы обнаружил, что легкие барьеры, которые все еще разделяли столь похожих во всех других отношениях людей, казались им самым одинаково противоречащими общественным интересам и здравому смыслу, и что теоретически они уже преклонялись перед единообразием общества и единством власти. Каждый из них цеплялся за свое особое состояние только потому, что это особое состояние было отличительной чертой

других; но все были готовы смешать свое собственное состояние с общей массой, при условии, что никто не сохранит какой-либо отдельной доли или не поднимется выше общего уровня.

ГЛАВА X.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ И КЛАССОВОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ БЫЛИ ПРИЧИНАМИ ПОЧТИ ВСЕХ БЕСПОРЯДКОВ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К РАСПАДУ СТАРОГО ОБЩЕСТВА ФРАНЦИИ.

Из всех беспорядков, которые атаковали общественный строй Франции в том виде, в каком он существовал до революции, и привели к распаду этого общества, тот, который я только что описал, был самым фатальным. Но я должен продолжить расследование источника столь опасного и странного зла и показать, сколько других зол произошло от той же причины.

Если бы англичане с периода средневековья полностью утратили, подобно французам, политическую свободу и все те местные привилегии, которые не могут долго существовать без нее, весьма вероятно, что каждый из различных классов, из которых состоит английская аристократия, отделился бы от остальных, как это имело место во Франции и более или менее по всему континенту, и что все эти классы вместе отделились бы от народа. Но свобода вынуждала их всегда оставаться в пределах досягаемости друг друга, чтобы в трудную минуту объединить свои силы.

Любопытно наблюдать, как британская аристократия, побуждаемая даже собственными амбициями, ухитрялась, когда это казалось необходимым, фамильярно общаться со своими подчиненными и притворяться, что считает их равными себе. Артур Янг, которого я уже цитировал и чья книга является одним из самых поучительных трудов, которые существуют о прежнем состоянии общества во Франции, рассказывает, что, оказавшись однажды в загородном доме герцога де Ларошфуко в Ла-Рош-Гийоне, он выразил желание побеседовать с некоторыми из лучших и наиболее зажиточных фермеров по соседству. Герцог был так любезен, что приказал своему управляющему предоставить мне всю необходимую информацию о сельском хозяйстве страны и поговорить с теми лицами, которые были необходимы, по вопросам, в которых он сомневался. В доме английского аристократа меня пригласили бы встретиться с тремя или четырьмя фермерами, которые ужинали бы с семьей в окружении высокопоставленных дам. Я непреувеличу, если скажу, что у меня это было по меньшей мере сто раз в первых домах на наших островах. Однако при нынешнем состоянии нравов во Франции такого не встретишь от Кале до Байонны, разве что случайно в доме какого-нибудь знатного лорда, который много бывал в Англии, да и то если об этом не попросят. Однажды я узнал это у герцога де Лианкура. [43]

Несомненно, английская аристократия более высокомерна по натуре, чем французская, и менее расположена фамильярно общаться с теми, кто живет в более скромных условиях; но обязательства ее собственного ранга налагают на нее эту обязанность. Он утверждал, что это может быть приказом. На протяжении веков в Англии не существовало неравенства в налогообложении, за исключением таких льгот, которые последовательно вводились для облегчения положения неимущих классов. Обратите внимание, к каким результатам различные политические принципы могут привести страны, находящиеся так близко друг к другу! В

восемнадцатом веке бедняки в Англии пользовались привилегией освобождения от налогов; богатые во Франции. В одной стране аристократия взвалила на себя тяжелейшее общественное бремя, чтобы сохранить управление государством; в другой аристократия до последнего сохраняла освобождение от налогов в качестве компенсации за потерю политической власти.

В четырнадцатом веке принцип "Никаких налогов без согласия облагаемых" — *n'impose qui ne veut* — по-видимому, был столь же прочно установлен во Франции, как и в Англии. Его часто цитировали; противоречить ему всегда казалось актом тирании; подчиняться ему означало возвращаться к закону. В тот период, как я уже отмечал, можно было проследить множество аналогий между политическими институтами Франции и Англии; но затем судьбы двух наций разделились и с течением времени становились все более непохожими. Они напоминают две линии, начинающиеся из смежных точек под небольшим углом, которые по мере удлинения бесконечно расходятся.

Я осмеливаюсь утверждать, что когда французская нация, измученная затяжными беспорядками, сопровождавшими пленение короля Иоанна и безумие Карла VI, позволила короне взимать общий налог без согласия народа, и когда дворянство имело низость позволить взимать такой налог со средних и низших классов при условии сохранения его собственного освобождения, в то самое время были посеяны семена почти всех пороков и злоупотреблений, которые поражали древнее общество Франции в течение оставшейся части его существования и закончились его насильственным распадом; и я восхищаюсь тем, как это было сделано. редкая проницательность Филиппа де Комина, когда он говорит: "Карл VII, который дошел до того, что наложил на *тайю* по своему усмотрению, без согласия штатов Королевства, возложил тяжелое бремя на свою душу и на душу своих преемников и нанес своему королевству рану, которая не скоро затянется".

Понаблюдайте, как эта рана с годами расширялась; шаг за шагом проследите за этим фактом и его последствиями.

Форбонне справедливо говорит в своих ученых "Исследованиях о финансах Франции", что в средние века монархи обычно жили за счет доходов своих владений; и "поскольку чрезвычайные нужды государства, - добавляет он, - удовлетворялись за счет чрезвычайных субсидий, они взимались в равной степени с духовенства, знати и народа".

Большая часть общих субсидий, объявленных тремя Орденами в течение четырнадцатого века, фактически взималась таким образом. Практически все налоги, установленные в то время были *косвенными*, то есть, они платили без разбора всех классов потребителей. Иногда налог был прямым, но тогда он облагался не имуществом, а доходом. Знать, священники и горожане были обязаны в течение года выплачивать королю, например, десятую часть всех своих доходов. Это замечание относительно обвинений, выдвинутых Сословиями Королевства, в равной степени относится к тем, которые были выдвинуты в тот же период различными провинциальными сословиями на их собственных территориях. [44]

Верно, что уже в то время прямой налог, известный под названием *taille*, никогда не взимался с благородных классов. Обязанность безвозмездной военной службы была основанием для их освобождения; но *taille* в то время частично действовал как общий самозванец, принадлежащий скорее сеньориальной юрисдикции, чем королевству.

Когда король впервые взялся взимать налоги своей собственной властью, он понял, что должен выбрать налог, который, по-видимому, не ложился непосредственно на дворян; ибо этот класс, грозный и опасный для самой монархии, никогда бы не подчинился нововведению, столь пагубному для их собственных интересов. Таким образом, налог, установленный короной, был налогом, от которого дворяне были освобождены, и этим налогом был *taille*.

Таким образом, ко всем частным неравенствам условий, которые уже существовали, добавилось другое, более общее неравенство, которое усилило и увековечило все остальное. С этого времени этот налог распространялся и разветвлялся пропорционально тому, как возрастали потребности государственной казны в связи с функциями центральной власти; вскоре он был сокращен, и все новые налоги приобрели характер *taille*. Таким образом, с каждым годом неравенство в налогообложении разделяло классы общества и изолировало индивидов, из которых они состояли, еще глубже, чем прежде. Поскольку объектом налогообложения были не те, кто был наиболее способен платить налоги, а те, кто был наименее способен защитить себя от их уплаты, это привело к чудовищным последствиям: богатые были освобождены, а бедные обременены. Рассказывают, что кардинал Мазарини, испытывая нехватку денег, придумал способ обложить налогом главные дома Парижа, но, столкнувшись с некоторым противодействием заинтересованных сторон, он удовлетворился добавлением пяти миллионов, которые он требовал, к общему распоряжению *тайи*. Он намеревался обложить налогом самых богатых подданных короля; он обложил налогом самых неимущих; но для Казны результат был тот же.

Доходы от несправедливо распределенных таким образом налогов имели пределы, но требования короны не имели таковых. Однако короли Франции не стали бы ни созывать Генеральные штаты для получения субсидий, ни провоцировать дворянство требовать этой меры, облагая их налогами без нее.

Отсюда возникло то поразительное и пагубное изобилие финансовых средств, которое столь своеобразно характеризовало управление общественными ресурсами в течение последних трех столетий старой французской монархии.

Необходимо изучить детали административной и финансовой истории того периода, чтобы составить представление о жестоких и неоправданных действиях, которые нехватка денег может предписать даже мягкому правительству, но без огласки и без контроля, когда время санкционирует его власть и избавит его от страха революции — этой последней гарантии для наций.

Каждая страница этих анналов повествует о владениях короны, которые сначала были проданы, а затем возвращены как непригодные для продажи; о нарушенных контрактах и проигнорированных корыстных интересах; о жертвах, которые при каждом кризисе требовались от государственного кредитора, и о непрекращающихся отказах от государственных обязательств. [45]

Привилегии, предоставленные бессрочно, постоянно возобновлялись. Если бы мы могли проявить сострадание к разочарованиям глупого тщеславия, этого заслуживала бы судьба тех несчастных людей, которые приобрели дворянские грамоты, но которые на протяжении всего семнадцатого и восемнадцатого веков были вынуждены снова и снова покупать пустые почести или несправедливые привилегии, за которые они уже несколько раз заплатили. Таким образом,

Людовик XIV. аннулировал все дворянские титулы, приобретенные за предыдущие девяносто два года, хотя большинство из них было присвоено им самим; но они могли быть сохранены только после предоставления новой субсидии, *все эти титулы были получены неожиданно*, говорилось в указе. Тому же примеру должным образом последовал Людовик XV. восемьдесят лет спустя.

Ополченцу было запрещено приобретать замену из опасения, как говорили, повышения цены на рекрутов для государства.

Города, корпорации и больницы были вынуждены разорвать свои собственные обязательства, чтобы иметь возможность ссужать деньги короне. Приходам запрещалось проводить работы по общественному благоустройству, чтобы из-за такого отвлечения своих ресурсов они не платили свои прямые налоги с меньшей пунктуальностью.

Сообщается, что М. Орри и М. Трудейн, один из которых был генеральным контролером, а другой генеральным директором общественных работ, разработали план замены принудительного труда крестьян на дорогах ставкой, взимаемой с жителей каждого округа за ремонт их магистралей. Причина, побудившая этих способных администраторов отказаться от этого плана, поучительна: говорят, они опасались, что, когда фонд будет собран такими темпами, будет невозможно помешать Казначейству использовать деньги на свои собственные цели, так что вскоре налогоплательщикам пришлось бы оплачивать как новую денежную выплату, так и старое обвинение в принудительном труде. Я без колебаний заявляю, что ни один частный человек не смог бы избежать уголовной ответственности, если бы ему следовало управлять своим собственным состоянием так, как Великий Людовик во всей своей славе управлял состоянием нации.

Если вы наткнетесь на какое-либо старое учреждение Средних веков, которое сохранило себя со всеми усугубляющимися его первоначальными недостатками в прямом противоречии духу эпохи, или на какое—либо пагубное нововведение, поищите корень зла - вы обнаружите, что это некое финансовое средство, увековеченное в форме учреждения. Чтобы противостоять давлению времени, были призваны к существованию новые силы, которые просуществовали столетия.

Особый налог, который назывался *due of franc-fief*, взимался с незапамятных времен с небельских владельцев дворянских земель. Этот налог устанавливал между землями такое же различие, какое существовало между классами общества, и одно постоянно увеличивало другое. Возможно, это из-за *французского феода* больше, чем какая-либо другая причина, способствовало разделению *ротурьеров* и дворян, потому что это мешало им смешаться в том, что быстрее всего и эффективнее всего ассимилирует людей друг с другом, — во владении землей. Таким образом, между знатным землевладельцем, с одной стороны, и его соседом, незнатным землевладельцем, с другой, образовалась пропасть. Напротив, ничто так не способствовало ускорению сплочения этих двух классов в Англии, как отмена еще в XVI веке всех внешних различий между феодальными владениями, находившимися в ведении короны, и землями, находившимися в сельской местности. [46]

В четырнадцатом веке этот феодальный налог *французского феода* был небольшим и взимался лишь кое-где; но в восемнадцатом веке, когда феодальная система была почти упразднена, он строго взимался во Франции каждые двадцать лет и составлял годовой доход. Сын платил его,

становясь преемником своего отца. 'Этот налог, ' заявило Сельскохозяйственное общество Тура в 1761 году, ' чрезвычайно вреден для совершенствования искусства земледелия. Из всех повинностей, которые несут подданные короля, бесспорно, нет ни одной столь досадной и обременительной для сельского населения.' 'Эта обязанность, ' сказал другой современный писатель, ' которая поначалу взималась лишь раз в жизни, со временем превратилась в очень жестокое бремя'. Сами дворяне были бы рады, если бы его отменили, поскольку это препятствовало лицам с более низким положением приобретать свои земли; но финансовые требования государства требовали, чтобы он сохранялся и увеличивался. [47]

Средневековые иногда ошибочно обвиняют во всех бедах, связанных с торговыми или промышленными корпорациями. Но при своем возникновении эти гильдии и компании служили лишь средством для связи членов данной профессии друг с другом и для создания в каждой отрасли свободного правительства в миниатюре, задачей которого было одновременно помогать трудящимся классам и контролировать их. Таково, и не более, по-видимому, было намерение Сент-Луиса.

Только в начале шестнадцатого века, в разгар того периода, который называется Возрождением искусств и литературы, впервые было предложено рассматривать право на труд в определенной профессии как привилегию, подлежащую продаже короной. Затем каждая Труппа превратилась в небольшую замкнутую аристократию, и, наконец, были установлены те монополии, которые так пагубно сказывались на прогрессе искусств и которые так раздражали предыдущее поколение. От правления Генриха III, который обобщил зло, если не породил его, до Людовика XVI, который искоренял его, можно сказать, что злоупотребление системой гильдий никогда не переставало увеличиваться и распространяться в то самое время, когда прогресс общества сделал эти институты более невыносимыми и когда здравый смысл общественности был наиболее враждебен им. Год за годом все больше профессий лишались свободы; год за годом увеличивались привилегии зарегистрированных профессий. Никогда зло не достигало таких масштабов, как в так называемые благополучные годы правления Людовика XIV, потому что ни в какой прежний период нехватка денег не была более острой и решение не собирать деньги с согласия нации не принималось более твердо.

Летроне справедливо сказал в 1775 году: "Государство учредило торговые компании только для получения финансовых ресурсов, частично за счет патентов, которые оно продает, частично за счет создания новых офисов, которые Компании вынуждены скупать. Эдикт 1673 года нес в себе принципы Генриха III. к их самым отдаленным последствиям, заставив все Компании выписывать письма-подтверждения после оплаты за то же самое; и все рабочие, которые еще не были зарегистрированы в какой-либо из этих организаций, были вынуждены вступить в них. Эта жалкая уловка принесла триста тысяч ливров.

Мы уже видели, как вся муниципальная конституция городов была ниспровергнута не по какому-либо политическому замыслу, а в надежде получить гроши для казны. Та же самая нехватка денег в сочетании с желанием не обращаться за ними к Генеральным штатам королевства породили продажность государственных должностей, которая в конце концов стала явлением настолько странным, что подобного ему никогда не видели в мире. Именно благодаря этому институту, порожденному фискальным духом правительства, тщеславие средних классов поддерживалось на плаву в течение трех столетий и было направлено исключительно на

приобретение государственных должностей, и таким образом всеобщая страсть к местам проникла в недра нации, где она стала общим источником революций и порабощения.

По мере того как финансовые затруднения государства увеличивались, появлялись новые должности, каждая из которых вознаграждалась освобождением от налогов и привилегиями; и поскольку эти должности были созданы по желанию казначейства, а не администрации, результатом стало создание почти невероятного количества должностей, которые были совершенно излишними или вредными. [48] Еще в 1664 году в результате расследования, начатого Кольбером, было установлено, что капитал, вложенный в это жалкое имущество, составил почти пятьсот миллионов ливров. Говорили, что Ришелье упразднил сто тысяч должностей, но они снова появились под другими названиями. [49] За небольшие деньги государство отказалось от права направлять, контролировать и принуждать своих собственных агентов. Таким образом, постепенно был создан административный механизм, такой огромный, такой сложный, такой неуклюжий и такой непродуктивный, что в конце концов его оставили болтаться в пространстве, в то время как рядом с ним был создан более простой и удобный инструмент управления, который действительно выполнял обязанности, которые должны были выполнять эти бесчисленные государственные служащие.

Очевидно, что ни один из этих пагубных институтов не смог бы просуществовать двадцать лет, если бы о них можно было говорить. Ни одно из них не было бы установлено или усугублено, если бы были проведены консультации с представителями Сословий или если бы к их увещаниям прислушались, когда по воле случая они все же были созваны вместе. Как ни редко созывались Генеральные штаты в последние века монархии, они никогда не переставали протестовать против этих злоупотреблений. Несколько раз эти собрания указывали в качестве источника всех этих зол на право произвольного взимания налогов, присвоенное королем, или, если воспользоваться идентичными терминами, используемыми энергичным языком пятнадцатого века, на 'право обогащаться за счет средств народа без согласия и обсуждения Трех сословий'. Они не ограничивались только своими правами; они энергично требовали и часто добивались большего уважения к правам провинций и городов. На каждом заседании в этих органах раздавались голоса против неравенства общественного бремени. Они часто требовали отмены системы тесных гильдий; с каждой последующей эпохой они все энергичнее нападали на продажность общественных профессий. 'Тот, кто продает должность, продает правосудие, которое позорно', - таков был их язык. Когда эта продажность установилась, они все еще жаловались на неправомерное создание должностей. Они осуждали так много бесполезных мест и опасных привилегий, но всегда напрасно. Три учреждения были созданы ранее против самих себя; они возникли из желания не созывать эти собрания и из необходимости скрыть от французской нации налогообложение, которое было небезопасно демонстрировать в его реальном виде.

И следует отметить, что лучшие короли были столь же склонны прибегать к этим методам, как и худшие. Людовик XII. завершил введение продажности государственных должностей; Генрих IV расширил их продажу до реверсий. Пороки системы были сильнее добродетелей тех, кто ее применял.

То же стремление вырваться из-под контроля Генеральных штатов привело к тому, что парламентам была доверена большая часть их политических функций; результатом стало смешение судебных и административных должностей, что оказалось крайне пагубным для

надлежащего ведения бизнеса. Необходимо было, по-видимому, предоставить какие-то новые гарантии взамен тех, которые были отняты; ибо, хотя французы достаточно терпеливо поддерживают абсолютную власть, пока она не носит репрессивного характера, им никогда не нравится ее вид; и всегда благоразумно возводить вокруг нее какие-то видимые барьеры, которые служат, по крайней мере, для сокрытия того, что они не арестовывают.

Наконец, именно это желание помешать нации, когда у нее просят денег, потребовать обратно свою свободу породило постоянную бдительность при разделении классов общества, с тем чтобы они никогда не собирались вместе или объединялись в общем сопротивлении, и чтобы правительство никогда не имело на руках сразу более очень небольшого числа людей, отделенных от остальной нации. На протяжении всей этой долгой истории, в которой фигурировало так много князей, замечательных своими способностями, иногда замечательных своим гением, почти всегда замечательных своим мужеством, ни один из них никогда не предпринимал попыток свести воедино различные классы своего народа или объединить их иначе, чем путем подчинения общему ярму. Действительно, из этого замечания есть одно исключение: был один король Франции, который не только желал этой цели, но и всем сердцем стремился к ней; этим правителем — ибо таковы непостижимые суждения Провидения — был Людовик XVI.

Разделение классов было преступлением старой французской монархии, но оно же стало и ее оправданием; ибо, когда все те, кто составляет богатую и просвещенную часть нации, больше не могут соглашаться и сотрудничать в работе правительства, страна никоим образом не может управлять сама, и хозяин *должен* вмешаться.

‘Нация,’ с грустью писал Тюрго в секретном донесении, адресованном королю, - это сообщество, состоящее из различных сословий, плохо сплоченных друг с другом, и из народа, члены которого имеют очень мало связей между собой, так что каждый человек поглощен исключительно своими личными интересами. Нигде не просматривается никаких общих интересов. Деревни, города не имеют более прочных взаимоотношений, чем районы, к которым они принадлежат. Они не могут даже договориться между собой о выполнении общественных работ, которые им требуются. Среди этого вечного конфликта притязаний и обязательств ваше Величество вынуждены решать все лично или через ваших агентов. Ваши особые предписания ожидаются до того, как люди начнут вносить свой вклад в общественное благо или уважать права других, или даже иногда до того, как они начнут осуществлять свои собственные”.

Это нелегкое дело - сблизить сограждан, которые веками жили как чужие или враги друг другу, и научить их вести свои дела сообща.

Разделить их было гораздо более простой задачей, чем потом воссоединить. Таков запоминающийся пример, поданный Францией миру. Когда различные классы, разделявшие древнюю социальную систему Франции, шестьдесят лет назад вновь соприкоснулись, после столь долгой изоляции и стольких барьеров, они столкнулись друг с другом по тем вопросам, которые вызывали у них наиболее острые чувства, и сошлись во взаимной ненависти. Даже в наши дни их зависть и враждебность пережили их самих.

ГЛАВА XI.

О ВИДАХ СВОБОДЫ, СУЩЕСТВОВАВШИХ При СТАРОЙ МОНАРХИИ, И О ВЛИЯНИИ ЭТОЙ СВОБОДЫ НА РЕВОЛЮЦИЮ.

Если бы читатель прервал чтение этой книги, у него сложилось бы весьма неполное представление об управлении старой французской монархией и он не понял бы состояния общества, вызванного революцией.

Поскольку граждане Франции были таким образом разделены и таким образом замкнуты внутри самих себя, поскольку власть короны была столь обширна и велика, можно было бы сделать вывод, что духнезависимости исчез вместе с общественной свободой и что весь французский народ в равной степени погряз в подчинении. На самом деле это было не так; правительство долгое время полностью и единолично вело все общие дела нации; но оно еще ни в коем случае не было хозяином жизни каждого отдельного человека.

Среди многих институтов, уже подготовленных к абсолютной власти, сохранилась некоторая свобода; но это была своего рода странная свобода, которую в наши дни нелегко правильно понять и которую необходимо очень внимательно изучить, чтобы понять добро и зло, проистекающие из нее.

В то время как Центральное правительство вытесняло все местные органы власти и все больше и больше заполняло всю сферу государственной власти, некоторые институты, которым правительство позволяло существовать или которые оно само создало, некоторые старые обычаи, некоторые древние манеры, даже некоторые злоупотребления сдерживали его действия, поддерживали в сердцах большого числа людей дух сопротивления и сохраняли постоянство и независимость многих характеров.

Централизация уже имела ту же тенденцию, тот же способ действия, те же цели, что и в наше время, но она еще не обладала той же силой. Правительство, в своем стремлении превратить все в деньги выставившее на продажу большую часть государственных должностей, таким образом, лишило себя права давать или отзывать эти должности по своему усмотрению. Таким образом, одна из его страстей значительно подорвала успех другой: его алчность уравнивала его амбиции. Следовательно, государство постоянно вынуждено было действовать с помощью инструментов, которые оно не создавало и которые оно не могло сломать. Следствием этого было то, что его самая абсолютная воля часто оказывалась парализованной при ее исполнении. Таким образом, это странное и порочное устройство государственных учреждений заменяло собой своего рода политическую гарантию против всемогущества центральной власти. Это было что-то вроде неровного и плохо сконструированного волнореза, который разделял действия и сдерживал ход высшей силы.

Тогдашнее правительство также еще не располагало тем бесчисленным множеством услуг, помощников, почестей и денег, которые оно теперь может распределять; следовательно, оно было гораздо менее способно соблазнять, чем принуждать.

Более того, правительство было недостаточно осведомлено о точных пределах своей власти.

[50] Ни одно из его прав не было признано регулярно или твердо установлено; диапазон его действий уже был огромен, но это действие все еще было нерешительным и неуверенным, как у человека, который нащупывает темный и неизвестный путь. Эта грозная неизвестность, которая

в то время скрывала пределы всякой власти и окутывала всякое право, хотя и могла быть благоприятна для замыслов государей против свободы их подданных, часто была не менее благоприятна для ее защиты.

Административная власть, сознавая новизну своего происхождения и низкую добычу, всегда проявляла робость в своих действиях, когда на ее пути возникало какое-либо препятствие. Читая переписку французских министров и интендантов восемнадцатого века, поразительно наблюдать, как это правительство, которое было таким абсолютным и так посягало до тех пор, пока его власть не оспаривалась, приходило в ужас при виде малейшего сопротивления; взволнованное малейшей критикой, встревоженное малейшим шумом, готовое при любом подобном случае остановиться, колебаться, вести переговоры, угощать и часто опускаться значительно ниже естественных пределов своей власти. Неумный эгоизм Людовика XV и мягкая благожелательность его преемника способствовали такому положению вещей. Этим монархам никогда не приходило в голову, что их могут свергнуть с престола. В них не было ничего от того резкого и беспокойного характера, который с тех пор часто внушал страх тем, кто правит. Они не топтали никого, кроме тех, кого не видели.

Некоторые привилегии, предрассудки, ложные представления, наиболее враждебные установлению правильного и благотворного свободного правительства, поддерживали во многих людях дух независимости и побуждали их отстаивать свои позиции против злоупотреблений властью.

Дворяне презирали так называемую Администрацию, хотя иногда им случалось обращаться к ней. Даже после того, как они отказались от своей прежней власти, они сохранили что-то от той гордости своих предков, которая была одинаково враждебна рабству и закону. Они мало заботились об общей свободе сообщества и с готовностью позволяли руке власти ложиться тяжестью на всех вокруг них; но они не допускали, что она должна ложиться тяжестью на них самих, и они были готовы в случае необходимости пойти на любой риск, чтобы предотвратить это. В начале Революции та знать Франции, которая вот-вот должна была пасть вместе с тронem, все еще придерживалась по отношению к королю, и еще больше по отношению к королевским агентам, гораздо более высокого отношения и выражалась гораздо свободнее, чем средний класс, которому так скоро предстояло свергнуть монархию. Дворяне уже громко требовали почти всех гарантий против злоупотребления властью, которыми Франция обладала в течение тридцати семи лет своего представительного правления. При чтении инструкций этого Ордена Генеральным штатам, несмотря на его предрассудки и причуды, все еще можно ощутить дух и некоторые из замечательных качеств аристократии. [51] Всегда следует сожалеть о том, что вместо того, чтобы подчинить это благородство дисциплине закона, оно было вырвано с корнем и повержено в прах. Этим актом нация была лишена необходимой части своего существования, и свободе была нанесена рана, которая никогда не будет залечена. Класс, который веками маршировал в первых рядах, приобрел в ходе этого долгого и неоспоримого проявления величия определенную возвышенность сердца, естественную уверенность в своей силе и привычку, чтобы на него смотрели снизу вверх, что делает его наиболее сопротивляющимся элементом в структуре общества. Не только его собственный нрав мужественен, но и его пример служит для увеличения мужественности любого другого класса. Искореня такой Порядок, даже его враги ослабевают. Ничто никогда не сможет полностью заменить его; оно больше не может родиться; оно может вернуть титулы и поместья, но не душу своих прародителей.

Духовенство, которое с тех пор часто проявляло подобострастную покорность временному суверену в гражданских делах, кем бы ни был этот временный суверен, и которое становится его самым неприкрытым льстецом при малейшем проявлении благосклонности к Церкви, составляло в то время одно из самых независимых объединений в стране и единственное, особые свободы которого вызывали уважение. [52]

Провинции потеряли свои привилегии; права городов были сведены к нулю. Ни один десяток дворян не мог собраться для совместного обсуждения какого-либо вопроса без специального разрешения короля. Но Церковь Франции до последнего сохраняла свои периодические собрания. В ее лоне даже церковная власть была ограничена рамками, которые уважались. [53] Низшее духовенство пользовалось надежной защитой от тирании своих начальников и не было подготовлено к пассивному повиновению Суверену бесконтрольным деспотизмом епископа. Я не пытаюсь выносить какие-либо суждения об этом древнем устройстве Церкви; я просто утверждаю, что благодаря этому устройству дух священства не был приспособлен к политическому раболепию.

Более того, многие священнослужители были джентльменами по рождению, и они принесли с собой в Церковь гордость и индокитайство своего положения. Более того, все они имели высокое положение в государстве и определенные привилегии. Осуществление этих феодальных прав, оказавшихся столь пагубными для моральной силы Церкви, придало ее членам, в их личном качестве, дух независимости по отношению к гражданской власти.

Но то, что особенно способствовало распространению среди духовенства мнений, желаний, чувств, а часто и страстей граждан, было право собственности на землю. У меня хватило терпения прочесть большинство отчетов и дебатов, все еще дошедших до нас из старых провинциальных поместий Франции, и особенно из Лангедока, провинции, в которой духовенство участвовало в деталях государственного управления даже больше, чем где бы то ни было; я также изучил протоколы провинциальных ассамблей, заседавших в 1779 и 1787 годах. Используя в этом исследовании впечатления нашего времени, я был удивлен, обнаружив, что епископы и священники, многие из которых были в равной степени известны своим благочестием и своей образованностью, составляют отчеты о строительстве дороги или канала, с большой наукой и мастерством обсуждают наилучшие методы увеличения производства в сельском хозяйстве, обеспечения благосостояния жителей и поощрения промышленности, причем эти церковники всегда равны, а часто и превосходят всех мирян, занятых с ними в тех же делах.

Я утверждаю, в противовес очень распространенному и очень твердо установившемуся мнению, что нации, которые лишают римско-католическое духовенство всякого участия в земельной собственности и превращают их доходы в жалованье, на самом деле лишь продвигают интересы папства и временного правителя, в то время как они отказываются от важного элемента свободы в отношениях между собой.

Человек, который в том, что касается лучшей стороны его натуры, является подданным иностранной власти и который в стране, где он живет, не может иметь семьи, будет связан с землей только одной прочной связью, а именно земельной собственностью. Разорви эту связь, и он не будет принадлежать ни к какому конкретному месту. В том месте, куда его, возможно, забросила случайность рождения, он живет как чужой среди гражданского сообщества, вряд ли какие-либо гражданские интересы которого могут непосредственно затронуть его. Его

совесть привязывает его к Папе; его содержание - к Суверену. Его единственная страна - Церковь. В каждом политическом событии он видит немногим больше, чем выгоду или потерю своей собственной профессии. Пусть только Церковь будет свободной и процветающей, какое значение имеет все остальное? Его самое естественное политическое состояние — это безразличие - превосходный член христианского содружества, но в других местах никчемный гражданин. Подобные чувства и мнения, присущие группе людей, которые являются воспитателями детства и хранителями нравственности, не могут не ослаблять душу всей нации по отношению к общественной жизни.

Правильное представление о революции, которая может быть произведена в человеческом сознании изменением социальных условий, можно составить, внимательно прочитав Инструкции, данные делегатам духовенства на Генеральных штатах 1789 года. [54]

Духовенство в этих документах часто демонстрировало свою нетерпимость, а иногда и упорную привязанность к некоторым из своих прежних привилегий; но, в других отношениях, не менее враждебный к деспотизму, не менее благосклонный к гражданским свободам, не менее влюбленный в политическую свободу, чем средние классы или дворянство, этот Орден провозгласил, что личная свобода должна быть обеспечена не одними обещаниями, а формой процедуры, аналогичной Закону о Хабеас корпус. Они требовали уничтожения государственных тюрем, отмены чрезвычайных юрисдикций и практики обращения с жалобами в Государственный совет, гласности процедуры, постоянства судебных чиновников, допуска всех чинов к государственной службе, которая должна быть открыта только по заслугам; система набора в армию, менее репрессивная и унижительная для народа, от которой никто не должен быть освобожден; упразднение путем покупки сеньориальных прав, которые вытекают из феодальной системы, по их словам, противоречат свободе; неограниченная свобода труда; упразднение внутренних таможен; запрет на продажу сеньориальных прав. умножение частных школ до такой степени, что в каждом приходе должна существовать одна бесплатная школа; создание благотворительных учреждений во всех сельских округах, таких как работные дома и мастерские милосердия; и всякого рода поощрение сельского хозяйства.

В так называемой сфере политики духовенство громче, чем любой другой класс, провозглашало, что нация имеет неоспоримое и неотъемлемое право собираться для принятия законов и голосования по налогам. Ни один француз, говорили священники того времени, не может быть принужден платить налог, за который он не голосовал лично или через своего представителя. Духовенство далее требовало, чтобы Генеральные штаты, избранные свободно, собирались ежегодно; чтобы они в присутствии нации обсуждали все ее главные дела; чтобы они приняли общие законы, имеющие первостепенное значение для всех обычаев или особых привилегий; чтобы депутаты были неприкосновенны, а министры короны постоянно несли ответственность. Духовенство также желало, чтобы во всех провинциях были созданы ассамблеи штатов, а во всех городах - муниципальные корпорации. О божественном праве - ни слова.

В целом, и несмотря на печально известные пороки некоторых его членов, я сомневаюсь, существовало ли когда-либо в мире духовенство более замечательное, чем католическое духовенство Франции в тот момент, когда ее настигла революция, — духовенство более просвещенное, более национальное, менее ограниченное рамками личного долга и более живое к общественным обязательствам, и в то же время более ревностное к вере:

преследования доказали это. Я приступил к изучению этих забытых учреждений, полных предубеждений против духовенства того времени: я прихожу к выводу, что это исследование полно уважения к ним. На самом деле у них не было недостатков, кроме тех, которые присущи всем корпоративным организациям, будь то политическим или религиозным, когда они прочно организованы и сплочены вместе; таких как склонность к агрессии, определенная нетерпимость к предрасположенностям и инстинктивная — иногда слепая — привязанность к особым правам своего Ордена.

Средние классы времени, предшествовавшего революции, также были гораздо лучше подготовлены, чем нынешние, к проявлению духа независимости. Многие даже недостатки их социальной структуры способствовали этому результату. Мы уже видели, что общественные должности, занимаемые этими классами, были даже более многочисленными, чем в настоящее время, и что страсть к получению этих должностей была столь же сильной. Но обратите внимание на разницу в возрасте. Большинство этих мест не были ни предоставлены, ни отняты правительством, что увеличивало значимость тех, кто их заполнял, не отдавая их на милость правителя; следовательно, та самая причина, которая сейчас завершает подчинение стольких людей, была именно той, которая наиболее мощно позволяла им в то время сохранять свою независимость.

Всякого рода иммунитеты, которые, к несчастью, отделяли средний класс от низших, превратили первый в ложную аристократию, которая часто проявляла гордость и дух сопротивления настоящей аристократии. В каждой из тех небольших частных ассоциаций, которые разделяли средний класс на множество секций, общее преимущество легко упускалось из виду, но интересы и права каждой организации всегда принимались во внимание. Общее достоинство, общие привилегии должны были быть защищены. [55] Ни один человек никогда не сможет затеряться в толпе или найти укрытие для низменного подчинения. Каждый человек стоял как бы на сцене, правда, чрезвычайно сжатой, но в ярком свете, и там он оказывался в присутствии той же самой аудитории, всегда готовой поаплодировать или осудить его.

Искусство подавлять любой ропот сопротивления было в то время гораздо менее совершенным, чем сейчас. Франция еще не превратилась в тот безмолвный край, в котором мы живем: напротив, каждый звук отзывался эхом, хотя политическая свобода была еще неизвестна, и каждый громкий голос был слышен издалека.

То, что особенно в те времена обеспечивало угнетенным возможность быть услышанными, было учреждением Судов справедливости. Франция стала страной абсолютного правления благодаря своим политическим и административным институтам, но ее народ все еще был свободен благодаря ее институтам правосудия. Судебное управление старой монархии было сложным, хлопотным, утомительным и дорогостоящим: это, без сомнения, были большие недостатки, но там нельзя было встретить раболепия по отношению к правительству — того раболепия, которое является всего лишь другой формой продажности, причем наихудшей формой. Этот тяжкий порок, который не только развращает судью, но вскоре заражает весь народ, был совершенно неизвестен старшей магистратуре. Судей нельзя было сместить, и они не стремились к повышению — две одинаково необходимые вещи для их независимости; ибо какое значение имеет то, что судью нельзя принудить, если есть тысяча способов соблазнения?

Это правда, что власти короны удалось лишить суды общей юрисдикции возможности рассматривать почти все иски, в которых были заинтересованы государственные власти; но,

хотя они были лишены этого права, их по-прежнему боялись. Хотя им могли запретить записывать свои решения, правительство не всегда осмеливалось препятствовать им получать жалобы или записывать свои мнения; и поскольку язык судов все еще сохранял оттенок того старого французского языка, который любил называть вещи своими именами, магистраты нередко клеймили действия правительства как произвольные и деспотические. [56] Нерегулярное вмешательство судов в дела правительства, которое часто нарушало их деятельность, таким образом, иногда служило для защиты свобод подданных. Зло было велико, но оно служило обузданию еще большего зла.

В этих судебных органах и повсюду вокруг них сила древних нравов нации сохранялась среди современных мнений. Парламенты Франции, несомненно, думали больше о себе, чем о государстве; но следует признать, что, защищая свою независимость и честь, они всегда вели себя бесстрашно и что они передавали свой дух всем, кто оказывался рядом с ними.

Когда в 1770 году парижский парламент был распущен, принадлежавшие к нему магистраты смирились с потерей своей профессии и своей власти, не было ни единого случая, чтобы кто-либо подчинился воле суверена. Более того, некоторые суды другого рода, такие как Суд по СПИДу, которые не были затронуты и которым не угрожали, добровольно подвергли себя такому же жестокому обращению, когда это обращение стало неизбежным. И это еще не все: ведущие адвокаты, работавшие в парламенте, по собственной воле решили разделить его судьбу; они отказались от всего, что составляло их славу и богатство, и обрекли себя на молчание, лишь бы не предстать перед опозоренными судьями. Я не знаю ничего в истории свободных наций грандиознее того, что произошло в этом случае, и все же это произошло в восемнадцатом веке, при дворе Людовика XV.

Привычки французских судов стали во многих отношениях привычками нации. Суды породили представление о том, что каждый вопрос открыт для обсуждения, а каждое решение подлежит обжалованию, а также публичность и вкус к формам судопроизводства, противоположным рабству: это была единственная часть воспитания свободного народа, которую институты старой монархии дали Франции. Сама администрация в значительной степени заимствовала формулировки и практику судов. Король считал себя обязанным определять мотивы своих эдиктов и излагать свои доводы до того, как он сделает вывод; Государственный совет предписал, чтобы его приказам предшествовали длинные преамбулы; интенданты обнародовали свои постановления в формах судебной процедуры. Во всех административных органах любой древности, таких, например, как совет казначеев Франции или совет *элиты* (которые оценивали *тайю*), дела публично обсуждались и принимались решения после спора в коллегии адвокатов. Все эти обычаи, все эти формальности были столь многочисленными препятствиями для произвола суверена.

Одни только люди, применяя этот термин к низшим слоям общества, и особенно к жителям сельских районов, почти всегда были неспособны оказать какое-либо сопротивление угнетению, кроме как с помощью насилия.

Большинство средств защиты, которые я здесь рассмотрел, на самом деле были вне их досягаемости; для применения этих средств требовалось место в обществе, где их можно было увидеть, или достаточно громкий голос, чтобы их услышали; но во Франции не было человека выше низших слоев общества, который, если бы у него хватило смелости, не оспаривал бы его послушание и не сопротивлялся уступке.

Король говорил как глава нации, а не как ее повелитель. 'Мы славимся,' сказал Людовик XVI при своем вступлении на престол в преамбуле к декрету, - мы славимся тем, что правим свободной и великодушной нацией'. Один из его предков уже выразил ту же мысль более древним языком, когда, поблагодарив Генеральные штаты за смелость их возражений, он сказал: "Нам больше нравится разговаривать со свободными людьми, чем с крепостными".

Люди восемнадцатого века мало знали о той страсти к комфорту, которая является матерью рабства, — страсти расслабляющей, хотя и стойкой и неизменной, которая смешивается и переплетается со многими личными добродетелями, такими как привязанность к дому, размеренность жизни, уважение к религии и даже с прохладной, хотя и усердной практикой общественного богослужения, которая поощряет приличия, но запрещает героизм, и позволяет зарабатывать на жизнь приличным людям, но низким гражданам. Люди восемнадцатого века были и лучше, и они были хуже.

Французы того века были пристрастны к веселью и страстно любили развлечения; возможно, они были более распущенными в своих привычках и более неистовыми в своих страстях и мнениях, чем нынешние, но им был чужд тот умеренный и благопристойный сенсуализм, который мы видим вокруг себя. В высших классах люди больше думали об украшении жизни, чем о том, чтобы сделать ее комфортной; они стремились скорее прославиться, чем разбогатеть. Даже в средних слоях стремление к комфорту никогда не поглощало все способности ума; это стремление часто оставлялось ради более высоких и утонченных удовольствий; каждый человек ставил перед собой какую-то цель помимо любви к деньгам. "Я знаю своих соотечественников,- сказал современный писатель языком, который, хотя и эксцентричен, энергичен, - склонных плавить и рассеивать металлы, они не склонны оказывать им обычное почтение и не замедлят снова обратиться к своим прежним кумирам, к доблести, славе и, я добавлю, к великодушию".

Более того, низость человечества нельзя оценивать по степени его подчинения суверенной власти; этот стандарт был бы неверным. Какими бы покорными ни были французы до революции перед волей короля, один вид послушания был им совершенно неизвестен: они не знали, что значит склоняться перед незаконной и оспариваемой властью — властью, которую мало почитают, часто презирают, но которую охотно терпят, потому что это может быть полезно или потому что это может причинить боль. К этой унижительной форме рабства они всегда были чужды. Король внушил им чувства, которые не смог вызвать ни один из самых абсолютных правителей, появившихся с тех пор в мире, и которые стали непонятны нынешнему поколению, настолько полностью Революция изгнала их из сердец нации. Они любили его с нежностью, подобающей отцу; они почитали его с уважением, подобающим Богу. Подчиняясь самым произвольным его приказам, они уступали не столько принуждению, сколько верности, и таким образом часто сохраняли большую свободу ума даже в самой полной зависимости. Для них величайшим злом послушания было принуждение; для нас это наименьшее: худшее - в том рабском чувстве, которое побуждает людей к повиновению. Мы не имеем права презирать наших предков. Молю Бога, чтобы мы могли вернуть себе, с их предрассудками и недостатками, хоть что-то от их величия!

В таком случае было бы ошибкой думать, что состояние общества во Франции до революции было состоянием раболепия и зависимости. [57] В том обществе существовало гораздо больше свободы, чем в наше время; но это была разновидность нерегулярной и прерывистой свободы,

всегда ограниченной рамками определенных классов, связанной с понятием освобождения и привилегий, из-за которых бросать вызов закону было почти так же легко, как бросать вызов произвольной власти, и вряд ли когда-либо заходило достаточно далеко, чтобы обеспечить всем классам общества самые естественные и необходимые гарантии. [58] Таким образом, урезанная и деформированная свобода все же не была бесплодной. Именно эта свобода, которая в то самое время, когда централизация все больше и больше уравнивала, выхолащивала и затемняла характер нации, все еще сохраняла среди большого класса частных лиц их природную силу, их цвет и очертания, воспитывала в сердцах чувство собственного достоинства и часто заставляла любовь к славе преобладать над всеми другими вкусами. Благодаря этой свободе сформировались те энергичные характеры, те гордые и отважные умы, которые вот-вот должны были появиться и которые должны были сделать Французскую революцию одновременно объектом восхищения и ужаса последующих поколений. Было бы так странно, если бы столь мужские добродетели выросли на почве, где больше не было свободы.

Но если такого рода плохо регулируемая и болезненная свобода подготовила французов к преодолению деспотизма, возможно, она также сделала их менее пригодными, чем любой другой народ, для установления вместо этого деспотизма свободной и мирной империи конституционного права.

ГЛАВА XII.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА, НЕСМОТРЯ НА ПРОГРЕСС ЦИВИЛИЗАЦИИ, В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ ИНОГДА БЫЛО ХУЖЕ, ЧЕМ В ТРИНАДЦАТОМ.

В восемнадцатом веке французские крестьяне больше не могли подвергаться преследованиям мелких феодальных деспотов; они редко становились объектом насилия со стороны правительства; они пользовались гражданской свободой и были владельцами части земли; но все другие классы общества стояли в стороне от этого класса, и, возможно, ни в одной другой части мира крестьянство никогда не жило в таком полном одиночестве. Последствия этого нового и необычного вида угнетения заслуживают отдельного очень внимательного рассмотрения.

Еще в начале семнадцатого века Генрих IV. Как мы узнаем из Перефикса, жаловался, что дворяне покидают сельские округа. В середине восемнадцатого века это дезертирство стало почти повсеместным; все записи того времени указывают на этот факт и выражают сожаление по этому поводу: экономисты в своих трудах, интенданты в своих отчетах, сельскохозяйственные общества в своих отчетах. Более достоверное подтверждение того же факта можно найти в реестрах подушного налога. Подушный налог взимался по фактическому месту жительства, и его платила вся крупная знать и часть мелкопоместного дворянства в Париже.

В сельских округах не осталось никого, кроме тех представителей знати, которых ограниченные средства вынудили остаться там. Эти люди, должно быть, оказались в таком положении по отношению к крестьянам, его соседям, какого раньше не мог себе представить ни один богатый

собственник. [59] Будучи больше не в положении вождя, они не были так заинтересованы, как раньше, заботиться о деревенском населении, помогать ему или направлять его; и, с другой стороны, не будучи подвержены такому же бремени, они не могли испытывать особого сочувствия ни к бедности, которую они не разделяли, ни к обидам, которым они не подвергались. Крестьянство больше не было подданным дворянства; дворянство еще не было согражданами крестьянства - беспрецедентное в истории положение вещей.

Это породило своего рода абсентеизм чувств, если можно так выразиться, даже более частый и действенный, чем абсентеизм в собственном смысле этого слова. Отсюда вытекало, что джентльмен, проживающий в своем поместье, часто проявлял взгляды и чувства, которых придерживался бы его управляющий в его отсутствие; подобно своему управляющему, он научился смотреть на своих арендаторов как на своих должников и строго требовал от них всего, на что мог претендовать по закону или обычаю, что иногда делало применение последних остатков феодальных прав более суровым, чем это было в феодальные времена.

Часто смущенные и вечно нуждающиеся, мелкие дворяне жили бедно в своих загородных домах, заботясь только о том, чтобы накопить достаточно денег, чтобы провести зиму в городе. Люди, которые часто находят выражение, близкое к истине, дали этим маленьким оруженосцам название наименьшей из хищных птиц - *хоберо*, что-то вроде Воздушного змея-оруженосца.

Несомненно, из этих наблюдений можно было бы сделать отдельные исключения: я говорю о классах, которые сами по себе должны привлекать внимание истории. Кто станет отрицать, что в те времена было много богатых землевладельцев, которые без всякого необходимого повода и без общего интереса заботились о благосостоянии крестьянства? Но это были люди, которые успешно боролись против закона своего нового состояния, который, помимо их воли, приводил их в безразличие, как и их бывших вассалов в ненависть.

Этот отказ знати от сельской жизни часто объяснялся особым влиянием определенных министров и определенных королей — одними Ришелье, другими Людовиком XIV. Это была, без сомнения, идея, которую почти всегда преследовали короли Франции в течение трех последних столетий монархии, отделить дворянство от народа и привлечь первых ко двору и на государственные должности. Особенно это было актуально в семнадцатом веке, когда дворянство все еще вызывало страх у членов королевской семьи. Среди вопросов, адресованных интендантам, им иногда задавали такой: "Предпочитают ли дворяне вашей провинции оставаться дома или уехать за границу?"

Было найдено письмо от интенданта с его ответом на этот вопрос: он сетует, что дворяне его провинции предпочитают оставаться со своими крестьянами, вместо того чтобы выполнять свои обязанности по отношению к королю. И здесь следует хорошо отметить, что провинцией, о которой говорил этот интендант, была Анжу — та провинция, которая впоследствии стала Вандеей. Эти сельские джентльмены, отказавшиеся, как он сказал, выполнять свои обязанности по отношению к королю, были единственными сельскими джентльменами, которые с оружием в руках защищали монархию во Франции и погибли там, сражаясь за корону; они были обязаны этим славным отличием просто тому факту, что нашли средства сохранить свою власть над крестьянством — тем крестьянством, с которым их обвиняли в желании жить.

Тем не менее оставление страны классом, который тогда составлял главу французской нации, не следует приписывать в основном прямому влиянию некоторых французских королей. Главная и постоянная причина этого факта заключалась не столько в воле определенных людей, сколько в медленном и непрерывном влиянии институтов; и доказательством является то, что, когда в восемнадцатом веке правительство пыталось бороться с этим злом, оно даже не могло остановить его распространение. По мере того, как дворянство полностью теряло свои политические права, не приобретая других, и по мере исчезновения местной свободы, эта эмиграция дворян увеличивалась. Стало ненужным выманивать их из их домов; они не стремились оставаться там. Сельская жизнь стала им неприятна.

То, что я здесь говорю о дворянах, применимо во всех странах к богатым землевладельцам. Во всех централизованных странах сельские округа теряют своих богатых и просвещенных жителей. Я мог бы добавить, что во всех централизованных странах искусство возделывания остается несовершенным и не усовершенствованным — комментарий к глубокому замечанию Монтескье, которое определяет смысл его слов, когда он говорит, что 'земля производит меньше из-за своего собственного плодородия, чем из-за свободы ее жителей'. Но я не буду выходить за рамки моей темы.

Мы видели в другом месте, что средние классы, в равной степени готовые покинуть сельские районы, искали убежища со всех сторон в городах. Ни в одном пункте все свидетельства французского общества до революции не совпадают более согласованно. Они показывают, что второе поколение богатых крестьян было почти неизвестным. Как только фермер зарабатывал немного денег своим трудом, он отрывал своего сына от плуга, отправлял его в город и покупал ему небольшую должность. С этого периода можно отнести то странное отвращение, которое французский земледелец часто проявляет, даже в наши дни, к призванию, обогатившему его. Следствие пережило причину.

По правде говоря, единственным образованным человеком — или, как его называли бы в Англии, единственным *джентльменом*, — который постоянно проживал среди крестьян и находился в постоянном общении с ними, был приходской священник. Результатом было то, что священник стал бы хозяином сельского населения, вопреки Вольтеру, если бы он сам не был так тесно и явно связан с политическим порядком вещей; обладание несколькими политическими привилегиями в некоторой степени подвергало его ненависти, внушаемой этими политическими институтами. [60]

Таким образом, крестьянин был почти полностью отделен от высших классов; он был удален от тех своих братьев, которые могли бы помогать ему и направлять его. По мере того, как они достигали просветления или компетентности, они отворачивались от него; он стоял, так сказать, под табу и был обособлен посреди нации.

Такого положения вещей не существовало в равной степени ни у одной из других цивилизованных наций Европы, и даже во Франции оно возникло сравнительно недавно. Крестьянство четырнадцатого века было одновременно и более угнетенным, и более освобожденным. Аристократия иногда тиранила их, но никогда не бросала.

В восемнадцатом веке французская деревня представляла собой сообщество людей, все из которых были бедны, невежественны и грубы; ее судьи были такими же грубыми и презируемыми, как и народ; ее синдик не умел читать; ее сборщик налогов не мог вести своим

почерком счета, от которых зависел доход его соседей и его собственный. Бывший владелец поместья не только потерял право управлять этим сообществом, но и заставил себя считать своего рода унижением принимать какое-либо участие в управлении им. Оценивать *труд*, вызывать ополчение, регулировать принудительный труд - это были подневольные должности, возложенные на синдик. Только центральная власть государства заботилась об этом вопросе, и поскольку эта власть была очень отдаленной и ей пока нечего было опасаться жителей деревень, единственной заботой, которую она от них требовала, было извлечение доходов.

Позвольте мне показать вам, во что превращается заброшенный класс общества, которого никто не желает угнетать, но и просвещать или служить которому никто не пытается.

Самые тяжелые тяготы, которые феодальная система возлагала на сельское население, без сомнения, были сняты и смягчены; но недостаточно известно, были ли заменены эти тяготы другими, возможно, более тяжелыми. Крестьянину не приходилось терпеть все те беды, которые претерпели его предки, но он выдержал многие лишения, которых его предки никогда не знали.

The *Тайля* сократили почти исключительно за счет крестьянства в предыдущие два столетия. И здесь следует сказать несколько слов о способе взимания этого налога, чтобы показать, какие варварские законы могут быть установлены и поддерживаться в цивилизованные века, когда самые просвещенные люди в стране не имеют личной заинтересованности в их изменении.

Я нахожу в конфиденциальном письме, написанном самим генеральным контролером в 1772 году интендантам, описание этого налога, которое является образцом краткости и точности. "*Налог*, - сказал этот министр, - исчисляемый произвольно, взимаемый коллективно как личный, а не реальный налог на большей части Франции, подвержен постоянным колебаниям в зависимости от всех изменений, которые происходят каждый год в судьбе налогоплательщиков'. В этих трех фразах заключено целое. Невозможно более умело изобразить зло, которым воспользовался писатель.

Общая сумма, подлежащая выплате каждым приходом, устанавливалась каждые три года. Как говорит министр, она постоянно менялась, так что ни один фермер не мог предвидеть за год, сколько ему придется заплатить в следующем году. Во внутреннем хозяйстве каждого прихода любому из крестьян, названных сборщиком налогов, было поручено распределять налог между остальными.

Я сказал, что объясню, в каком состоянии был этот коллекционер. Давайте воспользуемся этим объяснением на языке Ассамблеи провинции Берри в 1779 году, органа, не вызывающего подозрений, поскольку он полностью состоял из привилегированных лиц, которые не платили *пошлины* были выбраны королем. 'Поскольку каждый стремится уклониться от должности сборщика налогов, ' сказала это Собрание, ' каждый человек должен занимать ее по очереди. Таким образом, взимание *налога* каждый год поручается новому сборщику, независимо от его способностей или добросовестности; таким образом, составление каждой налоговой ведомости свидетельствует о личном характере должностного лица, которое ее составляет. Коллекционер ставит на нем печать своих собственных страхов, или слабостей, или пороков. Действительно, как он мог бы сделать лучше? Он действует в темноте, ибо кто может с точностью сказать о богатстве своего соседа или о соотношении его богатства с богатством другого? Тем не менее, решение по этим вопросам зависит только от мнения коллектора, и он

несет ответственность всем своим имуществом и даже лично за квитанции. Обычно целых два года он вынужден терять половину своего рабочего дня, гоняясь за налогоплательщиками. Те, кто не умеет читать, вынуждены искать соседа, который выполнял бы эту работу за них".

Тюрго незадолго до этого уже говорил о другой провинции: "Эта должность сборщика налогов приводит в отчаяние и вообще к разорению тех, на кого она возложена; таким образом, все более богатые семьи деревни последовательно оказываются в нищете".

Однако этот несчастный офицер был вооружен самыми деспотическими полномочиями; [61] он был почти таким же тираном, как и мучеником. Пока он выполнял функции, с помощью которых погубил себя, в его власти было погубить всех остальных. 'Предпочтение своим родственникам, ' если говорить языком Провинциального собрания, ' или своим друзьям и соседям, ненависть и месть своим врагам, отсутствие покровителя, боязнь оскорбить состоятельного человека, у которого была работа, чтобы помочь, вступали в противоречие со всяким чувством справедливости'. Личный страх часто ожесточал сердце коллектора; были приходы, из которых он никогда не выходил, кроме как в сопровождении констеблей и судебных приставов. 'Когда он придет без констебля,' сказал интендант министру в 1764 году, 'лица, облагаемые налогом, не будут платить'. "Только в округе Вильфранш, - сообщает Провинциальное собрание Гиенны, - было сто шесть полицейских, постоянно выезжавших для вручения судебных приказов и наложения дисциплинарных взысканий".

Чтобы избежать этого жестокого и произвольного налогообложения, французское крестьянство в середине восемнадцатого века действовало подобно евреям в средние века. Они были якобы нищими, даже когда случайно на самом деле таковыми не являлись. Они боялись разбогатеть; и не без причины, как видно из документа, который я выбрал, не из Гиенны, а за сотню лиг от нее. Сельскохозяйственное общество штата Мэн объявило в своем Отчете за 1761 год, что оно предложило распределять скот в качестве призов и поощрений. "Этот план был остановлен, - добавляется в нем, - из-за опасных последствий, которые могли возникнуть из-за низкой зависти к обладателям этих призов, которая посредством произвольного определения государственных налогов вызвала бы у них раздражение в следующем году".

При такой системе налогообложения каждый налогоплательщик был, по сути, прямо и постоянно заинтересован в том, чтобы шпионить за своими соседями и доносить сборщику налогов о росте их состояния. Таким образом, все население было приучено к обману и ненависти. Разве не этого следовало ожидать во владениях раджи Индостана?

Однако в то же время во Франции существовали определенные районы, в которых налоги взимались регулярно и умеренно; они назывались *государственными округами*. [62] Это правда, что за этими округами было оставлено право взимать свои собственные налоги. Например, в Лангедоке *taille* оценивался в отношении недвижимости и не менялся в зависимости от средств владельца. Его неизменной и известной основой была тщательно проведенная межевание, которое обновлялось каждые тридцать лет и в ходе которого земли были разделены, в соответствии с их плодородием, на три класса. Каждый налогоплательщик заранее точно знал, какова его доля в расходах. Если он не платил, ответственность нес только он, или, скорее, только его земля. Если бы он счел оценку несправедливой, он всегда мог бы потребовать, чтобы его доля была сопоставлена с долей любого другого жителя прихода, исходя из принципа, который сейчас во Франции называют призывом к пропорциональному равенству.

Эти правила - это именно те, которым сейчас следуют во Франции; с тех пор они не были улучшены, но они были обобщены: ибо заслуживает внимания тот факт, что, хотя форма государственного управления во Франции была заимствована у правительства, предшествовавшего революции, ничто другое не было скопировано с этого правительства. Лучшие административные формы судопроизводства в современной Франции были заимствованы у старых провинциальных собраний, а не у правительства. Машина была принята на вооружение, но ее продукция отвергнута.

Привычная бедность сельского населения породила максимы, мало рассчитанные на то, чтобы положить этому конец. 'Если бы нации были состоятельными,' сказал Ришелье в своем Политическом Завещании, 'вряд ли они придерживались бы правил'. В восемнадцатом веке эта максима была изменена, но по-прежнему считалось, что крестьянство не будет работать без постоянного стимула необходимости и что нужда - единственная защита от безделья. Это именно та теория, которую иногда исповедуют по отношению к негритянскому населению колоний. Это было мнение, настолько широко распространенное среди тех, кто правил страной, что почти все экономисты сочли себя обязанными вести с ним длительную борьбу.

Основной целью *taille* было дать королю возможность приобретать рекрутов, чтобы освободить дворян и их вассалов от военной службы; но в семнадцатом веке обязанность военной службы была снова введена, как мы видели, под названием ополчения, и с этого времени она ложилась только на простых людей и почти исключительно на крестьянство.

Бесконечного количества полицейских отчетов от констеблей, которые все еще можно найти среди записей любого интендантства, все они касаются преследования непокорных ополченцев или дезертиров, достаточно, чтобы доказать, что эти силы были собраны не без препятствий. Действительно, кажется, что ни одно общественное бремя не было более непосильным для крестьянства, чем это: чтобы избежать его, они часто убегали в леса, где их преследовали вооруженные власти. Это тем более странно, когда мы видим, с какой легкостью действует воинская повинность во Франции в настоящее время.

Это крайнее отвращение крестьян Франции до революции к ополчению объяснялось не столько принципом закона, сколько способом исполнения закона; в особенности длительным периодом неопределенности, в течение которого это грозило тем, кто подлежал призыву (их могли принимать до сорока лет, если они не были женаты); — произвольной властью пересмотра, которая делала преимущество счастливого числа почти бесполезным; — запретом нанимать замену; — отвращением к тяжелой и опасной профессии, в которой была запрещена всякая надежда на продвижение; но, прежде всего, от ощущения, что это гнетущее бремя лежит только на них самих и на самых несчастных среди них самих, позор этого положения делает его тяготы еще более невыносимыми.

У меня были возможности сослаться на многие возвраты призыва в ополчение, поскольку это было сделано в 1769 году во многих приходах. Во всех этих возвращениях есть некоторые исключения: этот человек - слуга джентльмена; тот - егерь аббатства; третий - всего лишь камердинер человека низшего происхождения, но который, по крайней мере, 'живет как дворянин'. Одно только богатство давало освобождение; когда фермер ежегодно попадал в число тех, кто платил самую большую сумму налогов, его сыновья увольнялись из ополчения; это называлось поощрением сельского хозяйства. Даже экономисты, которые во всем остальном были ярыми сторонниками социального равенства, не были шокированы этой

привилегией; они лишь предположили, что ее следует расширить или, другими словами, что бремя беднейших и лишенных друзей крестьян должно стать более тяжелым. "Низкое жалование солдата, - сказал один из этих авторов, - то, как он устроен, одет и накормлен, и все его зависимое положение сделали бы слишком жестоким брать кого-либо, кроме человека самого низкого звания".

Вплоть до конца правления Людовика XIV. большие дороги не ремонтировались или ремонтировались за счет тех, кто ими пользовался, а именно государства и прилегающих землевладельцев. Но примерно в то же время дороги начали ремонтировать только принудительным трудом, то есть исключительно за счет крестьянства. [63] Этот способ строительства дорог без оплаты за них считался настолько остроумным, что в 1737 году циркуляр генерального контролера Орри распространил его по всей Франции. Интенданты были наделены правом заключать непокорных в тюрьму по своему усмотрению или посылать за ними констеблей. [64]

С того времени всякий раз, когда торговля расширялась, так что требовалось больше дорог, *барщина* или принудительный труд распространялись на новые линии, и приходилось выполнять больше работы. Из отчета, представленного в 1779 году провинциальному собранию Берри, следует, что работы, выполненные принудительным трудом в этой бедной провинции, оценивались за один год в 700 000 ливров. В 1787 году они были подсчитаны примерно в такой же сумме в Нижней Нормандии. Ничто не может лучше продемонстрировать печальную судьбу сельского населения; прогресс общества, обогативший все остальные классы, довел их до отчаяния, и сама цивилизация обернулась против этого класса.

Примерно в то же время в переписке интендантов я нахожу, что крестьянам было отказано в разрешении выполнять принудительные работы на частных дорогах их собственных деревень, поскольку этот труд должен был выполняться только на больших дорогах, или, как их тогда называли, 'королевском тракте'. Странное представление о том, что расходы на дороги должны покрываться самыми бедными людьми и теми, у кого меньше всего шансов путешествовать по ним, хотя и возникло недавно, настолько укоренилось в умах тех, кто должен был извлечь из этого выгоду, что вскоре они вообразили, что иначе поступить нельзя. [65] В 1766 году была предпринята попытка преобразовать этот принудительный труд в местную норму, но то же неравенство сохранилось и повлияло на этот новый вид налога.

Хотя первоначально система принудительного труда была правом сеньории, став королевским правом, она постепенно распространилась почти на все общественные работы. Насколько я знаю, в 1719 году его использовали для строительства казарм. 'Приходы должны посылать своих лучших рабочих, 'говорилось в Постановлении, - а все остальные работы должны быть отданы этому делу'. Такая же принудительная служба использовалась для сопровождения осужденных на галеры и нищих в работный дом; [66] багаж солдат приходилось перевозить так часто, когда они меняли свое жилье, что было очень обременительным в то время, когда каждый полк нес за собой тяжелый багаж. Для этой цели пришлось собрать много повозок и волов. [67] Такого рода обязательства, которые поначалу мало что значили, стали одними из самых обременительных, когда постоянные армии стали более многочисленными. Иногда правительственные подрядчики громко требовали привлечения принудительных рабочих для доставки древесины из лесов на военно-морские арсеналы. Эти крестьяне обычно получали

определенную заработную плату, но она была произвольно фиксированной и низкой. [68] Бремя самозванца, столь плохо оцененного, иногда становилось настолько тяжелым, что вызывало беспокойство получателей *тайи*. "Расходы, требующиеся от крестьян на дорогах, - сказал один из этих офицеров в 1751 году, - таковы, что вскоре они будут совершенно неспособны платить *пошлину*".

Могли бы ли установиться все эти новые притеснения, если бы поблизости от этих крестьян были состоятельные и образованные люди, расположенные и способные если не защитить их, то хотя бы заступиться за них перед тем общим хозяином, который уже держал в своих руках судьбы бедных и богатых?

Я прочитал письмо крупного землевладельца, написанное в 1774 году интенданту своей провинции с просьбой побудить его открыть дорогу. Эта дорога, сказал он, приведет к процветанию деревни, и по нескольким причинам; затем он порекомендовал организовать ярмарку, которая, по его мнению, удвоила бы цены на продукты. Руководствуясь прекрасными побуждениями, он добавил, что с помощью небольшого взноса можно было бы основать школу, которая обеспечила бы короля более трудолюбивыми подданными. Это был первый раз, когда эти необходимые улучшения пришли ему в голову; он думал о них только в предыдущие два года, которые *служебное письмо* вынудило его провести в собственном доме. "Мое двухлетнее изгнание в моих поместьях, - откровенно заметил он, - убедило меня в чрезвычайной полезности этих вещей".

Ослабление или полный разрыв уз покровительства и зависимости, которые раньше связывали крупных сельских собственников и крестьянство, проявлялись особенно во времена дефицита. В такие критические моменты Центральное правительство, встревоженное собственной изоляцией и слабостью, пыталось хотя бы ненадолго возродить личное влияние или политические ассоциации, которые само правительство уничтожило; их призывали к нему на помощь, но призывали напрасно, и государство было поражено, обнаружив, что тех людей, которых оно само лишило жизни, больше нет.

В этой крайней ситуации некоторые интенданты — Тюрго, например, — в беднейших провинциях издавали незаконные указы, чтобы заставить богатых землевладельцев кормить своих арендаторов до следующего урожая. Я нашел под датой 1770 года письма от нескольких приходских священников, которые предлагают интендантам обложить налогом крупных землевладельцев, как духовных, так и мирских, "которые владеют обширными поместьями, в которых они не проживают, и с которых они получают большие доходы для использования в других местах".

Во все времена деревни кишели нищими; ибо, как замечает Летронн, бедняки получали облегчение в городах, но в сельской местности зимой нищенство было их единственным ресурсом.

Иногда с этими беднягами обращались очень жестоко. В 1767 году герцог де Шуазель, тогдашний министр, внезапно решил пресечь нищенство во Франции. Переписка интендантов до сих пор показывает, с какой строгостью были приняты его меры. Патрулю было приказано немедленно забрать всех нищих, найденных в королевстве; говорят, что было схвачено более 50 000 из них. Трудоспособные бродяги подлежали отправке на галеры; что касается остальных, то

для их приема было открыто более сорока рабочих домов. Было бы более целесообразно открыть сердца богатых.

Это правительство древней французской монархии, которое было, как я уже говорил, таким мягким, а иногда и таким робким, таким полным формальностей, задержек и щепетильности, когда оно имело дело с теми, кто был поставлен выше простых людей, всегда было суровым и всегда быстрым в действиях против низших слоев населения, особенно против крестьянства. Среди документов, которые я изучил, я не видел ни одного, касающегося ареста человека из среднего класса по приказу интенданта; но крестьян арестовывали постоянно, некоторых за принудительный труд, некоторых за попрошайничество, некоторых для ополчения, некоторых полицией или по сотне других причин. Представители первого класса пользовались независимыми судами, длительными судебными процессами и публичной процедурой; последние находились под контролем главного судебного исполнителя в упрощенном порядке и без апелляции. [69]

‘Огромная дистанция, существующая между простыми людьми и всеми другими классами общества, - писал Неккер в 1785 году, - способствует тому, что мы не обращаем внимания на то, как власть может обращаться со всеми этими людьми, затерянными в толпе. Без мягкости и человечности, которые характеризуют французов и дух этого века, это было бы постоянным предметом скорби для тех, кто может сочувствовать другим под бременем, от которого они сами свободны’.

Но это угнетение проявлялось не столько в явном зле, причиненном этим несчастным классам, сколько в препятствиях, которые мешали им улучшить свое собственное положение. Они были свободны и владели землей, но оставались почти такими же невежественными, а часто и более бедными, чем крепостные, их предки. Они все еще не были заняты в промышленности, среди всех замечательных творений современного искусства; они все еще были нецивилизованными в мире, блистающем цивилизацией. Если они и сохранили присущие их расе особый интеллект и проницательность, то их не научили использовать эти качества; они не могли даже преуспеть в возделывании почвы - единственном, что им оставалось делать. "Земледелие, которое я вижу перед собой, относится к десятому веку", - таково было замечание знаменитого английского агронома во Франции. Они не преуспевали ни в одной профессии, кроме военной; там, по крайней мере, они естественно и неизбежно вступали в контакт с другими классами.

В этой глубокой изоляции и нужде жили французские крестьяне; они жили замкнутыми и недоступными внутри нее. Я был удивлен и почти шокирован, узнав, что менее чем за двадцать лет до того, как католическое богослужение было без сопротивления отменено во Франции и церкви осквернены, были приняты следующие меры для определения численности населения округа: приходские священники сообщали о количестве людей, присутствовавших на Пасху за трапезой Господней, — добавлялась оценка вероятного числа детей и больных; в результате была получена общая численность населения. Тем не менее дух эпохи многими путями начал проникать в эти неискушенные умы; он проникал по нерегулярным и скрытым каналам и принимал самые странные формы в их узких и темных возможностях. И все же внешне, казалось, ничего не изменилось; манеры, привычки, вера крестьянина казались теми же; он был покорным и даже веселым.

Есть что-то фальшивое в веселости, которую французы часто проявляют посреди величайших бедствий. Это только доказывает, что, веря в неизбежность своего несчастья, они стремятся

избавиться от него, не думая о нем, но не то, что они этого не чувствуют. Открой им дверь спасения от зла, которое они, кажется, переносят так легко, и они бросятся к нему с такой яростью, что пройдут по твоему телу, даже не заметив тебя, если ты окажешься на их пути.

Эти вещи ясны нам с нашей точки зрения; но они были невидимы для современных глаз. Людям, принадлежащим к высшим классам, всегда с большим трудом удается с точностью распознать, что происходит в умах простых людей, и особенно крестьянства. Образование и образ жизни крестьянства дают им определенные собственные взгляды, которые остаются закрытыми для всех других классов. Но когда у бедных и богатых почти нет общих интересов, общих обид или общего бизнеса, тьма, которая скрывает разум одного от разума другого, становится непроницаемой, и два класса могли бы вечно жить бок о бок без малейшего взаимопроникновения. Любопытно наблюдать, в какой странной безопасности жили все те, кто занимал верхние или средние этажи общественного здания в то самое время, когда начиналась Революция, и отмечать, как изобретательно они рассуждали о добродетелях простых людей, об их мягкости, об их привязанности к самим себе, об их невинных развлечениях; абсурдный и ужасный контраст 93-го года уже был у них под ногами.

Давайте здесь на мгновение остановимся и продолжим рассматривать среди всех этих мельчайших подробностей, которые я описал, один из величайших законов Провидения в управлении человеческими обществами.

Французское дворянство упорно стояло в стороне от других классов; землевладельцы в конце концов добились освобождения от большей части общественных тягот, которые лежали на них; они воображали, что смогут сохранить свой ранг, уклоняясь от своих обязанностей, и какое-то время это казалось таковым. Но вскоре внутренняя и невидимая болезнь, по-видимому, заразила их состояние; она прошла, хотя никто к ней не прикасался, и в то время как их иммунитет усилился, их сущность уменьшилась. Средние классы, с которыми они так неохотно смешивались, росли в богатстве и интеллекте рядом с ними, без них и против них; они отвергли средние классы как партнеров и сограждан; но они были близки к тому, чтобы найти в этих классах своих соперников, вскоре своих врагов, наконец, своих хозяев. Высшая власть освободила их от заботы направлять, защищать и помогать своим вассалам; но поскольку эта власть предоставила им в полной мере пользоваться своими денежными правами и почетными привилегиями, они поняли, что для них ничего не потеряно. Поскольку они все еще шли первыми, они все еще думали, что ведут; и действительно, с ними все еще были люди, которых на языке закона они называли своими *подданными*— других называли их вассалами, их арендаторами, их фермерами. Но на самом деле никто не последовал за ними; они были одиноки, и когда эти самые классы восстали против них, бегство было их единственным выходом.

Хотя судьбы знати и средних классов существенно отличались друг от друга, у них было одно сходство: люди средних классов в конце концов стали жить так же обособленно от простых людей, как и представители высших классов. Далекие от сближения с крестьянством, они отошли от всякого соприкосновения с их трудностями; вместо того чтобы тесно сплотиться с низшими слоями населения для совместной борьбы против общего неравенства, они стремились лишь установить новые преференции в свою пользу; и они так же стремились добиться для себя поблажек, как дворяне стремились сохранить свои привилегии. Эти крестьяне, из которых произошли средние классы, не только стали чужими для своих потомков,

но были буквально неизвестны им; и только после того, как средние классы вложили им в руки оружие, эти классы поняли, какие неизвестные страсти они разжигали — страсти, которыми они не могли ни руководить, ни контролировать, и которые в конце концов превратили зачинщиков этих страстей в их жертв.

Во все будущие века руины этого великого Дома Франции, которому, казалось, суждено было простираться по всей Европе, будут чудом человечества; но те, кто внимательно прочтет его историю, без труда поймут его падение. Почти все пороки, почти все ошибки, почти все фатальные предрассудки, которые я имел случай описать, были обязаны либо своим происхождением, либо своей продолжительностью, либо своим размахом искусству, применявшемуся большинством королей Франции для разделения своих подданных с целью более полного управления ими.

Но когда средние классы были таким образом полностью отделены от дворянства, а крестьянство - от дворянства, равно как и от средних классов, когда в результате развития одних и тех же влияний внутри каждого класса каждый из них был внутренне разделен на мелкие группы, почти столь же изолированные друг от друга, как классы, к которым они принадлежали, в результате получилась одна однородная масса, части которой больше не связывались. Ничто больше не было организовано настолько, чтобы помешать правительству, ничто так, чтобы помочь ему; настолько, что вся ткань величия монархии могла развалиться на куски сразу и в одно мгновение, как только общество, на котором она покоилась, было нарушено.

И народ, который, кажется, единственный чему-то научился на проступках и ошибках всех своих хозяев, если он действительно избежал их империи, не смог избавиться от ложных представлений, порочных привычек, дурных тенденций, которые эти хозяева привили ему или позволили ему принять. Иногда этот народ привносил пристрастия раба в пользование своей свободой, одинаково неспособный к самоуправлению и враждебный тем, кто мог бы им управлять.

Теперь я продолжаю свой путь; и, упуская из виду старые и общие факты, подготовившие великую Революцию, которую я намереваюсь изобразить, я перехожу к более частным и более свежим событиям, которые в конечном итоге определили ее возникновение, происхождение и характер.

ГЛАВА XIII.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО К СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА ЛИТЕРАТОРЫ СТАЛИ ВЕДУЩИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ ФРАНЦИИ, И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО СОБЫТИЯ.

Франция долгое время была самой литературной из всех наций Европы; хотя ее литераторы никогда не проявляли таких интеллектуальных способностей, какие они проявляли примерно в середине восемнадцатого века, и не занимали такого положения, какое они занимали тогда. Ничего подобного никогда не было видно ни во Франции, ни, возможно, в какой-либо другой стране. Они не были постоянно вовлечены в общественные дела, как в Англии: напротив,

никогда еще они не жили так обособленно от них. Они не были облечены никакой властью и не занимали никаких государственных постов в обществе, переполненном государственными служащими; и все же они, в отличие от большей части их собратьев в Германии, не держались совершенно в стороне от политической арены и не уходили в область чистой философии и изящной литературы. Они постоянно занимались делами, относящимися к правительству, и это, по правде говоря, было их особым занятием. Таким образом, они постоянно рассуждали о происхождении и примитивных формах общества, первичных правах гражданина и правительства, естественных и искусственных отношениях людей, неправильности или правильности обычного права и принципах законодательства. Проникнув таким образом в фундаментальную основу конституции своего времени, они с особой тщательностью изучили ее структуру и раскритиковали ее общий план. Все они, правда, не занимались глубоким и специальным изучением этих великих проблем: большая часть касалась их лишь бегло и как бы ради забавы; но все они более или менее касались их. Этот вид абстрактной и литературной политики был разбросан в неравных пропорциях по всем произведениям того периода; от объемистого трактата до популярной песни, ни одно из них не содержало хотя бы крупинки этого.

Что касается политических систем этих авторов, то они настолько сильно отличались одна от другой, что любая попытка примирить их или сформировать на их основе какую-либо единую теорию правления была бы невыполнимой задачей. Тем не менее, отбросив детали, чтобы добраться до первых ведущих идей, можно легко обнаружить, что авторы этих различных систем согласились по крайней мере в одном очень общем понятии, которое все они, по-видимому, одинаково понимали и которое, по-видимому, существовало в их умах до появления всех присущих им понятий и было их общим источником. Как бы сильно они ни разошлись на остальном своем пути, все они начинали с этого момента. Все они согласились с тем, что было целесообразно заменить сложные традиционные обычаи, которые управляли обществом их времени, простыми и элементарными правилами, выведенными из разума и естественного права. При тщательном рассмотрении можно увидеть, что то, что можно было бы назвать политической философией восемнадцатого века, состояло, собственно говоря, в одном этом понятии.

Эти мнения ни в коем случае не были новыми; в течение трех тысяч лет они непрестанно занимали воображение человечества, хотя и не могли закрепиться в нем. Как получилось, что они в конце концов завладели умами всех писателей того периода? Почему вместо того, чтобы продвинуться дальше нескольких философов, как это часто случалось, они, наконец, достигли масс и приобрели силу и пыл политической страсти до такой степени, что общие и абстрактные теории о природе общества стали повседневными темами для разговоров и даже воспламенили воображение женщин и крестьянства? Как получилось, что литераторы, не обладающие ни званиями, ни почестями, ни состоянием, ни ответственностью, ни властью, фактически стали главными политическими деятелями того времени и даже единственными политическими деятелями, поскольку, в то время как другие держали бразды правления, они одни захватывали его власть?

Нескольких слов может быть достаточно, чтобы показать, какое необычайное и ужасное влияние оказали эти обстоятельства, которые, по-видимому, относятся только к истории французской литературы, на Революцию и даже на нынешнее состояние Франции.

Не случайно философы восемнадцатого века столь единодушно придерживались представлений, столь противоположных тем, которые все еще служили основой общества их времени: эти идеи были естественным образом подсказаны им тем аспектом общества, который они имели перед глазами. Вид стольких несправедливых или абсурдных привилегий, бремя которых все больше и больше ощущалось, в то время как их причина была все менее и менее понята, подтолкнул или, скорее, ускорил умы всех и каждого к идее естественного равенства условий жизни людей. В то время как они смотрели на так много странных и нерегулярных институтов, рожденных в другие времена, которые никто не пытался ни привести в гармонию друг с другом, ни приспособить к современным потребностям, и которые, казалось, могли бы сохранить свое существование, хотя и утратили свою ценность, они научились ненавидеть то, что было древним и традиционным, и, естественно, возжелали перестроить общественное здание своего времени по совершенно новому плану - плану, который каждый разрабатывал исключительно в свете своего разума. [70]

В силу своего положения эти авторы были предрасположены к тому, чтобы восхищаться общими и абстрактными теориями по поводу государственного устройства и питать к ним самое слепое доверие. Почти неизмеримая удаленность, в которой они жили от практических обязанностей, не давала им никакого опыта, который умерил бы пыл их характера; ничто не предупреждало их о препятствиях, которые реальное положение вещей может противопоставить реформам, какими бы желательными они ни были. Они не имели ни малейшего представления об опасностях, которые всегда сопровождают самые необходимые революции; они даже не предчувствовали их, поскольку полное отсутствие всякой политической свободы делало ведение государственных дел не только неизвестным для них, но даже невидимым. Они сами не были заняты в этих делах и не могли видеть, что делают те, кто в них занят. Следовательно, они были лишены того поверхностного образования, которое вид свободного сообщества и шум его дискуссий дают даже тем, кто меньше всего связан с правительством. Таким образом, они стали гораздо смелее в новаторстве, больше любили обобщения и системы, с большим презрением относились к мудрости древности и все еще были более уверены в своем индивидуальном разуме, чем это обычно можно увидеть у авторов, пишущих спекулятивные книги о политике.

То же самое состояние невежества открыло им уши и сердца людей. Можно с уверенностью утверждать, что если бы французы по-прежнему принимали участие, как они это делали раньше, в работе Генеральных штатов или если бы даже они нашли повседневное занятие в управлении делами страны в ассамблеях своих нескольких провинций, они не позволили бы себе так воспламеняться идеями писателей того времени, поскольку они сохранили бы определенные привычки к общественным делам, которые уберегли бы их от зла чистой теории.

Если бы они могли, подобно англичанам, постепенно изменять дух своих древних институтов с помощью практического опыта, не разрушая их, они, возможно, были бы менее склонны изобретать новые. Но не было человека, который ежедневно не чувствовал бы себя ущемленным в своем состоянии, в своей личности, в своем комфорте или в своей гордости каким-нибудь старым законом, каким-нибудь древним политическим обычаем или каким-нибудь другим пережитком былой власти, не видя под рукой никакого средства, которое он мог бы сам применить к своим особым трудностям. Казалось, что вся конституция страны должна быть либо сохранена, либо уничтожена.

Французы, однако, все еще сохраняли одну свободу среди крушения всех остальных: они все еще были вольны почти без ограничений философствовать о происхождении общества, сущностной природе правительств и исконных правах человечества.

Все те, кто чувствовал себя ущемленным ежедневным применением существующих законов, вскоре были очарованы этой литературной политикой. Тот же вкус вскоре пришел даже к тем, кто по природе или условиям своей жизни казался наиболее далеким от абстрактных рассуждений. Каждый налогоплательщик, пострадавший из-за неравного распределения *taille*, загорелся идеей, что все люди должны быть равны; каждый мелкий землевладелец, съеденный кроликами своего благородного соседа, был рад услышать, что все привилегии без различия противоречат разуму. Всякое общественное увлечение, таким образом, принимало личину философии; всякая политическая деятельность насильственно вытеснялась в область литературы; и писатели того времени, взяв на себя руководство общественным мнением, оказались в одно время в том положении, которое обычно занимают главы партий в свободных странах. На самом деле никто больше не был в состоянии бороться с ними за ту роль, которую они взяли на себя.

Аристократия во всей своей силе не только управляет делами страны, но и направляет общественное мнение, задает тон литературе и печать авторитета идеям; но французское дворянство восемнадцатого века полностью утратило эту часть своего превосходства; его влияние последовало за ростом его могущества; и положение, которое оно занимало в общественном сознании, было полностью предоставлено писателям того времени, чтобы они занимали его по своему усмотрению. Более того, та самая аристократия, место которой они таким образом заняли, благосклонно относилась к их начинанию. Настолько совершенно был забыт тот факт, что общие теории, однажды признанные, неизбежно трансформируются со временем в политические страсти и поступки, что доктрины, наиболее враждебные особым правам и даже существованию дворянства, рассматривались как остроумные упражнения ума; дворяне даже участвовали в этих дискуссиях в качестве приятного времяпрепровождения и спокойно наслаждались своими иммунитетами и привилегиями, в то время как они безмятежно обсуждали абсурдность всех установленных обычаев.

Часто выражалось удивление по поводу поразительной слепоты, с которой высшие классы при старой монархии Франции таким образом способствовали своему собственному разорению. Но откуда они могли стать более просвещенными? Свободные институты не менее необходимы для того, чтобы показать более многочисленным гражданам их опасности, чем для того, чтобы обеспечить меньшим их права. За более чем столетие, прошедшее с тех пор, как во Франции исчезли последние следы общественной жизни, ни одно потрясение, ни один слух не предупредили тех, кто был непосредственно заинтересован в сохранении древней конституции, о том, что старое здание вот-вот рухнет. Поскольку внешне ничего не изменилось, они воображали, что все осталось по-прежнему. Таким образом, их умы были ограничены тем же горизонтом, на котором останавливался разум их отцов. Судя по публичным документам 1789 года, дворянство было так же сильно озабочено идеей посягательств королевской власти, как это могло быть в документах пятнадцатого века. С другой стороны, несчастный Людовик XVI. незадолго до своего собственного уничтожения в результате вторжения демократии, все еще продолжал (как справедливо заметил Берк) смотреть на аристократию как на главного соперника королевской власти и не доверял ей так сильно, как если бы он все еще жил во

времена *Фронды*. Средний и низший классы, напротив, были в его глазах, как и в глазах его предков, самой надежной опорой трона.

Но что должно показаться еще более странным людям наших дней — людям, у которых перед глазами разбитые осколки стольких революций, — так это тот факт, что ни малейшее представление о насильственной революции никогда не приходило в умы поколения, которое было ее свидетелем. Такая идея никогда не обсуждалась, потому что она никогда не задумывалась. Те незначительные потрясения, которым осуществление политической свободы постоянно подвергает наиболее благоустроенные общества, ежедневно напоминают о возможности землетрясения и заставляют общественность быть настороже; но в состоянии французского общества XVIII века, стоявшего на краю этой пропасти, ничто еще не указывало на то, что ткань пошатнулась.

При внимательном изучении Инструкций, составленных тремя Орденами перед их созывом в 1789 году — всеми тремя, дворянством и духовенством, а также *государственными органами*, - отмечая *последовательно* все требования, предъявляемые к изменениям законов или обычаев, будет с некоторым ужасом замечено, что, завершив этот огромный труд и подведя итог всем этим конкретным требованиям, требовалось не что иное, как одновременная и систематическая отмена всех законов и обычаев, действующих по всей стране; и то, что надвигалось должно быть, это одна из самых масштабных и опасных революций, которые когда—либо происходили в мире. Однако те самые люди, которым так скоро предстояло стать его жертвами, ничего об этом не знали. Они воображали, что полная и внезапная трансформация столь древнего и сложного состояния общества должна была быть произведена без каких-либо потрясений с помощью одного только разума; и они фатально забыли ту максиму, которую их предки четыреста лет назад выразили простым и энергичным языком своего времени: "*В соответствии с требованиями великого права и свобод и в соответствии с требованиями великой службы*". (Требую слишком большой свободы и избирательных прав, люди попадают в слишком большое рабство.)

Неудивительно, что дворянство и средние классы, столь долго отстраненные от всякой общественной деятельности, проявили эту странную неопытность; но гораздо больше поражает то, что те самые люди, которые вели государственные дела, министры, магистраты и интенданты, не проявили большей предусмотрительности. Многие из них, тем не менее, были очень умными людьми в своей профессии и в совершенстве владели всеми деталями государственного управления своего времени; но в этой великой науке управления, которая учит пониманию общего движения общества, оценке того, что происходит в умах масс, и предвидению вероятных результатов, они были такими же новичками, как и сам народ. По правде говоря, только использование свободных институтов может научить государственного деятеля этой главной части его искусства.

Это можно легко увидеть в Мемуарах, адресованных Тюрго королю в 1775 году, в которых, среди прочего, он советовал его Величеству созывать представительное собрание, свободно избираемое всей нацией, собираться каждый год в течение шести недель по поводу его собственной персоны, но не наделять его действительными полномочиями. Его предложение состояло в том, что это собрание должно заниматься административными делами, но никогда правительством — должно вносить предложения, а не выражать волю — и, по сути, должно быть уполномочено обсуждать законы, но не принимать их. "Таким образом, - говорилось в

Мемуарах, - королевская власть была бы просвещена, но не подорвана, и общественное мнение было бы удовлетворено без опасности: поскольку у этих собраний не было бы полномочий противодействовать какой-либо необходимой операции; и если, что крайне маловероятно, они не согласились бы выполнить эту обязанность, его Величество по-прежнему был бы хозяином, делающим все, что ему заблагорассудится".

Невозможно было показать большее незнание истинного смысла такой меры и духа времени. Правда, часто случалось, что к концу революционного периода такое предложение, как предложение Тюрго, безнаказанно приводилось в исполнение и что была дарована тень свободы без учета реальности. Август провел эксперимент с успехом. Нация, утомленная длительной борьбой, может охотно согласиться быть обманутой, чтобы обрести покой; и история показывает, что тогда можно сделать достаточно для ее удовлетворения, собрав со всех концов страны определенное количество безвестных или зависимых лиц и заставив их играть перед ней роль политического собрания за получаемое ими жалованье. Было несколько примеров подобного рода. Но в начале революции такие эксперименты всегда терпят неудачу; они разжигают страсти, не удовлетворяя людей. Эта истина, известная самому скромному гражданину свободной страны, не была известна Тюрго, каким бы великим администратором он ни был.

Если теперь принять во внимание, что та же самая французская нация, столь невежественная в своих общественных делах, столь начисто лишенная опыта, столь стесненная своими институтами и столь бессильная внести в них изменения, также была в те дни самой образованной и остроумной нацией на земле, то можно легко понять, как писатели того времени стали великой политической силой и в конце концов стали первой силой в стране.

В Англии те, кто писал на тему управления, были связаны с теми, кто управлял; последние применяли новые идеи на практике — первые исправляли или контролировали свои теории путем практического наблюдения. Но во Франции политический мир оставался разделенным на две отдельные провинции, не имевшие никаких взаимных связей. Одна часть управляла, другая устанавливала абстрактные принципы, на которых должно было основываться всякое правительство. Здесь меры принимались в соответствии с рутиной; там выдвигались общие законы, даже не задумываясь о способах их применения. Они обеспечивали направление событий; те направляли интеллект нации.

Над действительным состоянием общества — устройством которого все еще было традиционным, запутанным и нерегулярным, и в котором законы оставались противоречивыми, ряды резко разделялись, условия жизни различных классов были неизменными, в то время как их бремя было неравным, — таким образом, возникало воображаемое состояние общества, в котором все казалось простым и согласованным, единообразным, справедливым и приемлемым для разума. Воображение людей постепенно покидало прежнее положение вещей, чтобы искать убежища во втором. Интерес к тому, что было, был утрачен, чтобы породить мечты о том, что могло бы быть; и люди, таким образом, жили в фантазиях в этом идеальном городе, который был произведением литературного вымысла.

Французскую революцию часто приписывают Американской. Американская революция, безусловно, оказала значительное влияние на французов; но последние были обязаны не столько тому, что фактически делалось в Соединенных Штатах, сколько тому, что думали в то же время во Франции. В то время как для остальной Европы Революция в Америке все еще

казалась новым и странным событием, во Франции она лишь сделала более ощутимым и поразительным то, что уже должно было быть известно. Другие страны это поразило; во Франции это вызвало более полное убеждение. Американцы, казалось, сделали не более чем то, что уже было задумано литературным гением Франции; они придали реальности то, что придумали французы. Это было так, как если бы Фенелон внезапно оказался в Салентуме.

Это обстоятельство, столь новое в истории, когда политическое образование великого народа формировалось его литераторами, возможно, больше всего на свете способствовало тому, что Французская революция приобрела особый отпечаток и привела к тем результатам, которые заметны до сих пор.

Писатели того времени не только делились своими идеями с людьми, совершившими Революцию, но и наделяли их особым темпераментом и предрасположенностью. Вся нация, после столь долгого обучения у них, в отсутствие всех других лидеров и в глубоком невежестве в практических делах в конце концов переняла инстинкты, склад ума, вкусы и даже настроение тех, кто писал; так что, когда пришло время действовать, она перенесла на политическую арену все литературные привычки.

Изучение истории Французской революции покажет, что она проводилась именно в том духе, который послужил причиной написания стольких абстрактных книг о правительстве. Было то же влечение к общим теориям, законченным системам законодательства и точной симметрии в законах — то же презрение к существующим фактам — та же опора на теорию — та же любовь к оригинальному, изобретательному и новаторскому в институтах — то же желание реконструировать всю конституцию сразу по правилам логики и по единому плану, а не пытаться вносить в нее поправки по частям. Зрелище было тревожным, ибо то, что является достоинством писателя, часто является недостатком государственного деятеля, и те же самые вещи, которые часто становились причиной написания великих книг, могут привести к великим революциям.

Даже политический язык того времени уловил что-то от тона, в котором говорили авторы: он был полон общих выражений, абстрактных терминов, высокопарных словечек и литературных оборотов. Этот стиль, которому способствовали политические страсти, которые он выражал, проник во все классы и с удивительной легкостью опустился даже до самых низов. Значительно раньше революции, эдиктов Людовика XVI. часто говорил о законе природы и правах человека; и я нашел примеры крестьян, которые в своих памятных записках называли своих соседей "согражданами", своего *интенданта* — "уважаемым магистратом", своего приходского священника — "служителем алтаря", а Бога — "Высшим Существом", и которые не хотели ничего, кроме правописания, чтобы стать очень равнодушными авторами.

Эти новые качества настолько прочно срослись со старыми чертами французского характера, что привычки, вытекающие только из этого исключительного воспитания, часто приписывались природному характеру французов. Утверждалось, что вкус или, скорее, страсть, которую французы проявляли в течение последних шестидесяти лет к общим идеям и громким словам в политических дискуссиях, возникла из некоей характеристики, свойственной французской расе, которую несколько педантично называли 'гением Франции', как будто эта мнимая характеристика могла внезапно проявиться в конце прошлого столетия после того, как оставалась скрытой на протяжении всей истории страны.

Удивительно, что французы сохранили привычки, которые они унаследовали от литературы, в то время как они почти полностью утратили свою древнюю любовь к самой литературе. В ходе моей собственной общественной жизни я часто удивлялся, видя, что люди, которые никогда не читали произведений восемнадцатого века или любого другого и которые испытывали большое презрение к авторам, тем не менее так верно сохраняют некоторые из основных недостатков, которые были проявлены литературным духом того времени еще до их рождения.

ГЛАВА XIV.

ПОКАЗЫВАЕТ, КАК БЕЗБОЖИЕ СТАЛО ОБЩЕЙ И ДОМИНИРУЮЩЕЙ СТРАСТЬЮ СРЕДИ ФРАНЦУЗОВ XVIII ВЕКА, И КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ЭТОТ ФАКТ ОКАЗАЛ НА ХАРАКТЕР РЕВОЛЮЦИИ.

Со времен великой революции шестнадцатого века, когда дух свободного исследования взялся решать, какие из различных традиций христианства ложны, а какие истинны, он никогда не переставал порождать определенные умы более любопытного или смелого склада, которые оспаривали или отвергали их все. Тот же самый дух, который во времена Лютера разом изгнал несколько миллионов католиков за пределы католицизма, продолжал в отдельных случаях вытеснять нескольких христиан за пределы самого христианства. За ересью последовало неверие.

В целом можно сказать, что в восемнадцатом веке христианство утратило на всем европейском континенте значительную часть своей власти; но в большинстве стран им скорее пренебрегали, чем яростно оспаривали, и даже те, кто отрекся от него, делали это с сожалением. Безбожие было распространено при дворе и среди умов того времени, но оно еще не проникло в сердца средних и низших классов. Это все еще был каприз некоторых ведущих интеллектуалов, а не мнение простонародья. 'Это предрассудок, широко распространенный по всей Германии, - сказал Мирабо в 1787 году, - что прусские провинции полны атеистов; тогда как, по правде говоря, хотя там и встречаются некоторые вольнодумцы, жители этих частей так же привязаны к религии, как и в самых суеверных странах, и даже там можно найти большое количество фанатиков'. К этому он добавил, что очень сожалеет о том, что Фридрих II. не санкционировал браки католического духовенства и, прежде всего, отказался оставить тех священников, которые вступали в брак, во владении доходом от их церковных должностей; 'мера, ' продолжил он, - которую мы осмелились бы счесть достойной великого человека'. Нигде, кроме Франции, безбожие не стало всеобщей страстью, пылкой, нетерпимой и угнетающей.

Там положение вещей было таким, какого никогда раньше не было. В другие времена установившиеся религии подвергались нападкам с применением насилия; но пыл, проявляемый против них, всегда перерастал в рвение, вдохновляемое новой верой. Даже у ложных и отвратительных религий древности не было ни многочисленных, ни страстных противников, пока христианство не пришло им на смену; до тех пор они тихо и бесшумно вымирали в сомнениях и безразличии — умирали, фактически, смертью религий, от старости. Но во Франции христианская религия подверглась нападкам с какой-то яростью, без каких-либо попыток заменить ее какой-либо другой верой. Несмотря на постоянные и яростные усилия

изгнать из души человека веру, которая наполняла ее, душа оставалась пустой. Огромное множество людей с рвением выполняло эту неблагодарную задачу. Это абсолютное недоверие в вопросах религии, которое так противоречит естественным инстинктам человека и приводит его душу в столь болезненное состояние, казалось привлекательным для масс. То, что до тех пор производило эффект лишь болезненной вялости, начало порождать фанатизм и дух пропаганды.

Появление нескольких великих писателей, склонных отрицать истины христианской религии, вряд ли может быть принято в качестве достаточного объяснения столь экстраординарного события. Ибо как, можно спросить, получилось, что все эти писатели, каждый из них, обратили свои таланты в этом направлении, а не в каком-либо другом? Почему среди них всех нельзя найти ни одного, кому взбрело бы в голову поддержать другую сторону? и, наконец, как получилось, что они обнаружили, что уши масс гораздо более открыты для того, чтобы слушать их, чем это делал кто-либо из их предшественников, а умы людей так склонны им верить? Усилия всех этих писателей, и прежде всего их успех, могут быть объяснены только причинами, совершенно присущими их времени и их стране. Дух Вольтера уже давно витал в мире, но сам Вольтер, по правде говоря, никогда не смог бы достичь своего господства, кроме как в восемнадцатом веке и во Франции.

Прежде всего следует признать, что Церковь во Франции была не более открыта для нападок, чем где бы то ни было. Напротив, коррупции и злоупотреблений, которым было позволено проникнуть в нее, там было меньше, чем в большинстве других католических стран. Церковь Франции была бесконечно более терпимой, чем когда-либо прежде и чем Церковь до сих пор была в других странах. Следовательно, особые причины этого явления следует искать не столько в состоянии самой религии, сколько в состоянии общества.

Для полного понимания этого факта не следует упускать из виду то, что было сказано в предыдущей главе, а именно, что весь дух политической оппозиции, возбужденный коррупцией правительства, не будучи в состоянии найти выход в общественных делах, нашел убежище в литературе, и что писатели того времени стали настоящими лидерами великой партии, которая стремилась свергнуть социальные и политические институты страны.

Поскольку это хорошо понято, вопрос меняется. Мы больше не спрашиваем, в чем ошибалась Церковь того времени как религиозный институт, но в какой степени она противостояла политической революции, которая была на носу, и чем это особенно раздражало писателей, которые были главными инициаторами этой революции.

Церковь в силу первых принципов своего церковного правления была враждебна принципам, которые они хотели установить в гражданском управлении. Церковь опиралась главным образом на традицию; они выражали глубокое презрение ко всем институтам, основанным на уважении к прошлому. Церковь признавала авторитет, стоящий выше индивидуального разума; они не апеллировали ни к чему, кроме этого разума. Церковь была основана на иерархии: они стремились к полному ниспровержению рангов. Чтобы прийти к общему пониманию, обеим сторонам было бы необходимо признать тот факт, что политическое общество и религиозное общество, будучи по своей природе существенно разными, не могут регулироваться аналогичными законами. Но в то время они были достаточно далеки от любого подобного вывода; и считалось, что для того, чтобы атаковать государственные институты, необходимо разрушить те церковные, которые служили их основой и образцом.

Более того, Церковь сама по себе была первой из политических сил того времени; и, хотя и не самой деспотичной, самой ненавистной; ибо она ухитрилась смешаться с этими силами, не имея никаких претензий на это положение ни по своей природе, ни по своему призванию; она часто одобряла в них те самые недостатки, которые обвиняла в других; она прикрывала их своей собственной священной неприкосновенностью и, казалось, желала сделать их такими же бессмертными, как и она сама. Атака на Церковь, несомненно, сразу же нашла отклик в сильных чувствах общественности.

Но, помимо этих общих причин, у французских литераторов были и более особые, так сказать, личные причины для нападков на Церковь в первую очередь. Церковь представляла именно ту часть правительства, которая была ближайшей и наиболее прямо противоположной им самим. Другие силы государства ощущались ими лишь время от времени; но церковная власть, специально занятая наблюдением за развитием мысли и цензурой книг, была для них ежедневной помехой. Защищая обычные свободы человеческого разума от Церкви, они боролись за свое собственное дело, и они начали с того, что разорвали оковы, которые теснее всего давили на них самих.

Более того, Церковь казалась им и на самом деле была самой открытой и хуже всего защищенной стороной всего огромного здания, которое они штурмовали. Ее сила уменьшалась в то же самое время, когда возрастала временная власть Короны. Побывав сначала начальницей светских властей, затем равной им, она снизошла до того, чтобы стать их клиенткой, и между ними установилась своего рода взаимность. Мирские власти предоставили Церкви свою материальную силу, в то время как Церковь предоставила им свой моральный авторитет; они заставили Церковь повиноваться, Церковь заставила уважать их — опасная смена обязанностей во времена приближающейся революции, и всегда невыгодная для власти, основанной не на принуждении, а на вере.

Хотя короли Франции все еще называли себя старшими сынами Церкви, они выполняли свои обязательства по отношению к ней крайне небрежно: они проявляли гораздо меньше рвения в ее защите, чем в защите своего собственного правительства. Они, правда, не допустили никакого прямого нападения на нее, но допустили, чтобы она была пронзена на расстоянии тысячей стрел.

Своего рода полуограничения, которые в то время были наложены на врагов Церкви, вместо того чтобы уменьшать их власть, увеличивали ее. Бывают случаи, когда ограничение, наложенное на литературу, успешно останавливает распространение мнений; бывают и такие, когда оно ускоряет их ход; но контроль, подобный тому, который тогда осуществлялся над прессой, неизменно увеличивает ее власть во сто крат.

Авторов преследовали достаточно сильно, чтобы вызвать сострадание, но не настолько, чтобы внушить им ужас. Они страдали от того рода раздражения, которое вызывает противодействие, а не от тяжелого ярма, которое давит. Направленные против них судебные преследования, которые почти всегда были медлительными, шумными и напрасными, по-видимому, были направлены не столько на то, чтобы помешать им писать, сколько на то, чтобы побудить их к выполнению этой задачи. Полная свобода прессы нанесла бы меньший ущерб Церкви.

‘Вы считаете нашу нетерпимость более благоприятной для прогресса разума, чем вашу неограниченную свободу’, - писал Дидро Дэвиду Юму в 1768 году. ‘Д’Гольбах, Гельвеций,

Мореле и Сьюард не разделяют вашего мнения. И все же прав был шотландец; у него был опыт свободной страны, в которой он жил. Дидро смотрел на этот вопрос как литератор, Юм — как политик.

Если бы первого американца, которого можно было бы случайно встретить в его собственной стране или за границей, остановили и спросили, считает ли он религию полезной для стабильности законов и благого порядка в обществе, он бы без колебаний ответил, что ни одно цивилизованное общество, но особенно ни одно общество в государстве свободы, не может существовать без религии. Уважение к религии, по его мнению, является величайшей гарантией стабильности государства и безопасности общества. Те, кто несведущ в науке управления, знают по крайней мере этот факт. И все же в мире нет страны, где самые смелые доктрины философов восемнадцатого века по политическим вопросам были приняты в большей степени, чем в Америке: одни только их антирелигиозные доктрины никогда не могли проложить там дорогу, даже с учетом неограниченной свободы печати.

То же самое можно сказать и об англичанах. [71] Им проповедовали французскую нерелигиозную философию еще до рождения большей части французских философов. Именно Болингброк подставил Вольтера. На протяжении восемнадцатого века неверность прославляла чемпионов в Англии. Способные писатели и глубокие мыслители поддерживали это дело, но им никогда не удавалось добиться его триумфа, как во Франции; поскольку все те, кому было чего бояться революций, с готовностью приходили на помощь установившейся вере. Даже те, кто был наиболее тесно связан с французским обществом того времени и кто не считал доктрины французской философии ложными, отвергали их как опасные. Крупные политические партии, как это всегда бывает в свободных странах, были заинтересованы в том, чтобы соединить свое дело с делом Церкви, и сам Болингброк стал союзником епископов. Духовенство, воодушевленное этими примерами и никогда не чувствовавшее себя покинутым, мужественно сражалось за свое собственное дело. Англиканская церковь, несмотря на недостатки своей конституции и всевозможные злоупотребления, которые царили в ней, победоносно выдержала потрясение. Писатели и ораторы выросли в нем и с жаром взялись за защиту христианства. Теории, враждебные этой религии, после обсуждения и опровержения были окончательно отвергнуты самим обществом и без какого-либо вмешательства со стороны правительства.

Однако нет необходимости искать примеры за пределами самой Франции. Какому французу в наше время пришлось бы в голову написать такие книги, как книги Дидро или Гельвеция? Кто стал бы их читать сейчас? и, можно сказать, кто вообще знает их названия? Несовершенного опыта общественной жизни, который Франция приобрела за последние шестьдесят лет, было достаточно, чтобы вызвать у французов отвращение к этой опасной литературе. Необходимо только увидеть, насколько уважение к религии постепенно восстановило свое господство среди различных классов нации, в зависимости от того, насколько каждый из них приобрел этот опыт в грубой школе революции. Старое дворянство, которое было самым нерелигиозным классом до 1789 года, стало самым ревностным после 1793 года: оно было первым зараженным и первым вылеченным. Когда буржуазия почувствовала себя побежденной в своем триумфе, она, в свою очередь, также начала постепенно возвращаться к религиозной вере. Мало-помалу уважение к религии проникло во все классы, в которых людям было что терять из-за народных

волнений; и неверие исчезло или, по крайней мере, все больше и больше скрывало свою голову по мере того, как рос страх перед революциями.

Но это ни в коем случае не имело места во времена, непосредственно предшествовавшие революции 1789 года. Французы настолько полностью утратили всякий практический опыт в великих делах человечества и были настолько глубоко неосведомлены о роли религии в управлении империями, что неверие впервые утвердилось в умах тех самых людей, которые были больше всего заинтересованы в поддержании порядка в государстве и послушания народа. Они не только сами приняли это, но в своей слепоте распространяли это среди себя. Они сделали нечестие развлечением своего пустого существования.

Французская церковь, столь плодovitая до того периода великими ораторами, когда она обнаружила, что ее покинули все те, кто должен был объединиться ради общих интересов на ее стороне, замолчала. Одно время казалось, что при условии сохранения своего богатства и положения в обществе она готова отречься от своей веры.

Поскольку те, кто отрицал истины христианства, говорили вслух, а те, кто все еще верил, хранили молчание, результатом стало положение вещей, которое с тех пор часто повторялось во Франции не только в вопросе религии, но и в самых разных вопросах. Те, кто все еще сохранял свою древнюю веру, боясь оказаться единственными людьми, которые все еще оставались ей верны, и больше боясь изоляции, чем ошибки, следовали за толпой, не разделяя ее мнения. Таким образом, то, что все еще было чувством лишь части нации, казалось мнением всех, и из самого этого факта казалось непреодолимым даже тем, кто сам придавал ему эту ложную видимость.

Всеобщая дискредитация, которой подверглись все формы религиозных верований в конце прошлого столетия, оказала, без всякого сомнения, величайшее влияние на всю Французскую революцию: она наложила отпечаток на ее характер. Ничто так не способствовало приданию его чертам того ужасного выражения, которое они носили.

Пытаясь провести различие между различными последствиями, которые безбожие в то время производило во Франции, можно увидеть, что оно склоняло людей того времени к таким странным излишествам скорее из-за смятения умов людей, чем из-за унижения их сердец или даже развращения их морали.

Когда религия таким образом покидала души людей, она не оставляла их, как это часто бывает, опустошенными и ослабленными. На какое-то время они были наполнены чувствами и идеями, которые занимали свое место, и поначалу это не позволяло им полностью пасть ниц.

Если французы, совершившие Революцию, были более недоверчивы в вопросах религии, чем современные, то, по крайней мере, у них была одна замечательная вера, которой нет у нынешнего поколения. Они верили в себя. Они никогда не сомневались в совершенстве и силе человека: они горели энтузиазмом ради его славы: они верили в его ценность. Они питали ту гордую уверенность в своих силах, которая так часто приводит к ошибкам, но без которой народ способен только на рабство: они никогда не сомневались в своем призвании изменить облик общества и возродить человеческую расу. Эти чувства и страсти стали для них чем-то вроде новой религии, которая, производя некоторые из тех великих эффектов, которые производят религии, удерживала их от индивидуального эгоизма, побуждала их даже к

самопожертвованию и героизму и часто делала их нечувствительными ко всем тем мелким целям, которые преследуют людей наших дней.

После глубокого изучения истории мы все же можем рискнуть утверждать, что никогда еще не было революции, в ходе которой в начале более искренний патриотизм, больше бескорыстия, больше истинного величия проявляло бы такое большое количество людей. Тогда нация проявила главный недостаток, но в то же время и главное украшение, которым обладает или, вернее, обладала молодежь, а именно неопытность и великодушие.

И все же безбожие привело к огромному общественному злу. В большинстве великих политических революций, которые до того периода происходили в мире, те, кто нападал на установленные законы, уважали вероисповедания страны; и в большей части религиозных революций те, кто нападал на религию, не пытались одним ударом изменить природу и порядок всех установленных властей и стереть с лица земли древнюю структуру правительства. В величайших потрясениях общества, по крайней мере, один пункт оставался непоколебимым.

Но во время Французской революции, когда религиозные законы были отменены одновременно с ниспровержением гражданских законов, умы людей были совершенно расстроены: они больше не знали, ни за что цепляться, ни где остановиться; и таким образом возникла доселе неизвестная порода революционеров, которые довели свою смелость до безумия, которых ничто не удивляло и не останавливало без зазрения совести, и которые без колебаний приводили в исполнение любой замысел. Также не следует предполагать, что эти новые существа были изолированным и эфемерным созданием мгновения и им суждено было исчезнуть вместе с этим мгновением. С тех пор они образовали расу существ, которая увековечила себя и распространилась по всем цивилизованным частям света, повсюду сохраняя ту же физиономию, те же страсти, тот же характер. Нынешнее поколение нашло это в мире при своем рождении: оно до сих пор остается перед нашими глазами.

ГЛАВА XV.

ЧТО ФРАНЦУЗЫ СТРЕМИЛИСЬ К РЕФОРМАМ, А НЕ К СВОБОДЕ.

Следует отметить, что среди всех идей и всех чувств, приведших к Французской революции, идея и вкус к политической свободе, собственно так называемые, проявились последними и исчезли первыми.

С некоторых пор древняя структура правительства начала расшатываться; она уже пошатнулась, но о свободе еще не думали. Даже Вольтер едва ли задумывался об этом; трехлетнее пребывание в Англии показало ему, что такое свобода, но не привязало его к ней. Скептическая философия, которая была тогда в моде в Англии, очаровала его; политические законы Англии едва ли привлекали его внимание; он был больше поражен их недостатками, чем достоинствами. В его письмах об Англии, которые являются одним из его лучших произведений, парламент почти не упоминается; дело в том, что он завидовал англичанам за их литературную свободу, не заботясь об их политической свободе, как будто первые могли когда-либо долго существовать без вторых.

К середине XVIII века начало появляться определенное число писателей, посвятивших себя главным образом вопросам государственного управления и получивших, вследствие нескольких общих принципов, общее название политических экономистов или *физиократов*. Эти экономисты оставили менее заметный след в истории, чем французские философы; возможно, они внесли меньший вклад в приближение революции; и все же я думаю, что истинный характер Революции лучше всего можно изучить по их работам. Французские философы ограничивались по большей части очень общими и очень абстрактными взглядами на государственное управление; экономисты, не отказываясь от теории, более внимательно следили за фактами. Первый говорил то, что можно было подумать; второй иногда указывал на то, что можно было бы сделать. Все учреждения, которые Революция собиралась уничтожить навсегда, были особыми объектами их нападок; ни одно из них не вызывало у них благосклонности. Напротив, все учреждения, которые можно рассматривать как продукт Революции, были заранее объявлены этими авторами-экономистами и горячо рекомендованы; едва ли найдется хоть одно из этих учреждений, зародыши которого не были бы обнаружены в некоторых их трудах; и можно сказать, что эти труды содержат все самое существенное в самой Революции.

Более того, их книги уже несли на себе печать того революционного и демократического настроения, которое мы так хорошо знаем: они дышали не только ненавистью к определенным привилегиям, но даже разнообразие было им ненавистно; они обожали равенство даже в рабстве. Все, что мешает их планам, должно быть сокрушено. Их мало волнует клятвенная вера, ничего не волнуют частные права — или, скорее, если говорить точно, частные права уже перестали в их глазах существовать — общественная польза - это все. И все же по большей части это были люди спокойной и миролюбивой жизни, достойные личности, честные судьи, способные администраторы; но особый дух выполняемой ими задачи вел их вперед.

Прошлое было для этих экономистов предметом бесконечного презрения. 'Эта нация веками управлялась на основе ложных принципов, - сказал Летронн. - Кажется, что все делалось наугад'. Отталкиваясь от этой идеи, они приступили к работе; ни один институт не был настолько древним или устоявшимся в истории Франции, чтобы они не колебались требовать его отмены с того момента, как это мешало им или нарушало симметрию их планов. Один из этих авторов предложил за сорок лет до того, как Учредительное собрание осуществило этот план, уничтожить сразу все древние территориальные деления королевства и изменить все названия провинций.

Они уже представляли себе все социальные и административные реформы, которые осуществила Революция, до того, как идея свободных институтов начала приходить им в голову. Они, действительно, были чрезвычайно благосклонны к свободному обмену продуктами и к доктрине невмешательства в торговлю и свободного пропуска, основе свободной торговли и свободного труда; но что касается политических свобод, собственно так называемых, то они не приходили им в голову, или, если, возможно, они и приходили в их воображение, такие идеи были сразу отвергнуты. Большинство из них начало проявлять значительную враждебность к совещательным собраниям, к местным или второстепенным властям и, в целом, ко всем ограничениям, которые были установлены в разное время во всех свободных нациях для уравнивания центральной власти правительства. 'Система проверок, ' сказал Кенэ, - это фатальная идея правительства'. "Спекуляции, на основе которых была разработана система проверок, являются химерическими", - сказал друг того же писателя.

Единственной гарантией, изобретенной ими против злоупотребления властью, было государственное образование; ибо, как замечает Кенэ в другом месте, "деспотизм невозможен, когда нация просвещена". 'Пораженные злом, проистекающим из злоупотреблений властью, - сказал другой из его учеников, - люди изобрели тысячи совершенно бесполезных средств сопротивления, в то время как они пренебрегли единственным средством, которое действительно эффективно, а именно публичным, всеобщим и постоянным обучением принципам сущностной справедливости и естественного порядка'. Эта литературная бессмыслица должна была, по мнению этих мыслителей, заменить все политические гарантии.

Летронн, который так горько сожалел о плачевном состоянии, в котором правительство оставило сельские районы, который описывал их как лишенные дорог, работы и безинформации, никогда не предполагал, что их заботы могли бы осуществляться более успешно, если бы управление ими было доверено самим жителям.

Сам Тюрго, заслуживающий того, чтобы его ставили намного выше всех остальных за возвышенность его характера и исключительные достоинства его гения, имел ненамного больше вкуса, чем другие экономисты, к политической свободе, или, по крайней мере, этот вкус пришел к нему позже, когда это было навязано ему общественным мнением. Для него, как и для всех остальных, главной политической гарантией безопасности, по-видимому, были определенные общественные инструкции, данные государством по определенной системе и с определенной тенденцией. Его вера в этот вид интеллектуального наркотика, или, как выразился один из его современников, 'в механизм образования, регулируемого принципами', была безграничной. 'Я осмеливаюсь заверить ваше величество, ' сказал он в докладе королю, предлагая план подобного рода, - что за десять лет ваш народ сильно изменится в знаниях; и что благодаря своим достижениям, своей морали и просвещенному рвению к службе вам и стране Франция поднимется намного выше всех других наций. Дети, которым сейчас исполнилось десять лет, вырастут мужчинами, подготовленными к государственной службе, привязанными к своей стране, покорными властям не из страха, а по разуму, гуманными по отношению к своим согражданам, привыкшими признавать и уважать отправление правосудия".

Политическая свобода во Франции была уничтожена так давно, что люди почти полностью забыли, каковы ее условия и последствия. Более того, бесформенные руины свободы, которые все еще оставались, и институты, которые, по-видимому, были созданы для того, чтобы заменить ее, сделали ее объектом подозрений и предубеждений. Большинство провинциальных собраний, которые все еще существовали, сохранили дух Средневековья, а также свои устаревшие формальности, и они скорее сдерживали, чем продвигали прогресс общества. Парламенты, которые одни заменяли политические органы, не имели власти предотвратить зло, которое творило правительство, и часто препятствовали добру, которое правительство пыталось сделать.

Осуществить революцию, которую они замыслили, с помощью всех этих устаревших инструментов школе экономистов казалось невыполнимым. Доверить выполнение своих планов нации, хозяйке самой себя, было для них не более приятно; ибо как было возможно заставить целый народ принять и следовать системе реформ, столь обширной и так тесно связанной во

всех ее частях? Им казалось более легким и правильным сделать административную власть самой короны инструментом своих замыслов.

Эта новая административная власть не возникла из институтов средневековья и не носила на себе отпечатка того периода; несмотря на ее ошибки, они обнаружили в ней некоторые полезные тенденции. Как и они сами, она, естественно, была сторонницей равенства условий и единообразия правил; так же, как и они сами, она искренне ненавидела все древние державы, порожденные феодализмом или тяготевшие к аристократии. Во всей Европе не существовало такой хорошо организованной, такой обширной и такой сильной правительственной машины. Найти такое правительство, готовое к их рукам, казалось им в высшей степени счастливым обстоятельством; они называли бы это провидением, если бы тогда, как и сейчас, было модно заставлять Провидение вмешиваться во всех случаях. "Положение Франции, - сказал Летронн, - бесконечно лучше, чем положение Англии, поскольку здесь могут быть проведены реформы, которые в одно мгновение изменят все положение страны; в то время как у англичан таким реформам всегда могут помешать политические партии".

Таким образом, смысл был не в том, чтобы уничтожить эту абсолютную власть, а в том, чтобы преобразовать ее. "Государство должно управлять в соответствии с правилами основного порядка, - сказал Мерсье де ла Ривьер, - и когда это так, оно должно быть всемогущим". 'Пусть государство досконально поймет свой долг, и тогда оно будет совершенно свободным'. От Кенэ до аббата Бодо все они были одного мнения. Они не только полагались на королевскую администрацию в реформировании социальных условий своего времени, но и частично позаимствовали у нее идею будущего правительства, которое они надеялись основать. Последнее было оформлено по образу и подобию первого.

Эти экономисты считали, что задача государства - не только командовать нацией, но и формировать ее определенным образом, формировать характер населения по определенной предвзятой модели, внушать уму такие мнения, а сердцу такие чувства, которые оно сочтет необходимыми. Фактически, они не устанавливали никаких ограничений ни на права государства, ни на то, к чему оно могло привести. Государство должно было не только реформировать людей, но и преобразовывать их — возможно, если оно захочет, создавать других! 'Государство может делать с людьми все, что ему заблагорассудится', - сказал Бодо. Это утверждение включает в себя все их теории.

Эта неограниченная социальная власть, которую представляли себе французские экономисты, была не только больше любой власти, которую они когда-либо видели, но и отличалась от любой другой власти своим происхождением и природой. Она не исходила непосредственно от Божества, она не опиралась на традицию; это была безличная сила; ее называли не Королем, а Государством; это было не наследство семьи, а продукт и представитель всех. Это давало им право подчинять право каждого человека воле остальных.

Та особая форма тирании, которая называется демократическим деспотизмом и которая была совершенно неизвестна средневековью, уже была знакома этим авторам. Никаких градаций в обществе, никаких различий классов, никаких фиксированных рангов — народ, состоящий из почти одинаковых и совершенно равных личностей, — эта сбита с толку масса признается единственным законным сувереном, но тщательно лишается всех способностей, которые могли бы позволить ей направлять или даже надзирать за своим собственным правительством. Над этой массой стоит единственный офицер, которому поручено делать все от ее имени, не

советуясь с ней. Контролировать этого офицера, общественное мнение, лишенное своих органов; арестовать его, революции, но никаких законов. В принципе, подчиненный агент; фактически, хозяин.

Поскольку о них еще нельзя было найти ничего, что соответствовало бы этому идеалу, они искали его в глубинах Азии. Я утверждаю, без преувеличения, что нет ни одного из этих писателей, который в некоторых своих произведениях не произнес бы выразительного панегирика Китаю. Это, по крайней мере, всегда можно найти в их книгах; и, поскольку Китай был все еще очень плохо известен, нет такой ерунды, которую они не написали бы об этой империи. Это глупое и варварское правительство, которое горстка европейцев может подавить, когда им заблагорассудится, казалось им самой совершенной моделью, которую могли бы скопировать все народы земли. Китай был для них тем, чем Англия, а впоследствии и Соединенные Штаты стали для всех французов. Они выразили свое волнение и восхищение видом страны, чей суверен, абсолютный, но непредубежденный, раз в год собственноручно проводит борозду в честь полезных искусств; где все государственные должности принимаются по конкурсу; где религией является философская система, а аристократией - литераторы.

Предполагается, что разрушительные теории, которые в наше время обозначаются именем *социализма*, имеют недавнее происхождение: это, опять же, ошибка; эти теории современны первой французской школе экономистов. В то время как они были полны решимости использовать задуманное ими всемогущее правительство для изменения формы общества, другие писатели ухватили в воображении ту же силу, чтобы подорвать его основы.

В "Кодексе природы" Морелли наряду с доктринами экономистов о всемогуществе и неограниченных правах государства можно найти несколько политических теорий, которые больше всего встревожили французскую нацию в эти позднейшие времена и которые, как предполагается, родились на наших глазах: общность благ, право на труд, абсолютное равенство условий, единообразие во всем, механическая регулярность во всех движениях индивидов, тирания, регулирующая каждое действие повседневной жизни, и полное поглощение личности каждого члена общества целым обществом. социальное тело.

‘Ничто в обществе не должно принадлежать кому-либо в исключительной собственности’, - гласит первая статья этого кодекса. ‘Собственность отвратительна, и всякий, кто попытается восстановить ее, будет пожизненно заключен под стражу как маньяк или враг человечества. Каждый гражданин должен содержаться и трудоустроен за государственный счет’, - говорится в статье II. ‘Все произведения должны храниться в государственных журналах, распространяться среди граждан и удовлетворять их повседневные потребности. Города будут возводиться по единому плану; все частные жилища или постройки будут одинаковыми; в пятилетнем возрасте всех детей будут забирать у родителей и воспитывать сообща за счет государства и единообразно”.

Такая книга могла быть написана вчера: ей сто лет. Она появилась в 1755 году, в то самое время, когда Кенэ основал свою школу. Настолько верно, что централизация и социализм - продукты одной и той же почвы; они относятся друг к другу, как привитое дерево к дикому побегу.

Из всех людей своего времени эти экономисты чувствовали бы себя как дома в наше время; их страсть к равенству настолько сильна, а вкус к свободе настолько сомнителен, что можно

подумать, что они наши современники. Читая речи и книги людей, участвовавших в революции 1789 года, мы внезапно переносимся в место и состояние общества, совершенно нам неизвестные; но при чтении книг этой школы экономистов может показаться, что мы жили с этими людьми и только что разговаривали с ними.

Примерно в 1750 году вся французская нация не была бы расположена требовать большей политической свободы, чем сами экономисты. Вкус и даже представление о свободе исчезли вместе с ее использованием. Нация желала реформ, а не прав; и если бы в то время на троне Франции находился государь с энергией и характером Фридриха Великого, я не сомневаюсь, что он осуществил бы в обществе и правительстве многие из великих перемен, к которым привела Революция, и это не только без потери короны, но и со значительным усилением своей власти. Говорят, что один из самых способных министров Людовика XV, г-н де Машо, уловил проблеск этой идеи и поделился ею со своим хозяином; но такие предприятия не являются результатом совета: чтобы быть способным выполнять их, человек должен быть способен их постичь.

Двадцать лет спустя положение вещей изменилось. Видение политической свободы посетило умы Франции и с каждым днем становилось все более привлекательным, о чем можно судить по множеству симптомов. В провинциях начало зарождаться желание снова управлять своими делами самостоятельно. Представление о том, что весь народ имеет право участвовать в управлении государством, распространилось само по себе и завладело общественностью. Возродились воспоминания о старых Генеральных штатах. Нация, которая ненавидела свою собственную историю, не вспоминала ни о какой другой ее части с удовольствием, кроме этой. Это свежее течение мнений увлекло самих экономистов и вынудило их обременить свою унитарную систему некоторыми свободными институтами.

Когда в 1771 году парламенты были уничтожены, та же самая общественность, которая так часто страдала от их предрассудков, была глубоко потрясена их падением. Казалось, вместе с ними пал последний барьер, который еще мог сдерживать произвол короны.

Это возражение удивляло и раздражало Вольтера. 'Почти все королевство находится в состоянии возбуждения и смятения, - писал он одному из своих друзей. - Брожение в провинциях столь же велико, как и в самом Париже. Тем не менее, этот указ, по-видимому, полон полезных реформ. Отменить продажу государственных должностей, сделать отправление правосудия бесплатным, воспрепятствовать тому, чтобы претенденты со всех концов королевства приезжали в Париж, чтобы разориться там, возложить на корону оплату расходов сеньориальных юрисдикций, — разве это не великие услуги, оказанные нации? Более того, разве эти парламенты не были часто варварами и преследователями? Я действительно поражен тем, какие отсталые люди встают на сторону этих наглых и индоциализированных граждан. Что касается меня, то я считаю, что король прав; и поскольку мы должны служить, я думаю, что лучше служить под началом льва, рожденного в хорошей семье и который по рождению намного сильнее меня, чем под началом двухсот крыс моего собственного положения'. И добавляет в качестве оправдания: "Помните, что я обязан высоко ценить милость, оказанную королем всем лордам мэноров, взяв на себя обязательство оплачивать расходы, связанные с их юрисдикцией".

Вольтер, который долгое время отсутствовал в Париже, воображал, что общественное мнение все еще остается там, где он его оставил. Но он ошибался. Французский народ больше не

ограничивался желанием, чтобы его дела велись лучше; он начал желать вести свои дела сам, и стало очевидно, что великая революция, которой все способствовало, будет осуществлена не только с согласия народа, но и его руками.

С этого момента я верю, что эта радикальная революция, которая должна была привести к всеобщему крушению все худшее и все лучшее в институтах и состоянии Франции, стала неизбежной. Народ, столь плохо подготовленный к самостоятельным действиям, не смог бы провести всеобщую и одновременную реформу без всеобщего разрушения. Абсолютный суверен был бы менее опасным новатором. Что касается меня, то, когда я размышляю о том, что та же самая Революция, которая уничтожила так много институтов, мнений и привычек, враждебных свободе, также уничтожила так много того, без чего свобода вряд ли может существовать, я склоняюсь к убеждению, что, если бы она была совершена деспотом, возможно, французская нация была бы менее неспособна однажды стать свободным народом, чем совершенная суверенитетом народа и самими людьми.

То, что здесь было сказано, никогда не должно упускаться из виду теми, кто хочет понять историю Французской революции.

Когда любовь французов к политической свободе пробудилась, у них уже сложился определенный ряд представлений о вопросах управления, которые не только не вязались с существованием свободных институтов, но и почти противоречили им.

Они приняли в качестве идеала общества народ, не имеющий аристократии, кроме своих государственных служащих, единую и всемогущую администрацию, направляющую государственные дела, защищающую дела частных лиц. Имея в виду быть свободными, они ни в коем случае не имели в виду отклоняться от этой первой концепции: они только пытались примирить ее с концепцией свободы.

Поэтому они обязались сочетать неограниченную административную централизацию с преобладающим законодательным органом — управлением бюрократией с правительством избирателей. Нация в целом обладала всеми правами суверенитета; каждый гражданин, взятый в отдельности, был поставлен в строжайшую зависимость; от первого ожидали, что он проявит опыт и добродетели свободного народа, а от второго — качества верного слуги.

Это желание ввести политическую свободу среди институтов и мнений, по существу чуждых или враждебных ей, но которые уже вошли в привычку или были одобрены вкусом самих французов, является главной причиной неудачных попыток свободного правления, которые сменяли друг друга во Франции более шестидесяти лет; и за которыми последовали такие катастрофические революции, что, утомленные столькими усилиями, испытывающие отвращение к такой трудоемкой и бесплодной работе, отказываясь от своих вторых намерений ради своей первоначальной цели, многие французы пришли к выводу, что жить на равных подчинение мастеру, в конце концов, не лишено некоторого очарования. Таким образом, французы наших дней бесконечно больше похожи на экономистов 1750 года, чем на своих отцов в 1789 году.

Я часто спрашивал себя, в чем источник той страсти к политической свободе, которая во все века была плодотворной матерью величайших достижений человечества, и в каких чувствах эта страсть пускает корни и находит свою подпитку.

Очевидно, что когда нациями плохо управляют, они вскоре зарождают желание управлять сами; но эта любовь к независимости, которая возникает только под влиянием определенных преходящих зол, порождаемых деспотизмом, никогда не бывает длительной: она проходит вместе со случайностью, породившей ее; и то, что казалось любовью к свободе, было не более чем ненавистью к хозяину. То, что народы сделали свободными, на самом деле ненавидят, - это проклятие зависимости.

Я также не верю, что истинная любовь к свободе когда-либо рождается из одного лишь аспекта ее материальных преимуществ; ибо этот аспект часто оказывается затуманенным. Совершенно верно, что в долгосрочной перспективе свобода всегда приносит тем, кто знает, как ее сохранить, легкость, комфорт и часто богатство; но бывают моменты, когда она на какое-то время мешает обладанию этими благами; бывают и такие моменты, когда только деспотизм может даровать эфемерное наслаждение ими. Люди, которые ценят свободу только за такие вещи, как эти, - это не те люди, которые когда-либо надолго сохраняли ее.

То, что во все времена так сильно привязывало некоторых людей, — это привлекательность самой свободы, ее врожденное очарование, независимое от ее дарований, - удовольствие говорить, действовать и дышать без ограничений, не подчиняясь никакому хозяину, кроме Бога и закона. Тот, кто ищет в свободе чего-либо, кроме нее самой, пригоден только для служения.

Есть народы, которые неумоимо преследовали ее, невзирая на всевозможные опасности и лишения. Они любили ее не за ее материальные дары; они считали ее такой драгоценной и необходимой, что никто другой не мог утешить их в потере того, что утешает их в потере всего остального. Другие устают от свободы посреди своего процветания; они позволяют без сопротивления вырвать ее из их рук, чтобы не пожертвовать усилием тем благополучием, которое она им даровала. Чтобы они оставались свободными, не требовалось ничего, кроме вкуса к свободе. Я не пытаюсь анализировать это возвышенное чувство для тех, кто его не испытывает. Оно само по себе проникает в большие сердца, которые Бог приготовил к его приему; оно наполняет их, оно приводит их в восторг; но для более скромных умов, которые никогда этого не чувствовали, это недоступно.

ГЛАВА XVI.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XVI. БЫЛО САМОЙ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ЭПОХОЙ СТАРОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ МОНАРХИИ, И КАК САМО ЭТО ПРОЦВЕТАНИЕ УСКОРИЛО РЕВОЛЮЦИЮ.

Не подлежит сомнению, что истощение королевства при Людовике XIV. началось задолго до неудач этого монарха. Первые признаки этого можно заметить в самые славные годы его правления. Франция была разрушена задолго до того, как перестала завоевывать. Вобан оставил после себя тревожное эссе об административной статистике своего времени. Интенданты провинций в отчетах, адресованных ими герцогу Бургундскому в конце семнадцатого века, еще до начала катастрофической войны за испанское наследство, все упоминали о постепенном упадке нации, и они говорят об этом не как о недавнем событии: 'Население этого округа значительно уменьшилось', - говорит один из них. 'Этот город, некогда

такой богатый и процветающий, теперь остался без работы", - говорит другой. Или еще: 'В этой провинции были мануфактуры, но сейчас они заброшены'; или: 'Раньше фермеры извлекали из земли гораздо больше, чем сейчас; двадцать лет назад сельское хозяйство было в гораздо лучшем состоянии'. 'Население и производство сократились примерно на одну пятую за последние тридцать лет', - сказал в тот же период один орлеанский интендант. Прочтение этих отчетов может быть рекомендовано тем лицам, которые благосклонны к абсолютному правлению, и тем князьям, которые любят войну.

Поскольку главным источником этих трудностей были пороки конституции, смерть Людовика XIV и даже восстановление мира не восстановили процветания нации. Общим мнением всех, кто писал об искусстве управления или о социальной экономике в первой половине восемнадцатого века, было то, что провинции не восстанавливались сами по себе; многие даже думали, что их разорение прогрессирует. По их словам, только Париж растет в богатстве и размерах. Интенданты, бывшие министры и бизнесмены придерживались того же мнения по этому вопросу, что и литераторы.

Что касается меня, то я признаюсь, что не верю в этот непрерывный упадок Франции на протяжении первой половины восемнадцатого века; но мнение, столь широко распространенное среди столь хорошо информированных людей, доказывает, по крайней мере, что в то время страна не добивалась видимого прогресса. Все административные документы, связанные с этим периодом истории Франции, которые попали в поле моего зрения, действительно свидетельствуют о своего рода летаргии в обществе. Правительство продолжало вращаться по орбите рутины, не изобретая ничего нового; города почти не предпринимали попыток сделать условия жизни своих жителей более комфортными или более здоровыми; даже в частной жизни не было начато ни одного значительного предприятия.

Примерно за тридцать или сорок лет до того, как разразилась Революция, обстановка начала меняться. Казалось, что некое внутреннее возмущение, ранее не замечавшееся, пробежало по социальным рамкам. Сначала никто, кроме самого внимательного глаза, не мог различить его, но постепенно это движение становилось все более характерным и отчетливым. Год за годом это набирало силу и размах; нация приходит в движение и, кажется, вот-вот снова восстанет. Но будьте осторожны! Не старая жизнь Франции оживляет ее. Дыхание новой жизни наполняет могучее тело, но наполняет его только для того, чтобы завершить его разложение. Беспокойные и возбужденные в своем собственном положении, все классы стремятся к чему-то другому; улучшить это состояние - всеобщее желание, но это желание настолько лихорадочное и своевольное, что заставляет людей проклинать прошлое и представлять себе состояние общества, совершенно противоположное тому, которое им предстоит.

И прошло совсем немного времени, прежде чем тот же дух проник в самое сердце правительства. Таким образом, правительство было внутренне преобразовано без каких-либо внешних изменений; законы королевства остались неизменными, но применялись по-другому.

Я уже где-то отмечал, что генерал-контролеры и интенданты 1760 года не имели никакого сходства с теми же офицерами 1780 года. Переписка государственных учреждений подробно демонстрирует этот факт. И все же интендант 1780 года имел те же полномочия, тех же агентов, ту же произвольную власть, что и его предшественник, но не те же цели; единственной заботой

первого было поддерживать свою провинцию в состоянии повиновения, набирать ополчение, прежде всего собирать налоги; у второго совсем другие взгляды, его голова полна тысяч планов увеличения богатства нации. Дороги, каналы, мануфактуры, торговля - вот главные объекты его мыслей; в особенности его внимание привлекает сельское хозяйство. Салли вошло в моду среди администраторов того времени.

Именно тогда они начали создавать сельскохозяйственные общества, о которых я уже упоминал; они организовывали выставки, они раздавали призы. Некоторые циркуляры Генерального контролера были больше похожи на трактаты по животноводству, чем на официальную переписку.

В области сбора всех налогов перемена, произошедшая в сознании руководящего органа, была особенно заметна. Существующий закон по-прежнему был несправедливым, произвольным и суровым, каким он был долгое время, но все его недостатки были смягчены при его применении.

"Когда я начал изучать наши налоговые законы", - говорит М. Моллиен, [72] в своих мемуарах, - "Я был в ужасе от того, что я там обнаружил: штрафы, тюремное заключение, телесные наказания предоставлялись в распоряжение судов исключительной юрисдикции за простую оплошность; клерки налоговых управлений имели в своей власти почти все имущество и лиц, зависящих от усмотрения суда". их клятвы. К счастью, я не ограничился простым прочтением этого кодекса, и вскоре мне представился случай убедиться, что между текстом закона и его применением существует такая же разница, как между манерами старой и новой расы финансистов".

"Сбор налогов, несомненно, может привести к бесконечным злоупотреблениям и неприятностям, - заявило Провинциальное собрание Нижней Нормандии в 1787 году. - Однако мы должны отдать должное мягкости и осмотрительности, с которыми эти полномочия осуществлялись в течение нескольких последних лет".

Изучение публичных архивов полностью подтверждает это утверждение. Они часто проявляют подлинное уважение к жизни и свободе человека, и особенно искреннее сочувствие к страданиям бедных, которых раньше искали бы напрасно. Акты насилия, совершаемые налоговыми служащими по отношению к беднякам, стали редкостью; налоговые льготы стали более частыми, а льготы - более обильными. Король увеличил все средства, предназначенные для создания благотворительных мастерских в сельских округах или для помощи неимущим, и часто основывал новые. Таким образом, более 80 000 ливров были распределены государством таким образом только в округе Верхняя Гиенна в 1779 году; 40 000 в 1784 году в округе Тур; 48 000 в округе Нормандия в 1787 году. Louis XVI. эту часть государственных обязанностей он возлагал не только на своих министров; иногда он брал их на себя. Когда в 1776 году королевским эдиктом была установлена компенсация, причитающаяся крестьянам, чьи поля были опустошены королевской игрой по соседству с королевскими резиденциями, и установлен простой и надежный метод принуждения к ее выплате, король сам составил преамбулу указа. Тюрго рассказывает, что этот добродетельный и несчастный принц вручил ему бумагу со следующими словами: "Вы видите, что я тоже был за работой". Если бы мы захотели изобразить правительство старой французской монархии таким, каким оно было в последние годы ее существования, образ был бы слишком лестным и слишком непохожим на реальность.

По мере того как эти изменения происходили в умах правящего класса и управляемых, процветание нации росло с доселе невиданной скоростью. Об этом свидетельствовали многочисленные симптомы: население в значительной степени увеличилось; богатство страны увеличилось еще в большей степени. Американская война не остановила это движение; государство было смущено этим, но общество продолжало обогащаться, становясь более трудолюбивым, более предприимчивым, более изобретательным.

‘С 1774 года,’ говорит один из членов администрации того времени, ‘различные виды промышленности своим расширением расширили область налогообложения всех товаров. ‘Если мы сравним условия соглашения, заключенного в разные периоды правления Людовика XVI между государством и финансовыми компаниями, которые обрабатывали государственные доходы, то обнаружится, что при каждом возобновлении размер платежей повышался со все возрастающей скоростью. Ферма 1786 года производила на четырнадцать миллионов больше, чем в 1780 году. "Можно считать, что доход от уплаты пошлин на потребление увеличивается со скоростью двух миллионов в год", - сказал Неккер в своем отчете за 1781 год.

Артур Янг заявил, что в 1788 году Бордо вел более крупную торговлю, чем Ливерпуль. Он добавляет: "В последнее время развитие морской торговли во Франции шло более быстрыми темпами, чем в Англии; за последние двадцать лет торговля там удвоилась".

Принимая во внимание разницу во времени, о которой мы говорим, можно установить, что ни в один из периодов, последовавших за революцией 1789 года, национальное процветание Франции не возрастало так быстро, как за двадцать лет, предшествовавших этому событию. [73] Тридцатисемилетний период конституционной монархии Франции, который был временем мира и прогресса, в этом отношении можно сравнить только с правлением Людовика XVI.

Аспект этого процветания, уже столь значительного и так быстро растущего, вполне может вызвать удивление, если мы подумаем обо всех недостатках, которые все еще имелись у правительства Франции, и обо всех ограничениях, с которыми промышленности страны все еще приходилось бороться. Возможно, найдутся политики, которые, будучи не в состоянии объяснить этот факт, отрицают его, придерживаясь мнения врача Мольера о том, что пациент не может выздороветь вопреки правилам искусства. Как мы можем поверить, что Франция процветала и богатела при неравном налогообложении, при разнообразии обычного права, при внутренних таможах, при феодальных правах, при гильдиях, при приобретаемых должностях и т. Д.? Несмотря на все это, Франция начинала богатеть и расширяться во все стороны, потому что во всем этом неуклюжем и плохо регулируемом механизме, который, казалось, был рассчитан скорее на сдерживание, чем на приведение в движение общественного двигателя, были скрыты две простые и мощные пружины, которых уже было достаточно, чтобы сохранять целостность структуры и двигать ее в направлении общественного процветания: правительство, которое все еще было достаточно могущественным, чтобы поддерживать порядок во всем королевстве, хотя оно и перестало быть деспотическим; нация, которая в своих высших классах уже была самой просвещенной и самой свободной на континенте Европы. Европа, в которой каждый человек мог обогатиться по-своему и сохранить состояние, которое он когда-то приобрел.

Король по-прежнему говорил языком деспотичного правителя, но на самом деле он сам подчинялся тому общественному мнению, которое вдохновляло или влияло на него изо дня в день, и с которым он постоянно советовался, льстил, боялся; абсолютному в соответствии с

буквой законов, ограниченному в их применении. Еще в 1784 году Неккер заявил в публичном документе как вещь, не подлежащую оспариванию: "Большинство иностранцев неспособны составить представление о власти, которой общественное мнение пользуется сейчас во Франции; они с трудом могут понять, что это за невидимая сила, которая заставляет повиноваться себе даже в королевском дворце; и все же это факт".

Нет ничего более поверхностного, чем приписывать величие и могущество народа исключительно механизму его законов; ибо в этом отношении результат достигается не столько совершенством двигателя, сколько величиной движущей силы. Взгляните на Англию, административные законы которой и по сей день кажутся гораздо более сложными, более аномальными, более нерегулярными, чем во Франции! [74] Однако есть ли в Европе страна, где национальное богатство больше, где частная собственность более обширна, разнообразна и безопасна или где общество более стабильно и богато? Это вызвано не превосходством каких-либо законов в частности, а духом, который пронизывает все законодательство Англии. Несовершенство определенных органов ничего не значит, потому что все в целом пропитано жизнью.

По мере того как процветание, которое я только что описал, начало распространяться во Франции, общество, тем не менее, становилось все более неустроенным и беспокойным; общественное недовольство росло; ненависть ко всем установленным институтам возрастала. Нация явно продвигалась к революции.

Более того, те части Франции, которым предстояло стать главными центрами этой революции, были именно теми частями территории, где работа по благоустройству была наиболее заметна. Изучение того, что осталось от архивов древней границы Иль-де-Франса, легко показывает, что злоупотребления монархии были быстрее и эффективнее всего исправлены в непосредственной близости от Парижа. [75] Там свобода и собственность крестьян были уже лучше защищены, чем при любом другом из так называемых *выборов с оплатой труда*. Личная принудительная служба исчезла задолго до 1789 года. *Налог* взимался с большей регулярностью, умеренностью и справедливостью, чем в любой другой части Франции. Постановление, принятое в 1772 году об уменьшении этого налога в этом округе, является ярким доказательством того, что интендант мог бы сделать на благо или во вред целой провинции. Как видно из этого документа, аспект налогообложения уже был изменен. Правительственные уполномоченные должны были ежегодно посещать каждый приход; община должна была собираться перед ними; стоимость облагаемого налогом имущества должна была устанавливаться публично, а ресурсы каждого налогоплательщика должны были определяться в его присутствии; короче говоря, *плата* была определена с согласия всех тех, кто должен был ее платить. Произволу деревенского синдика, невыгодному насилию фискальных чиновников пришел конец. *Тайный сбор*, несомненно, сохранял свои врожденные недостатки при любой системе взимания налогов: он касался только одного класса налогоплательщиков и ложился таким же тяжелым бременем на промышленность, как и на собственность; но во всех других отношениях он сильно отличался от того, который все еще носил то же название в соседних частях территории.

Напротив, нигде институты всей монархии не претерпели таких изменений, как на берегах Луары, близ устьев этой реки, в болотах Пуату и вересковых пустошах Бретани. И все же именно там был разожжен и поддерживался огонь гражданской войны, и революции было оказано

самое ожесточенное и продолжительное сопротивление; так что можно сказать, что французы находили свое положение тем более невыносимым, чем лучше оно становилось. Каким бы удивительным ни был этот факт, история полна подобных противоречий.

Не всегда страна впадает в революцию, переходя от плохого к худшему. Чаще всего случается так, что народ, который безропотно поддерживал самые суровые законы и, по-видимому, не испытывал их на себе, с насилием отвергает их, как только бремя начинает уменьшаться. Положение вещей, разрушенное революцией, почти всегда несколько лучше того, которое непосредственно предшествовало ей; и опыт показывает, что самым опасным моментом для плохого правительства обычно является тот, когда оно приступает к работе по реформированию. Ничто, кроме великого политического гения, не может спасти государя, который берется освободить своих подданных после длительного периода угнетения. Бедствия, которые терпеливо переносились до тех пор, пока они были неизбежны, кажутся невыносимыми, как только появляется надежда избежать их. Устраненные злоупотребления, по-видимому, обнажают те, которые остаются, и делают ощущение их более острым; зло уменьшилось, это правда, но восприятие зла стало более острым. Феодализм во всей своей силе не внушал французам такого отвращения, как накануне своего исчезновения. Малейший произвол Людовика XVI казался более невыносимым, чем весь деспотизм Людовика XIV. [76] Краткое задержание Бомарше вызвало в Париже больший ажиотаж, чем Драгоннады.

В 1780 году никто уже не утверждал, что Франция находится в состоянии упадка; казалось, напротив, именно тогда ее прогрессу не было границ. Тогда-то и зародилась теория о постоянном и неопределенном совершенствовании человека. Двадцать лет назад нечего было надеяться на будущее: тогда нечего было бояться. Воображение, ухватившееся за это почти неслыханное счастье, заставляло людей не замечать преимуществ, которыми они уже обладали, и торопило их вперед, к чему-то новому.

Независимо от этих общих причин, существовали и другие причины этого явления, которые были более своеобразными и не менее мощными. Хотя финансовое управление улучшилось во всем остальном, в нем все еще сохранились пороки, которые присущи абсолютному правительству. Поскольку финансовый департамент был секретным и неконтролируемым, многие из худших практик, которые преобладали при Людовике XIV. и Людовике XV. , все еще соблюдались. Сами усилия, которые правительство прилагало для увеличения общественного благосостояния, — помощь и награды, которые оно распределяло, — общественные работы, которые оно заставляло выполнять, — постоянно увеличивали расходы, не увеличивая доходы в той же пропорции; следовательно, король постоянно попадал в более затруднительные положения, чем его предшественники. Как и они, он не платил своим кредиторам; как и они, он брал займы по всем направлениям, но без огласки и без конкуренции, и кредиторы короны никогда не были уверены в получении своих процентов; даже их капитал всегда находился во власти суверена.

Свидетель, заслуживающий доверия, поскольку он видел все это собственными глазами и был лучше, чем кто-либо другой, подготовлен к тому, чтобы хорошо это видеть, замечает по этому поводу: "Французы не подвергались ничему, кроме риска, в своих отношениях с собственным правительством. Если они помещали свой капитал в государственные запасы, они никогда не могли с уверенностью рассчитывать на выплату процентов в определенный день; если они строили корабли, ремонтировали дороги, одевали армию, им нечем было покрыть свой аванс и

не было уверенности в возврате, так что они были вынуждены рассчитывать шансы на получение государственного контракта, как если бы это был заем на условиях предельного риска.' И тот же человек очень рассудительно добавляет: "В то время, когда быстрый рост промышленности развил у большего числа людей любовь к собственности, вкус и стремление к комфорту, те, кто доверил часть своего имущества государству, были более нетерпеливы к нарушению договора со стороны того кредитора, который был особенно обязан выполнять свои обязательства".

Злоупотребления, которые здесь вменяются французской администрации, вовсе не были новыми; новым было впечатление, которое они производили. Пороки финансовой системы даже в прежние времена были гораздо более вопиющими; но в правительстве и обществе произошли изменения, которые сделали их бесконечно более заметными, чем они были раньше.

Правительство, ставшее более активным за последние двадцать лет и взявшееся за все виды деятельности, о которых оно никогда раньше не задумывалось, наконец-то стало крупнейшим потребителем продукции промышленности и крупнейшим подрядчиком общественных работ в королевстве. Число лиц, имевших денежные отношения с государством, заинтересованных в государственных займах, живущих на государственную зарплату или спекулирующих государственными контрактами, чрезвычайно возросло. Никогда прежде судьбы нации и частных лиц не были так сильно переплетены. Неправильное управление государственными финансами, которое долгое время было не более чем общественным злом, таким образом, стало для множества семей частным бедствием. В 1789 году государство задолжало почти 600 миллионов франков кредиторам, которые почти все сами были в долгу и которые своим собственным недовольством правительством прививали всем тем, кого нерегулярность государственной казны заставляла участвовать в их затруднениях. И следует заметить, что по мере того, как недовольных из этого класса становилось все больше, они также становились все более раздраженными; ибо любовь к спекуляции, жажда богатства, вкус к комфорту росли и расширялись пропорционально объему проводимых деловых операций, и те же бедствия, которые они могли бы переносить тридцать лет назад без жалоб, теперь казались совершенно невыносимыми.

Отсюда вытекало, что держатели фондов, торговцы, фабриканты и другие лица, занятые бизнесом или денежными делами, которые обычно образуют класс, наиболее враждебный политическим нововведениям, наиболее дружелюбный к существующим правительствам, какими бы они ни были, и наиболее покорный законам, даже когда они их презирают и отвращаются от них, были в данном случае классом, наиболее стремящимся и решительным к реформам. Они громко требовали полной революции во всей финансовой системе, не задумываясь о том, что прикосновение к этой части правительства означало бы падение всех остальных частей.

Как можно было предотвратить такую катастрофу? С одной стороны, нация, в которой желание разбогатеть росло с каждым днем, — с другой, правительство, которое непрестанно возбуждало эту страсть, которая волновала, распаляла и разоряла нацию, ведя любым путем к собственной гибели.

ГЛАВА XVII.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО ФРАНЦУЗСКИЙ НАРОД БЫЛ ВОЗБУЖДЕН К ВОССТАНИЮ СРЕДСТВАМИ, ПРИНЯТЫМИ ДЛЯ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ.

Поскольку простые люди Франции ни на минуту не появлялись на театре общественных действий более ста сорока лет, никто больше не представлял, что они когда-нибудь смогут снова занять свое положение. Они казались без сознания, и поэтому считались глухими; соответственно, те, кто начал интересоваться их состоянием, говорили о них в их присутствии так, как будто их там не было. Казалось, что эти замечания могли быть услышаны только теми, кто стоял выше простых людей, и что единственная опасность, которой следовало опасаться, заключалась в том, что они могли быть не до конца поняты высшими классами.

Те самые люди, которым больше всего следовало опасаться народного гнева, громко заявляли в их присутствии о жестокой несправедливости, от которой всегда страдал народ. Они указывали друг другу на чудовищные пороки тех институтов, которые наиболее тяжким бременем ложились на низшие слои общества: они использовали все свои способности к риторике, изображая страдания простых людей и их плохо оплачиваемый труд; и таким образом они приводили в ярость, пытаясь облегчить их положение. Я говорю не о писателях, а о правительстве, о его главных агентах и о тех, кто принадлежит к самому привилегированному классу.

Когда король за тринадцать лет до революции попытался отменить использование принудительного труда, он сказал в преамбуле к этому указу: "За исключением небольшого числа провинций (*государственных округов*), почти все дороги по всему королевству были проложены безвозмездным трудом беднейшей части наших подданных. Таким образом, все бремя легло на тех, у кого нет ничего, кроме своих рук, и кто лишь во второстепенной степени заинтересован в существовании дорог; те, кто действительно заинтересован, - это землевладельцы, почти все привилегированные лица, стоимость поместий которых увеличивается за счет строительства дорог. Вынуждая бедных содержать их без посторонней помощи и заставляя их отдавать свое время и труд безвозмездно, они лишаются своего единственного ресурса против нужды и голода, потому что их заставляют трудиться ради прибыли богатых".

Когда в тот же период была предпринята попытка отменить ограничения, которые система торговых компаний или гильдий налагала на ремесленников, от имени короля было провозглашено, 'что право на труд является самым священным из всех достояний; что любой закон, которым оно нарушается, нарушает естественные права человека и сам по себе недействителен; что существующие корпорации, более того, являются гротескными и тираническими институтами, результатом эгоизма, алчности и насилия'. Подобные слова, без сомнения, были опасны, но, что было бесконечно более опасно, так это то, что они были произнесены напрасно. Несколько месяцев спустя корпорации и система обязательного труда были снова созданы.

Говорят, что Тюргот был министром, вложившим этот язык в уста короля, но большинство преемников Тюргота не заставляли его придерживаться другого. Когда в 1780 году король

объявил своим подданным, что увеличение *подати* в будущем будет подлежать государственной регистрации, он позаботился добавить в качестве комментария: "Те лица, на которых распространяется *подати*, помимо того, что их беспокоят неприятности, связанные с ее сбором, также до сих пор подвергались неожиданному увеличению налога, так что взносы, выплачиваемые беднейшей частью наших подданных, увеличились в гораздо большей пропорции, чем взносы, выплачиваемые всеми остальными". Когда король, еще не решаясь распределить все общественные тяготы поровну, попытался, по крайней мере, установить равные налоги в тех, которые уже были возложены на средний класс, он сказал: "Его Величество надеется, что богатые люди не будут считать себя ущемленными из-за того, что их поставили на общий уровень и заставили нести свою часть бремени, которое они давно должны были разделить более равномерно".

Но прежде всего в периоды дефицита не оставалось неиспытанным ничего, что могло бы разжечь страсти людей гораздо сильнее, чем удовлетворение их потребностей. Чтобы стимулировать благотворительность богатых, один интендант говорил о 'несправедливости и бесчувственности тех землевладельцев, которые всем, что у них есть, обязаны трудам бедных и которые позволяют им умирать с голоду в тот самый момент, когда они трудятся над увеличением доходов от земельной собственности'. Король тоже так выразился по аналогичному поводу: 'Его Величество полон решимости защитить народ от маневров, которые ставят его в затруднительное положение из-за нехватки самых необходимых продуктов питания, заставляя его отдавать свой труд за любую цену, которую выберут богатые. Король не допустит, чтобы одна часть его подданных была принесена в жертву алчности другой.

До самого конца монархии раздоры, существовавшие между различными административными властями, давали повод для всевозможных демонстраций подобного рода; противоборствующие стороны охотно приписывали друг другу страдания народа. Ярким примером этого стала ссора, возникшая в 1772 году между парламентом Тулузы и королем по поводу перевозки зерна. 'Правительство своими плохими мерами подвергает бедных опасности умереть с голоду', - заявил парламент. 'Амбиции парламента и алчность богатых являются причиной всеобщего бедствия', - возразил король. Таким образом, обе стороны пытались внушить простым людям веру в то, что в их страданиях всегда виноваты их начальники.

Все это содержится не в секретной переписке того времени, а в публичных документах, которые правительство и парламенты сами позаботились напечатать и опубликовать тысячами экземпляров. Король случайно воспользовался случаем, чтобы сказать очень суровую правду как своим предшественникам, так и самому себе. 'Сокровищница государства,' сказал он однажды, 'была обременена щедрыми расходами нескольких последовательных царствований. Многие из наших неотъемлемых владений были предоставлены в аренду по номинальной арендной плате'. В другом случае его заставили сказать, скорее правдиво, чем осмотрительно: "Привилегированные торговые компании в основном обязаны своим возникновением финансовой алчности короны". Далее он заметил, что "если часто возникали бесполезные расходы и если *доходы* увеличивались сверх всяких пределов, то это происходило потому, что Финансовый совет счел увеличение *доходов* самым простым ресурсом, поскольку он был тайным и поэтому использовался, хотя многие другие меры были бы менее обременительными для нашего народа". [77]

Все это было адресовано просвещенной части нации, чтобы убедить ее в полезности определенных мер, которые частные интересы сделали непопулярными. Что же касается простых людей, то предполагалось, что если они и слушали, то ничего не понимали.

Следует признать, что в основе всех этих благотворительных чувств лежало сильное предубеждение к этим несчастным существам, чьи страдания высшие классы так искренне желали облегчить: и что это проявление сострадания несколько напоминает нам мнение мадам Дюшателе, которая, как сообщает нам секретарь Вольтера, не постеснялась раздеться перед своими слугами, не думая, что это каким-либо образом доказывает, что лакеи - мужчины. И пусть не думают, что Людовик XVI. или его министры были единственными людьми, которые придерживались опасного языка, который я только что процитировал; привилегированные лица, которым предстояло стать первыми объектами народного гнева, выражались точно так же перед своими подчиненными. Следует признать, что во Франции высшие классы общества начали обращать внимание на положение бедных еще до того, как у них появились какие-либо основания бояться их; они интересовались их судьбой в то время, когда еще не начали верить, что страдания бедных были предвестниками их собственной гибели. Это было особенно заметно в течение десяти лет, предшествовавших 1789 году; крестьяне были постоянными объектами сочувствия, их положение постоянно обсуждалось, рассматривались средства оказания им помощи, разоблачались главные злоупотребления, от которых они страдали, и осуждались налоговые законы, которые давили на них сильнее всего; но способ выражения этого новорожденного сочувствия был столь же неосторожен, как и предшествовавшая ему длительная бесчувственность.

Если мы прочтем отчеты провинциальных собраний, собиравшихся в некоторых частях Франции в 1779 году, а впоследствии и по всему королевству, и если мы изучим другие оставленные ими публичные документы, мы будем тронуты выраженными в них великодушными чувствами и поражены поразительной неосторожностью языка, которым они выражены.

Провинциальное собрание Нижней Нормандии заявило в 1787 году: "Мы слишком часто видели, как деньги, выделяемые королем на дороги, служат только для увеличения благосостояния богатых без какой-либо пользы для народа. Его часто использовали для украшения подъезда к загородному особняку вместо того, чтобы сделать более удобным въезд в город или деревню." На том же собрании представители дворянства и духовенства, описав злоупотребления принудительным трудом, спонтанно предложили внести из своих собственных средств 50 000 ливров на улучшение дорог, чтобы, по их словам, дороги провинции можно было сделать пригодными для эксплуатации без каких-либо дополнительных затрат для населения. Этим привилегированным классам, вероятно, обошлось бы дешевле, если бы они отменили обязательную систему и заменили ее общим налогом, из которого они должны были платить свою норму; но, хотя они и были готовы отказаться от прибыли, получаемой от неравенства налогообложения, им нравилось поддерживать видимость привилегии. В то время как они отказались от той части своих прав, которая была прибыльной, они тщательно сохранили то, что было одиозным.

Другие собрания, состоявшие исключительно из землевладельцев, освобожденных от *taille*, и которые твердо намеревались продолжать это делать, тем не менее, изображали в самых мрачных красках лишения, которые *taille* причиняла бедным. Они нарисовали ужасающую картину всех его злоупотреблений, которую распространили во всех направлениях. Но самое

странное во всем этом деле то, что к этим сильным проявлениям интереса, который они испытывали к простым людям, они время от времени добавляли публичные выражения презрения к ним. Народ уже стал объектом их сочувствия, не перестав при этом быть объектом их презрения.

Провинциальное собрание Верхней Гиенны, говоря о крестьянах, за которых они так горячо боролись, назвало их *грубыми и невежественными существами, беспокойным духом и грубыми и несговорчивыми характерами*. Тюрго, который так много сделал для народа, редко говорил о нем иначе. [78]

Эти резкие выражения использовались в актах, предназначенных для наибольшей огласки и предназначенных для того, чтобы встретиться взглядом с самими крестьянами. Казалось, их создатели воображали, что живут в такой стране, как Галисия, где высшие классы говорят на другом языке, чем низшие, и не могут быть поняты ими. Феодалисты восемнадцатого века, которые часто проявляли по отношению к налогоплательщикам и другим лицам, оказавшим им феодальные услуги, склонность к снисходительности, умеренности и справедливости, неизвестные их предшественникам, все еще иногда говорили о 'мерзких крестьянах'. Эти оскорбления, похоже, были "в надлежащей форме", как говорят адвокаты.

Чем ближе мы приближаемся к 1789 году, тем живее и опрометчивее становится это сочувствие трудностям простого народа. Я держал в руках циркуляры, адресованные несколькими провинциальными собраниями в самом начале 1788 года жителям различных приходов, в которых они призывали их подробно изложить все жалобы, на которые им, возможно, придется пожаловаться.

Один из этих циркуляров подписан аббатом, знатным сеньором, тремя дворянами и человеком среднего класса, все они члены Ассамблеи и действуют от ее имени. Этот комитет поручил синдик у каждого прихода созвать всех крестьян и спросить их, что они могут сказать против способа исчисления и сбора различных налогов, которые они платили. "Мы в целом осведомлены, - говорят они, - что большинство налогов, особенно *gabelle* и *taille*, имеют катастрофические последствия для земледельцев, но мы хотели бы знать о каждом отдельном злоупотреблении". Любопытство Провинциального собрания на этом не остановилось; оно исследовало количество лиц в приходе, пользующихся какими-либо привилегиями в отношении налогов, будь то дворяне, священнослужители или *ротурьеры*, и точный характер этих привилегий; стоимость имущества тех, кто таким образом освобожден; проживают ли они в своих поместьях; много ли церковной собственности, или, как тогда говорили, земли в мортмейне, которая была вне рынка, и ее стоимость. Даже всего этого было недостаточно, чтобы удовлетворить их; они хотели, чтобы им сообщили о доле повинностей, *taille*, дополнительных сборах, подушной подати и ставке принудительного труда, которую привилегированный класс должен был бы платить, предполагая равенство налогообложения.

Это должно было воспламенить каждого человека в отдельности перечислением его собственных обид; это указывало ему на виновников его ошибок, придавало ему смелости, показывая, как их мало, и воспламеняло его сердце алчностью, завистью и ненавистью. Казалось, что Жакерия, Майотены и Шестнадцать были полностью забыты, и никто не осознавал, что французский народ, который является самым тихим и доброжелательным в мире, пока он пребывает в своем естественном расположении духа, становится самым варварским, как только его возбуждают неистовые страсти.

К сожалению, я не смог раздобыть все отчеты, присланные крестьянами в ответ на эти роковые вопросы; но я нашел достаточно, чтобы показать общий настрой, который ими был проникнут.

В этих отчетах тщательно упоминается имя каждого привилегированного человека, будь то дворянин или представитель среднего класса; часто описывается его образ жизни, и всегда в неблагоприятной манере. С любопытством изучается стоимость его имущества; подробно указывается на количество и степень его привилегий, и особенно на вред, который они наносят всем остальным жителям деревни. Подсчитываются бушели зерна, которые должны быть выплачены ему в качестве пошлин; его доход подсчитывается с завистью в голосе — доход, от которого, по их словам, никто не получает прибыли. Случайные взносы приходского священника — его стипендия, как это уже называлось, — объявляются чрезмерными; с горечью отмечается, что за все в церкви нужно платить и что бедняк не может даже быть похоронен бесплатно. Что касается налогов, то все они начисляются несправедливо и являются деспотичными; ни один из них не находит одобрения, и обо всех них говорят жестоким тоном, который выдает раздражение.

‘Косвенные налоги отвратительны, - говорят они. - Нет ни одного дома, в который не приходил бы акцизный чиновник и не обыскивал бы его, для его глаз и рук нет ничего святого.

Регистрационные сборы огромны. Собирает *тайников* - тиран, чья алчность заставляет его использовать все средства для преследования бедных. Судебные приставы ничуть не лучше; ни один честный фермер не может быть защищен от их свирепости. Коллекционеры вынуждены разорять своих соседей, чтобы не подвергаться ненасытности этих деспотов”.

Революция не только объявляет о своем приближении в этом исследовании; она уже здесь, говорит на своем собственном языке и показывает свое лицо без маскировки.

Среди всех различий, существующих между религиозной революцией шестнадцатого века и Французской революцией восемнадцатого, особенно бросается в глаза один контраст: в шестнадцатом веке большинство знатных людей изменили свою религию из побуждений честолюбия или алчности; народ, напротив, по убеждениям и без всякой надежды на прибыль. В восемнадцатом веке дело обстоит наоборот; бескорыстные убеждения и великодушное сочувствие тогда волновали просвещенные классы и подстрекали их к революции, в то время как горькое осознание своей неправоты и горячее желание изменить свое положение будоражили простых людей. Энтузиазм первых нанес последний удар по разжиганию и вооружению ярости и желаний вторых.

ГЛАВА XVIII.

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШИЛО РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ НАРОДА ФРАНЦИИ.

Само правительство долгое время работало над тем, чтобы внедрить в сознание простых людей многие идеи, которые были названы революционными, — идеи, враждебные свободе личности, противостоящие правам личности и способствующие насилию.

Король был первым, кто показал, с каким презрением можно относиться к самым древним и, по-видимому, наиболее устоявшимся институтам. Людовик XV. потрясал монархию и ускорял революцию в равной степени своими нововведениями, как и своими пороками, своей энергией, как и своей ленью. Когда люди увидели падение и исчезновение парламента, почти современного самой монархии, и который до тех пор казался таким же незыблемым, как трон, они смутно осознали, что приближаются времена насилия и случайностей, когда все может стать возможным, когда ничто, каким бы древним оно ни было, не уважается, и ничто, каким бы новым оно ни было, не может быть испытано.

На протяжении всего своего правления Людовик XVI. только и делал, что говорил о предстоящих реформах. Есть немного учреждений, о приближении разорения которых он не предвещал до того, как Революция привела их в действие. Удалив из устава некоторые из худших из этих институтов, он очень скоро заменил их; казалось, он хотел только вырвать их корни, предоставив другим задачу по их уничтожению. В результате некоторых реформ, которые он провел сам, древние и почтенные обычаи были внезапно изменены без достаточной подготовки, а установленные права время от времени нарушались. Эти реформы подготовили почву для Революции, не столько устранив препятствия на ее пути, сколько показав народу, как приступить к ее осуществлению. Зло усугублялось самой чистотой и бескорыстием намерений, которые двигали королем и его министрами; ибо нет примера более опасного, чем насилие, совершаемое во имя благой цели честными и благонамеренными людьми.

В гораздо более ранний период Людовик XIV. публично выдвинул в своих эдиктах теорию о том, что вся земля по всему королевству изначально была предоставлена условно государством, которое, таким образом, было объявлено единственным истинным землевладельцем, и что все остальные были владельцами, чьи титулы могли быть оспорены, и чьи права были несовершенными. Эта доктрина возникла из феодальной системы законодательства; но она не была провозглашена во Франции до тех пор, пока феодализм не начал вымирать, и никогда не принималась Суди. Это, по сути, зародыш современного социализма, и достаточно любопытно видеть, как он впервые прорастает при королевском деспотизме.

Во время правления, последовавшего за правлением Людовика XIV, администрация день за днем еще более практичным и понятным образом внушала народу презрение к частной собственности. Когда во второй половине восемнадцатого века начал преобладать вкус к общественным работам, особенно к строительству дорог, правительство без колебаний конфисковало всю землю, необходимую для своих начинаний, и снесло дома, стоявшие на пути. Французский строительный совет уже тогда был так же очарован геометрической красотой прямых линий, как и с тех пор; он тщательно избегал следовать по существующим дорогам, если они вообще были кривыми, и вместо того, чтобы делать малейшие отклонения, пролегал через бесчисленные поместья. Земля, поврежденная таким образом, никогда не оплачивалась, кроме как по произвольной ставке и после длительной задержки, а часто и вовсе не оплачивалась. [79]

Когда Провинциальное собрание Нижней Нормандии передало управление из рук интенданта, выяснилось, что цена всей земли, захваченной властями за предыдущие двадцать лет для строительства дорог, все еще не уплачена. Таким образом, долг, заключенный государством и не погашенный в этом маленьком уголке Франции, составил 250 000 ливров. Число крупных

собственников, пострадавших таким образом, было ограничено, но мелких, которые пострадали, было очень много, поскольку даже тогда земля была сильно поделена. [80] Каждый из этих людей на собственном опыте убедился, насколько мало уважения могут требовать права личности, когда интересы общества требуют их нарушения — доктрина, о которой он вряд ли забудет, когда придет время применять ее к другим в своих интересах.

Во многих приходах ранее существовали благотворительные фонды, предназначенные их основателями для оказания помощи жителям в определенных случаях и в соответствии с завещаниями. Большая часть этих дарований была уничтожена в последние дни монархии или отклонена от их первоначальных целей простым Приказом Совета, то есть произвольным актом правительства. В большинстве случаев средства, оставленные таким образом отдельным деревням, были изъяты у них в пользу соседних больниц. В то же время имущество этих больниц, в свою очередь, было направлено на цели, которые основатель никогда не имел в виду и, несомненно, не одобрил бы. Эдикт 1780 года разрешал всем этим учреждениям продавать земли, которые были предоставлены им в разное время для вечного владения, и разрешал им передавать деньги за покупку государству, которое должно было выплачивать проценты с них. Это, по их словам, было лучшим использованием милосердия их предков, чем они сами. Они забыли, что самый верный способ научить человечество нарушать права живых - это не обращать внимания на волю мертвых. Презрение, проявляемое администрацией старой французской монархии к завещательным распоряжениям, никогда не было превзойдено ни одной последующей властью. Ничто не может быть более непохожим на скрупулезную заботу, которая заставляет англичан вкладывать в каждого отдельного гражданина силу всего общественного организма, чтобы помочь ему сохранить эффект его последних установок, и которая побуждает их проявлять даже большее уважение к его памяти, чем к нему самому.

Принудительные реквизиции, принудительная продажа провизии и максимальный уровень - это меры, имевшие прецеденты при старой монархии. Я обнаружил случаи, когда правительственные чиновники в периоды дефицита заранее устанавливали цену на продукты, которые крестьяне приносили на рынок; и когда последние избегали этого ограничения, были изданы постановления, обязывающие их подвергаться штрафу.

Но ничто не преподавало более пагубного урока, чем некоторые формы, принятые уголовным правосудием, когда речь шла о простых людях. Бедные уже тогда были гораздо лучше защищены, чем обычно предполагалось, от посягательств любого гражданина, более богатого или могущественного, чем они сами; но когда им приходилось иметь дело с государством, они находили только, как я уже описывал, исключительные суды, предвзятых судей, поспешную и иллюзорную процедуру и приговор, приводимый в исполнение в упрощенном порядке и без апелляции. Начальник полиции и его заместитель должны принимать во внимание беспорядки и сборища, которые могут быть вызваны нехваткой зерна; судебное преследование должно проводиться в установленном порядке, и решение должно быть вынесено начальником полиции и обжалованию не подлежит. Его Величество ограничивает юрисдикцию всех судов правосудия в этих делах.' Из отчетов констеблей мы узнаем, что в этих случаях подозрительные деревни окружались ночью, в дома входили до рассвета, а крестьян, на которых доносили, арестовывали без дальнейшего ордера. Арестованный таким образом человек часто долгое время оставался в тюрьме, прежде чем мог поговорить со своим судьей, хотя указы предписывали, что каждый обвиняемый должен быть допрошен в течение двадцати четырех часов. Тогда это правило было таким же точным и столь же мало соблюдаемым, как и сейчас.

С помощью этих средств мягкое и стабильное правительство ежедневно обучало народ уголовно-процессуальному кодексу, наиболее соответствующему периоду революции и наилучшим образом приспособленному к произволу власти. Эти уроки постоянно были у них перед глазами; и до самого последнего момента старая монархия давала низшим классам это опасное образование. Даже сам Тюрго в этом отношении верно подражал своим предшественникам. Когда в 1775 году его изменение хлебных законов вызвало сопротивление в парламенте и беспорядки в сельских округах, он добился королевского ордонанса, переводящего мятежников из-под юрисдикции судов в юрисдикцию главного маршала, "который в основном предназначен, - как гласит фраза, - для подавления народных волнений, когда желательно, чтобы примеры были поданы быстро". Более того, хуже того, каждый крестьянин, покидающий свой приход, не имея свидетельства, подписанного приходским священником и синдиком, должен был подвергаться судебному преследованию, аресту и суду перед судом. начальник полиции в роли бродяги.

Это правда, что при этой монархии восемнадцатого века, хотя формы судопроизводства были ужасающими, наказание почти всегда было легким. Цель состояла в том, чтобы внушить страх, а не причинить боль; или, скорее, возможно, те, кто находился у власти, были жестокими и деспотичными по привычке или из безразличия и мягкими по темпераменту. Но это только усилило вкус к такому упрощенному виду правосудия. Чем легче наказание, тем легче забывалась манера, в которой оно было вынесено. Мягкость приговора помогла скрыть ужас процедуры.

Я могу рискнуть утверждать, исходя из имеющихся в моем распоряжении фактов, что большое количество процедур, принятых Революционным правительством, имели прецеденты и примеры мер, принятых в отношении простых людей в течение последних двух столетий монархии. Монархия придала Революции многие из ее форм; последняя только добавила к ним жестокости своего собственного духа.

ГЛАВА XIX.

ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВЕЛИКАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕДШЕСТВОВАЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ОНА ПРИВЕЛА.

В форме французского правительства еще ничего не изменилось, но большая часть вторичных законов, регулирующих положение людей и управление делами, уже была отменена или изменена.

Разрушение гильдий, за которым последовало их частичное и неполное восстановление, полностью изменило все старые отношения между рабочими и их работодателями. Эти отношения стали не только иными, но и неопределенными и трудными. Полицейской деятельности мастеров пришел конец; власть государства над ремеслами была установлена недостаточно эффективно; и ремесленник, поставленный в стесненное и неопределенное положение между правительством и своим работодателем, не знал, у кого ему искать защиты и от кого ему подчиняться ограничениям. Это состояние недовольства и анархии, в которое был

ввергнут весь низший класс городов одним ударом, привело к очень серьезным последствиям, как только люди начали вновь появляться на политической сцене.

За год до революции королевский указ нарушил порядок отправления правосудия во всех его частях; было создано несколько новых юрисдикций, множество других упразднено, и все правила судебной компетенции изменились. Так вот, во Франции, как я уже показывал, число лиц, занятых отправлением правосудия и приведением в исполнение приговоров закона, было огромным. Фактически, можно сказать, что весь средний класс был более или менее связан с трибуналами. Таким образом, действие этого закона привело к дестабилизации положения и собственности тысяч семей и поставило их в новое и опасное положение. Эдикт был немногим менее неудобен для тяжущихся сторон, которым в разгар этой судебной революции было трудно определить, какие законы применимы к их делам и какими трибуналами они должны рассматриваться.

Но именно радикальная реформа, которой подверглась так называемая Администрация в 1787 году, больше, чем все остальные, привела в беспорядок общественные дела и потрясла частное существование каждого отдельного гражданина.

Я уже упоминал, что в так называемых *избирательных округах*, то есть примерно в трех четвертях Франции, все управление каждым округом было доверено одному человеку, интенданту, который действовал не только бесконтрольно, но и без советов.

В 1787 году, помимо интендантства, было создано Провинциальное собрание, взявшее на себя реальное управление страной. В каждой деревне выборный муниципальный орган также занял место древних приходских собраний, а в большинстве случаев и синдика.

Правовое государство, столь противоположное тому, которое ему предшествовало, и которое столь полностью изменило не только весь ход дел, но и относительное положение людей, применялось во всех местах в один и тот же момент и почти одинаковым образом, без малейшего учета прежних обычаев или особого положения каждой провинции, настолько полно страсть к единству, характеризовавшая революцию, овладела старым правительством, которое Революция собиралась уничтожить.

Эти изменения продемонстрировали силу привычки в действии политических институтов и показали, насколько легче иметь дело с неясными и сложными законами, которые используются уже давно, чем с совершенно новой системой законодательства, какой бы простой она ни была.

При старой французской монархии существовали всевозможные органы власти, которые почти бесконечно варьировались в зависимости от провинций; но поскольку ни одна из этих властей не имела каких-либо фиксированных границ, поле деятельности каждой из них всегда было общим для нескольких других. Тем не менее, дела стали вестись с определенной регулярностью и удобством; в то время как новоиспеченные власти, которые были меньше по численности, тщательно очерчены и совершенно одинаковы, мгновенно вступили в конфликт и запутались в безнадежной неразберихе, часто доводя друг друга до бессилия.

Более того, у нового закона был один большой недостаток, которого самого по себе было бы достаточно, особенно на первых порах, чтобы затруднить его исполнение: все созданные им полномочия были коллективными [81] или корпоративными.

При старой монархии существовало только два метода управления. Там, где управление было поручено одному человеку, он действовал без помощи какого-либо собрания; везде, где существовали собрания, как в *государственных органах* или в городах, исполнительная власть не принадлежала какому-либо конкретному лицу; Собрание не только управляло администрацией и надзидало за ней, но управляло само по себе или с помощью временных комиссий, которые оно назначало.

Поскольку это были единственные два способа работы, которые тогда были поняты, когда от одного отказались, был принят другой. Странно, что в столь просвещенном сообществе, где государственная администрация долгое время играла столь заметную роль, никому никогда не приходило в голову объединить две системы и провести различие, не проводя разделения, между властью, которая должна исполнять, и той, которая контролирует и направляет. Эта идея, которая кажется такой простой, никому не приходила в голову; она была открыта только в нынешнем столетии, и можно сказать, что это единственное великое изобретение в области государственного управления, на которое мы можем претендовать. Ниже мы увидим результаты противоположной практики, когда эти административные привычки были перенесены в политическую жизнь и когда, повинувшись традициям старых институтов монархии, какими бы ненавистными они ни были, система, которой придерживались провинциальные сословия и небольшие муниципалитеты городов, была применена в Национальном собрании; и причины, которые ранее вызывали определенные затруднения в ведении бизнеса, внезапно породили царство террора.

Провинциальные собрания 1787 года были наделены правом самостоятельного управления в большинстве случаев, в которых до тех пор интендант действовал единолично; им было поручено, под руководством Центрального правительства, оценивать *запасы* и контролировать их сбор - с полномочиями решать, какие общественные работы должны быть проведены, и с их исполнением. Все лица, занятые на общественных работах, от инспектора до водителя дорожной бригады, находились под их контролем. Они должны были заказать то, что сочтут нужным, отчитаться перед министром о оказанных услугах и предложить ему соответствующее вознаграждение. Приходские тресты были почти полностью переданы в ведение этих собраний; они должны были решать в первой инстанции большинство судебных дел, которые до этого рассматривались интендантом. Многие из этих функций были неподходящими для коллективного и безответственного органа, и, более того, их должны были выполнять люди, которые теперь впервые должны были принимать участие в управлении.

Неразбериха была доведена до конца лишением интенданта всей власти, хотя его должность не была упразднена. После того, как у него отобрали абсолютное право делать все, на него была возложена задача помогать Собранию и контролировать все, что должно было быть сделано; как будто для низшего государственного служащего было возможно проникнуться духом закона, по которому он был лишен собственности, и способствовать его действию.

То, что было сделано с интендантом, теперь распространялось и на его заместителя. Рядом с ним и на месте, которое он раньше занимал, было размещено Окружное собрание, которое

должно было действовать под руководством Провинциального собрания и на аналогичных принципах.

Все, что мы знаем об актах провинциальных собраний 1787 года, [82] и даже их собственные отчеты показывают, что как только они были созданы, они вступили в тайные боевые действия, а часто и в открытую войну с интендантами, которые использовали свой превосходный опыт только для того, чтобы затруднять передвижения своих преемников. Здесь Собрание пожаловалось, что оно лишь с трудом смогло получить самые необходимые документы из рук интенданта. Там интендант обвинил членов Ассамблеи в попытке узурпировать функции, которые, по его словам, указы все еще оставляли за ним. Он обращался к министру, который часто не давал ответа или просто выражал сомнения, поскольку тема была для него такой же новой и неясной, как и для всех остальных. Иногда Собрание решало, что интендант плохо управлял делами, что дороги, которые по его приказу были проложены, были плохо спланированы или плохо содержались в надлежащем состоянии, и что корпоративные структуры, находившиеся под его доверием, пришли в упадок. Часто эти собрания колебались из-за неясности законов, столь несовершенно известных; они отправлялись на большие расстояния, чтобы посоветоваться друг с другом, и постоянно посылали друг другу советы. Интендант Оша утверждал, что он имел право выступить против воли Провинциального собрания, которое разрешило приходу облагать себя налогом; Собрание утверждало, что это вопрос, по которому интендант больше не может отдавать приказы, а только советы, и оно запрашивает мнение Ассамблеи Иль-де-Франс.

Среди всех этих взаимных обвинений и консультаций ход управления был затруднен, а часто и вовсе остановлен; казалось, что жизненно важные функции страны почти приостановлены. "Застой в делах полный, - заявляет Провинциальное собрание Лотарингии, которое в данном случае было лишь эхом нескольких других, - и все добропорядочные граждане опечалены этим".

В других случаях эти новые руководящие органы допускали ошибки в чрезмерной активности и самоуверенности; они были полны беспокойного рвения, которое заставляло их стремиться внезапно изменить все старые методы и поспешно реформировать все самые древние злоупотребления. Под предлогом того, что отныне они должны были быть хранителями городов, они взяли на себя управление муниципальными делами; одним словом, они нанесли завершающий удар по всеобщему смятению, стремясь к всеобщему улучшению.

Теперь, когда мы подумаем о том, какое огромное пространство административные полномочия государства так долго занимали во Франции, о многочисленных интересах, которые они ежедневно затрагивали, и обо всем, что зависело от них или нуждалось в их сотрудничестве; когда мы подумаем, что частные лица больше обращались к правительству, чем к самим себе, за успехом своих собственных дел, за поощрением своих производств, за обеспечением своих средств к существованию, за прокладкой и содержанием своих дорог, за поддержанием своего спокойствия и сохранением своего богатства, мы получим некоторое представление о бесконечном количестве людей, которые лично пострадали. из-за зла, от которого страдала администрация королевства.

Но именно в деревнях недостатки новой организации ощущались наиболее сильно; там это не только нарушило ход власти, но и внезапно изменило относительное положение общества и привело к столкновению всех классов.

Когда в 1775 году Тюрго предложил королю реформировать управление сельскими округами, самая большая трудность, с которой он столкнулся, как он сам сообщает нам, возникла из-за неравномерного распределения налогов: ибо как было возможно заставить людей, которые не все были обязаны вносить одинаковый вклад, а некоторые из которых были полностью освобождены от налогообложения, действовать и обсуждать совместно приходские дела, касающиеся главным образом исчисления и сбора тех самых налогов и целей, для которых они должны были применяться? В каждом приходе были дворяне и духовенство, которые не платили *подати*, крестьяне, которые были частично или полностью освобождены, и другие, которые платили все. Это были три отдельных прихода, каждый из которых потребовал бы отдельного управления. Трудность была неразрешимой.

В самом деле, нигде неравенство в налогообложении не было так очевидно, как в сельских округах; нигде население не было так эффективно разделено на различные группы, часто враждебные друг другу. Для того чтобы сделать возможным коллективное управление деревнями и свободное правительство в небольших масштабах, необходимо было бы начать с обложения всех жителей равным налогообложением и уменьшения расстояния, на которое были разделены классы.

Однако, когда реформа была начата в 1787 году, это был не тот курс. Внутри каждого прихода сохранялось древнее сословное различие вместе с неравенством налогообложения, которое было его основным признаком, но, тем не менее, все управление было передано в руки выборных органов. Это мгновенно привело к весьма необычным результатам.

Когда избирательное собрание собиралось для избрания муниципальных чиновников, кюре и сеньор не должны были присутствовать; утверждалось, что они принадлежали к сословиям дворянства и духовенства, и это был случай, когда простолюдинам предстояло выбирать своих представителей главным образом.

Однако, когда муниципальный орган был однажды избран, кюре и сеньор вошли в него по праву, ибо было бы неприлично полностью исключать двух таких значительных жителей из управления приходом. Сеньор даже председательствовал в приходских собраниях, в избрании которых он не принимал участия, но в большинстве их заседаний у него не было права голоса. Например, когда обсуждались вопросы начисления и раздела *подати*, кюре и сеньору не разрешалось голосовать, ибо разве они оба не были освобождены от этого налога? С другой стороны, муниципальный совет не имел никакого отношения к их подушному налогу, который продолжал регулироваться интендантом в соответствии с особыми формами.

Из опасения, что этот Президент, каким бы изолированным он ни был от органа, которым он должен был руководить, все же окажет косвенное влияние, наносящее ущерб интересам Ордена, к которому он не принадлежал, было потребовано, чтобы голоса его собственных арендаторов не учитывались; и провинциальные собрания, проконсультировавшись по этому вопросу, высказали свое мнение, что это упущение было уместным и полностью соответствовало принципу. Другие лица благородного происхождения, которые могли быть жителями прихода, не могли заседать в той же плебейской корпорации, если только они не были избраны крестьянами, и тогда, как тщательно указано в подзаконных актах, они имели право представлять только низшие классы.

Таким образом, сеньор фигурировал в этом Собрании только в положении абсолютного подчинения своим бывшим вассалам, которые все сразу стали его хозяевами; он был скорее их пленником, чем начальником. Собирая людей вместе с помощью подобных средств, казалось, цель заключалась не столько в том, чтобы теснее связать их друг с другом, сколько в том, чтобы сделать более ощутимыми различия в их положении и несовместимость их интересов.

Был ли деревенский синдик по-прежнему тем дискредитированным офицером, чьи обязанности никто не принимал иначе, как по принуждению, или условия Синдика были согласованы с условиями сообщества, к которому он принадлежал как его главный представитель? [83] Ответить даже на этот вопрос было непросто. Я нашел письмо деревенского судебного пристава, написанное в 1788 году, в котором он выражает свое возмущение тем, что был избран на должность Синдика, 'что, ' сказал он, ' противоречило всем привилегиям его другой должности'. На это Генеральный контролер отвечает, что это лицо должно быть исправлено: что ему нужно дать понять, что он должен гордиться выбором своих сограждан; и что, более того, новые синдики не должны походить на местных чиновников, которые раньше носили то же название, и что правительство будет относиться к ним с большим вниманием.

С другой стороны, некоторые из главных жителей приходов и даже высокопоставленные лица сразу же начали сближаться с крестьянством, как только крестьянство стало силой в государстве. Землевладелец, осуществляющий наследственную юрисдикцию над деревней недалеко от Парижа, пожаловался, что королевский эдикт лишает его права участвовать, даже в качестве простого жителя, в заседаниях Приходского собрания. Другие согласились, по их словам, из чисто общественных побуждений, принять даже должность синдика.

Было слишком поздно: но когда представители высших классов общества во Франции, таким образом, начали сближаться с сельским населением и стремились объединиться с народом, народ вернулся в изоляцию, на которую был обречен, и сохранил это положение. Некоторые приходские собрания отказывались позволить сеньору этого места занять его место среди них; другие пускались на всевозможные уловки, чтобы уклониться от приема лиц столь же низкого происхождения, как и они сами, но богатых. 'Нам сообщили, ' заявило Провинциальное собрание Нижней Нормандии, ' что несколько муниципальных органов отказались принимать в число своих членов землевладельцев, не являющихся дворянами и не проживающих в приходе, хотя эти лица имеют несомненное право присутствовать на таких собраниях. Некоторые другие органы даже отказались признавать фермеров, не имеющих никакой собственности на землю в приходе".

Таким образом, вся реформа этих вторичных законодательных актов была уже новой, неясной и противоречивой, прежде чем основные законы, влияющие на управление государством, были вообще затронуты. Но все, что еще оставалось нетронутым, уже пошатнулось, и едва ли можно было сказать, что существовал какой-либо закон, которому само Центральное правительство уже не угрожало отменой или скорым изменением.

Об этом внезапном и всеобъемлющем обновлении всех законов и всех административных привычек Франции, предшествовавшем политической революции 1789 года, в настоящее время почти не задумываются, однако это было одно из самых серьезных потрясений, которые когда-либо происходили в истории великого народа. Эта первая революция оказала огромное влияние на Революцию, которая должна была последовать за ней, и привела к тому, что

последняя стала событием, отличным от всех событий того же рода, которые когда-либо происходили в мире до тех пор, и от тех, которые произошли с тех пор. [84]

Первая английская революция, которая ниспровергла всю политическую конституцию страны и упразднила саму монархию, лишь поверхностно затронула второстепенные законы страны и почти не изменила обычаев нации. Отправление правосудия и ведение государственных дел сохранили свои старые формы и даже соответствовали своим прошлым отклонениям. Говорят, что в разгар гражданских войн двенадцать судей Англии продолжали выезжать на круг дважды в год. Следовательно, не все было отдано на откуп агитации одновременно. Революция была ограниченной по своим последствиям, и английское общество, хотя и было потрясено на своей вершине, оставалось незыблемым в своем основании.

Сама Франция с 1789 года стала свидетелем нескольких революций, которые коренным образом изменили всю структуру ее правительства. Большинство из них были очень внезапными и были вызваны силой, в открытое нарушение существующих законов. И все же беспорядки, которые они вызывали, никогда не были ни продолжительными, ни всеобщими; большая часть нации их почти не ощущала, иногда они оставались незамеченными.

Причина в том, что с 1789 года административная конституция Франции всегда стояла на руинах ее политических конституций. Личность государя или форма правления были изменены, но повседневный ход дел не был ни прерван, ни нарушен: каждый человек по-прежнему оставался покорным в мелких заботах, которые его интересовали, правилам и обычаям, с которыми он уже был знаком; он зависел от второстепенных властей, которым он всегда имел обыкновение подчиняться; и в большинстве случаев ему все еще приходилось иметь дело с теми же агентами; ибо, если при каждой революции администрация обезглавливалась, ее ствол все еще оставался нетронутым и живым; те же общественные обязанности выполняли те же государственные служащие, которые несли ответственность за у них, несмотря на все перипетии политического законодательства, один и тот же характер и одна и та же практика. Они судили и управляли от имени короля, затем от имени Республики и, наконец, от имени Императора. И когда Фортуна снова повернула свое колесо, они снова начали судить и управлять от имени короля, Республики и Императора, те же самые люди, делающие то же самое, ибо что есть во имя господина? Их задача заключалась не столько в том, чтобы быть хорошими гражданами, сколько в том, чтобы быть хорошими администраторами и хорошими судебными служащими. Поэтому, как только прошел первый шок, казалось, что в стране ничего не изменилось.

Но когда разразилась революция 1789 года, та часть правительства, которая, хотя и подчиненная, ежедневно дает о себе знать каждому члену содружества и которая влияет на его благосостояние более постоянно и решительно, чем что-либо другое, только что была полностью ниспровергнута: административные учреждения Франции только что сменили всех своих агентов и пересмотрели все свои принципы. Поначалу казалось, что государство не испытало сильного потрясения от этой грандиозной реформы; но в стране не было человека, который не ощутил бы этого в своей собственной конкретной сфере. Каждый был потрясен своим состоянием, нарушен в своих привычках или подвергнут неудобствам в своем призвании. Определенный порядок все еще царил в более важных и общих делах нации; но уже никто не знал, кому подчиняться, к кому обращаться и как поступать в тех мелких и частных делах, которые составляют основу общественной жизни. Нация потеряла равновесие во всех этих

деталей, и еще одного удара было достаточно, чтобы полностью нарушить его и вызвать самую масштабную катастрофу и ужасающее замешательство, которые когда-либо видел мир.

ГЛАВА XX.

ПОКАЗЫВАЯ, ЧТО РЕВОЛЮЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВЫТЕКАЛА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ФРАНЦИИ.

Прежде чем закончить, я предлагаю собрать некоторые характеристики, которые я уже описал отдельно, и проследить Революцию, исходящую как бы сама по себе из состояния общества во Франции, которое я уже описал.

Если вспомнить, что во Франции феодальная система, хотя и сохранила неизменным все, что могло раздражать или вредить, фактически утратила все, что могло защитить или могло быть полезным, то покажется менее удивительным, что Революция, которая должна была практически отменить эту древнюю конституцию Европы, разразилась во Франции, а не где-либо еще.

Если принять во внимание, что французское дворянство, утратив свои древние политические права и перестав больше, чем в какой-либо другой стране феодальной Европы управлять нацией, тем не менее, не только сохранило, но и значительно расширило свои денежные иммунитеты и преимущества, которыми обладали лично члены этого сообщества; что, хотя оно и стало подчиненным классом, оно все еще оставалось привилегированным и замкнутым сообществом, все меньше и меньше аристократией, как я уже говорил в другом месте, но все больше и больше кастой; не будет поводом для удивления, что привилегии такого дворянства стали настолько необъяснимыми. и это настолько отвратительно для французского народа, что разжигает зависть к демократии до такой степени, что она все еще горит в их сердцах.

Если, наконец, принять во внимание, что французское дворянство, оторванное от средних классов, которых оно отталкивало, и от народа, чью привязанность оно утратило, оказалось таким образом одиноким посреди нации — по—видимому, во главе армии, но на самом деле это были офицеры без солдат, - то станет понятно, как то, что стояло незыблемым тысячу лет, погибло в одну ночь.

Я показал, как правительство короля, отменив привилегии провинций и узурпировав всю местную власть на трех четвертях территории Франции, таким образом, взяло в свои руки все общественные дела, как самые незначительные, так и самые крупные. С другой стороны, я показал, как вследствие неизбежного следствия Париж стал хозяином королевства, столицей которого до тех пор он был, или, скорее, сам стал всей страной. Этих двух фактов, характерных для Франции, было бы достаточно, если бы потребовалось, чтобы объяснить, почему бунт мог фундаментально разрушить монархию, которая на протяжении веков переживала так много жестоких потрясений и которая накануне своего распада все еще казалась неприступной даже тем, кто собирался ее свергнуть.

Поскольку Франция является одним из государств Европы, в котором всякая политическая жизнь была угаслена дольше всего и наиболее эффективно, где частные лица в наибольшей

степени утратили привычку вести дела, привычку предугадывать ход событий, опыт народных движений и почти представление о народе, легко представить, как все французы сразу оказались втянутыми в ужасную революцию, не предвидя ее; те, кому эта катастрофа больше всего угрожала, оказались впереди и предприняли попытку открыть и расширить путь, который к ней вел.

Поскольку больше не существовало никаких свободных институтов, а следовательно, и никаких политических классов, никаких живых политических органов, никаких организованных или дисциплинированных партий, и поскольку в отсутствие всех этих регулярных сил направление общественного мнения, когда общественное мнение снова возникло, перешло исключительно к французским философам, можно было ожидать, что революция будет направлена не столько с прицелом на конкретное положение дел, сколько со ссылкой на абстрактные принципы и очень общие теории: можно было ожидать, что вместо отдельных попыток внести поправки в законы, которые были плохими, нападкам подвергнутся все законы, и что попытка будет предпринята в соответствии с сделано для того, чтобы заменить древнюю конституцию Франции совершенно новой системой правления, задуманной этими авторами.

Поскольку Церковь естественным образом связана со всеми старыми институтами, которые были обречены на гибель, нельзя было сомневаться, что Революция потрясет религию страны, когда она свергнет гражданское правительство; поэтому было невозможно предсказать, до какой степени экстравагантности могут дойти эти новаторы, сразу освобожденные от всех ограничений, которые религия, обычай и закон налагают на воображение человечества.

Тот, кто изучил бы таким образом состояние Франции, легко мог бы предвидеть, что ни одна дерзость не была бы там слишком чрезмерной, и ни один акт насилия не был бы слишком сильным, чтобы его можно было вынести. 'Что, - сказал Берк в одном из своих красноречивых памфлетов, - неужели нет человека, который может ответить за самый маленький округ, — более того, ни одного человека, который может ответить за другой? Каждого арестовывают в его собственном доме без сопротивления, независимо от того, обвиняют ли его в роялизме, в умерентизме или в чем-либо еще.' Но мистер Берк мало что знал о состоянии, в котором монархия, о котором он сожалел, оставила Францию ее новым хозяевам. Администрация, предшествовавшая революции, лишила французов как средств, так и желания оказывать взаимную помощь. Когда пришла Революция, было бы тщетно искать на большей части Франции каких-либо десять человек, привыкших действовать систематически и согласованно или обеспечивать собственную оборону; только Центральная власть взяла на себя эту обязанность, так что, когда эта Центральная власть перешла из рук короны в руки безответственного и суверенного Собрания и стала такой же ужасной, какой прежде была добродушной, ничто не могло остановить или хотя бы на мгновение остановить ее. Та же самая причина, которая так легко привела к падению монархии, сделала возможным все после того, как ее падение произошло.

Никогда еще веротерпимость в религии, никогда еще мягкость власти, никогда еще гуманность и доброжелательность к человечеству не провозглашались так открыто и, казалось, не признавались так широко, как в восемнадцатом веке. Даже права на войну, которая является последним прибежищем насилия, были ограничены и смягчены. И все же из этого расслабленного состояния нравов должна была вот-вот разразиться Революция беспрецедентной бесчеловечности, хотя это смягчение нравов Франции не было простым

притворством, ибо как только Революция израсходовала свою ярость, та же мягкость немедленно проникла во все законы страны и проникла в привычки политического общества.

Этот контраст между благожелательностью ее теорий и жестокостью ее действий, который был одной из самых странных характеристик Французской революции, не удивит никого, кто заметил бы, что эта Революция была подготовлена наиболее цивилизованными классами нации и что она была совершена самыми варварскими и грубыми. Члены этих цивилизованных классов, не имевших ранее существовавших уз союза, привычки действовать согласованно, не имевших никакой власти над народом, почти мгновенно стали верховными, когда старые власти государства были уничтожены. Там, где народ фактически не принимал на себя управление, он передавал свой дух тем, кто управлял; и если, с другой стороны, вспомнить, каким был образ жизни этого народа при старой монархии, то легко можно предположить, каким он вскоре стал.

Даже особенности его положения наделили французский народ рядом необычных достоинств. Рано освободившиеся и долгое время владевшие частью земли, скорее изолированные, чем зависимые, французы показали себя одновременно умеренными и гордыми; сыны труда, равнодушные к прелестям жизни, смилившиеся с ее величайшими пороками, стойкие перед лицом опасности — простая и мужественная раса, которой предстояло пополнить те могучие армии, перед которыми должна была склониться Европа. Но та же причина делала их опасными хозяевами. Поскольку они веками почти в одиночку несли все бремя общественных обид, поскольку они жили обособленно, молча питаясь своими предрассудками, своей завистью и ненавистью, суровость своей судьбы ожесточила их, и они стали способны как терпеть, так и причинять любое зло.

Таково было состояние французского народа, когда, возложив руки на правительство, он взялся завершить дело Революции. Книги снабдили теорию; люди взялись за практическое применение и приспособили концепции этих авторов к порыву своих собственных страстей.

Те, кто внимательно рассматривал на этих страницах состояние Франции в восемнадцатом веке, должны были помнить о рождении и развитии двух ведущих страстей, которые, однако, не были одновременными и не всегда приводили к одному и тому же результату.

Первой, более глубоко укоренившейся и исходящей из более отдаленного источника, была неистовая и неугасимая ненависть к неравенству. Эта страсть, зародившаяся и взращенная в условиях неравенства, которое вызывало отвращение, долгое время побуждала французов с постоянной и непреодолимой силой разрушать до основания все, что осталось от институтов Средневековья, и на расчищенной таким образом почве строить общество, в котором люди должны быть настолько похожи друг на друга, а условия их жизни настолько равны, насколько допускает человеческая природа.

Вторая, более поздняя и с менее живучими корнями, привела их к желанию жить не только равной, но и свободной.

В период, непосредственно предшествовавший революции 1789 года, эти две страсти были одинаково искренними и казались одинаково сильными. В начале Революции они встретились и объединились; на мгновение они тесно переплелись, воспламенили друг друга взаимным соприкосновением и разом воспламенили все сердце Франции. Таков был 1789 год, время неопытности, без сомнения, но время щедрости, энтузиазма, мужественности и величия — время бессмертной памяти, к которому взоры человечества будут обращены с восхищением и

уважением еще долго после того, как те, кто был свидетелем этого, и мы сами исчезнем. Тогда, действительно, французы были достаточно горды своим делом и самими собой, чтобы поверить, что они могут быть равны в свободе. Поэтому среди своих демократических институтов они повсюду размещали свободные институты. Они не только разнесли в пух и прах все то изнеженное законодательство, которое разделяло людей на касты, корпорации и классы и которое делало их права еще более неравными, чем их условия, но они одним ударом разрушили те другие законы, совсем недавно введенные властью короны, которые лишили французскую нацию возможности свободно пользоваться своими собственными полномочиями и поставили на сторону каждого француза правительство в качестве его наставника, опекуна и, если потребуется, его угнетателя. Централизация рухнула вместе с абсолютным правительством.

Но когда то энергичное поколение, которое начало Революцию, было уничтожено или обессилено, как это обычно случается с любым поколением, участвующим в подобных предприятиях, — когда, следуя естественному ходу событий такого рода, любовь к свободе была подавлена анархией и народной тиранией, и сбитая с толку нация начала ошупью искать хозяина, — абсолютное правительство нашло потрясающие средства для восстановления и упрочения своей власти, и они были легко обнаружены гением человека, которому предстояло продолжить Революцию и уничтожить ее.

Франция при старой монархии фактически содержала целую систему современных институтов, которые, не будучи противоречащими социальному равенству, могли бы легко найти место в новом состоянии общества, но которые открывали замечательные возможности для деспотизма. Их искали среди руин всех других учреждений, и они были найдены там. Эти учреждения некогда породили привычки, страсти и мнения, которые имели тенденцию удерживать людей в состоянии разделения и повиновения; и таковы были учреждения, которые были восстановлены и приведены в действие. Централизация была поднята из руин и восстановлена; и поскольку, в то время как эта система снова поднялась, все, чем она прежде ограничивалась, было разрушено, из недр этой нации, которая только что свергла монархию, внезапно возникла власть более обширная, всеобъемлющая, более абсолютная, чем та, которой когда-либо пользовался кто-либо из французских королей. Это предприятие казалось странно дерзким, а его успех не имел себе равных, потому что люди думали о том, что они видели, и забыли о том, что они видели. Властитель пал, но все, что было наиболее существенным в его работе, осталось стоять; его правительство пало, но администрация выжила; и каждый раз, когда с тех пор предпринималась попытка свергнуть абсолютную власть, все, что делалось, — это водружать голову Свободы на тело раба.

Несколько раз, с начала Революции и до наших дней, было замечено, что страсть к свободе во Франции угасала, возрождалась — а затем снова угасала, чтобы снова возродиться. Так будет долго с такой неопытной и плохо направленной страстью, которую так легко обескуражить, встревожить и победить; страстью такой поверхностной и такой преходящей. В течение всего этого периода страсть к равенству никогда не переставала занимать то глубоко укоренившееся место в сердцах французского народа, которое она захватила первой: она цепляется за чувства, которые он лелеет больше всего. В то время как любовь к свободе часто меняет свой облик, ослабевает и усиливается, растет или угасает в зависимости от хода событий, эта другая страсть

остаётся все той же, всегда привлекаемой к одному и тому же объекту с тем же упрямым и безрассудным пылом, готовой принести любые жертвы тем, кто позволяет ей удовлетворять свои желания, и готовой предоставить любому правительству, которое будет благосклонно относиться к ней и льстить ей, привычки, мнения и законы, которые требуются деспотизму для того, чтобы он мог править.

Французская революция всегда будет окутана облаками и мраком для тех, кто обращает свое внимание только на нее саму. Единственный свет, который может осветить его ход, нужно искать во времена, которые ему предшествовали. Без ясного представления о прежнем обществе Франции, о его законах, о его недостатках, о его предрассудках, о его ничтожестве, о его величии невозможно понять, что делали французы в течение шестидесяти лет, последовавших за его распадом; но даже этого восприятия будет недостаточно, если мы не проникнем до конца в характер этой нации.

Когда я рассматриваю этот народ сам по себе, он поражает меня больше, чем любое событие в его собственных анналах. Был ли в истории любого народа на Земле настолько полон контрастов и так экстрима во всех его действиях; более под влиянием ощущений, меньше принципов; светодиодные поэтому всегда нужно делать либо хуже, либо лучше, чем можно было ожидать от него, иногда даже ниже общего уровня человечества, иногда значительно выше;—людей, настолько неизменные ведущие инстинкты, что своим внешним видом может по-прежнему быть признаны в описании написано две или три тысячи лет назад, но в то же время изменчивый в своих ежедневных мыслях и в своих вкусах, как стать зрелище, и, глядя на себя, и столько же удивлен, как и весь остальной мир при виде того, что он сделал,—это народ выше всех прочих качеств ребенка дома и рабом привычки, когда ушел к себе, но когда в очередной разорванный против его воли из родной очаг и из своих ежедневных занятий, готовые идти до конца света и смел все вещи; indocile по темпераменту, принимающей произвольные и даже насильственное правление государя более легко, чем бесплатное и регулярное правительство граждан начальник; в-день, объявленный врагом всех послушание, завтра блюда с какой-то страсти, какие народы лучший адаптированный для сервитута не может достичь; руководствуясь нить пока никто не сопротивляется, неуправляемой, когда на примере сопротивление было когда-то дано, всегда обманывают своих хозяев, которые опасаются, что это или слишком мало или слишком много; не настолько свободный, что это безнадежно, чтобы поработить его, или такое рабство, что оно не может разбить ярмо снова; подходит для всех вещей, но преуспевает только в войне, обожающих возможность, силы, успеха, блеска и шума, более истинной славой; более способный, чем героизм добродетели, гения, чем здравого смысла, готов воспринимать огромные конструкции, а не для свершения великих предприятий; самый яркий и наиболее опасные народы Европы и что лучше, чтобы стать по очереди объект восхищения, ненависти, жалости, ужаса, но не безразличия!

Только такая нация могла породить Революцию, столь внезапную, столь радикальную, столь стремительную в своем ходе, и в то же время столь полную реакций, противоречивых инцидентов и противоположных примеров. Без причин, о которых я рассказал, французы никогда бы не совершили Революцию; но следует признать, что всех этих причин вместе взятых было бы недостаточно для объяснения такой Революции где-либо еще, кроме как во Франции.

Итак, я подошел к порогу этого великого события. В мои намерения не входит выходить за его пределы сейчас, хотя, возможно, я смогу сделать это позже. Затем я перейду к рассмотрению этого явления не только в его причинах, но и само по себе и, наконец, рискну вынести суждение о состоянии общества, к которому оно привело.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА.

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ, И ОСОБЕННО О КОНСТИТУЦИЯХ ЛАНГЕДОКА.

В мои намерения не входит подробно исследовать в этом месте, как велись общественные дела в каждой из провинций, называемых *Pays d'États*, которые все еще существовали в начале революции. Я хочу только указать на их количество; указать на те, в которых местная жизнь все еще была наиболее активной; показать, каковы были отношения этих провинций с администрацией короны; насколько они составляли исключение из общих правил, которые я установил ранее; насколько они подпадали под эти правила; и, наконец, показать на примере одной из этих провинций, во что все они могли бы легко превратиться.

Поместья существовали в большинстве провинций Франции, то есть каждое из них находилось в ведении правительства короля *gens des trois états*, как их тогда называли, что означало представителей духовенства, знати и общин. Это провинциальное устройство, подобно большинству других политических институтов средневековья, имело те же черты почти во всех цивилизованных частях Европы — по крайней мере, во всех тех частях, куда проникли германские нравы и идеи. Во многих провинциях Германии эти государства просуществовали вплоть до Французской революции; в тех провинциях, где они были ранее разрушены, они исчезли только в течение семнадцатого и восемнадцатого веков. Повсюду в течение двухсот лет монархи вели против них тайную или открытую войну. Они нигде не пытались улучшить этот институт с течением времени, а только разрушали и деформировали его всякий раз, когда представлялась возможность и когда они не могли сделать хуже.

Во Франции в 1789 году эти государства существовали только в пяти провинциях определенной протяженности и в нескольких незначительных округах. По правде говоря, о провинциальной свободе можно было сказать, что она существует только в двух провинциях — в Бретани и в Лангедоке: повсюду этот институт полностью утратил свою жизнеспособность и превратился в простую тень.

Я возьму случай Лангедока отдельно и посвящу ему в этом месте более подробное рассмотрение.

Лангедок был самым обширным и густонаселенным из всех *государственных округов*. В нем насчитывалось более двух тысяч приходов, или, как их тогда называли, 'общин', и почти два миллиона жителей. Кроме того, это была самая упорядоченная и процветающая из всех этих провинций, а также самая крупная. Таким образом, Лангедок является прекраснейшим образцом того, какой провинциальная свобода могла быть при старой французской монархии, и

до какой степени даже в тех округах, где она казалась наиболее сильной, она была подчинена власти короны.

В Лангедоке сословия могли собираться только по прямому приказу короля и на основании приказа о вызове, ежегодно адресованного королем индивидуально членам, из которых они состояли, что побудило одного из недовольных того времени сказать: "Из трех органов, составляющих наши Сословия, один — духовенство — заседает по представлению короля, поскольку он назначает епископства и бенефиций; и можно предположить, что таковыми являются два других, поскольку постановление Суда может помешать любому члену, которого оно пожелает, присутствовать на Собрании, и это без каких-либо ограничений". сослать или привлечь к ответственности, просто не вызвав его.

Сословия должны были не только собираться, но и откладывать свои заседания в определенные дни, назначенные королем. Обычная продолжительность их сессии была установлена Постановлением Совета в сорок дней. Король был представлен в Ассамблее уполномоченными, которые всегда имели свободный доступ, когда им это требовалось, и в чьи обязанности входило разъяснять волю правительства. Более того, Собрание проходило в строгом режиме. Они не могли принимать никаких важных решений, они вообще не могли определять никаких финансовых мер до тех пор, пока их обсуждение не было одобрено Постановлением Совета; для получения налога, займа или судебного иска им требовалось прямое разрешение короля. Все их постоянные распоряжения, вплоть до того, что касалось порядка проведения их собраний, должны были быть утверждены до того, как они вступили в силу. Совокупность их поступлений и расходов — их бюджет, как его теперь называли бы, — каждый год подвергалась одному и тому же контролю.

Более того, Центральная власть пользовалась в Лангедоке теми же политическими правами, которые признавались за ней повсюду. Законы, которые короне было угодно обнародовать, общие постановления, которые она постоянно издавала, общие меры ее политики были применимы там так же, как и в остальной части королевства. Корона осуществляла там все естественные функции правительства; у нее была там та же полиция и те же агенты; там, как и везде, она создала множество новых государственных служащих, места которых провинция была вынуждена выкупать по высокой цене.

Лангедоком, как и другими провинциями Франции, управлял интендант. Этот интендант имел в каждом округе своих заместителей, которые переписывались с главами приходов и руководили ими. Интендант осуществлял опеку администрации так же полно, как и *приоплате труда*. Самой скромной деревушке в ущельях Севенн было запрещено производить даже малейшие расходы до тех пор, пока это не было санкционировано Приказом королевского совета из Парижа. Та часть судебной администрации, которая сейчас называется во Франции *административным содержанием*, или рассмотрением спорных вопросов, переданных на рассмотрение Государственного совета, была не только не менее, но и более всеобъемлющей, чем на остальной территории Франции. Интендант решал, в первую очередь, все вопросы, связанные с общественными путями; он рассматривал все иски, связанные с дорогами; и, в общем, он высказывался по всем вопросам, в которых правительство было заинтересовано или считало себя заинтересованным. Правительство предоставляло всем своим агентам такую же защиту, как и везде, от опрометчивых судебных преследований граждан, которых они могли бы притеснять.

Чем же тогда обладал Лангедок, что отличало его от других провинций королевства и что заставляло их завидовать его учреждениям? Трех вещей было достаточно, чтобы сделать его совершенно непохожим на остальную Францию.

I. Собрание, состоящее из людей высокого положения, на которых равнялось население, которых уважала корона, к которому не мог принадлежать ни один чиновник Центральной власти, или, используя тогдашнюю фразеологию, "ни один чиновник короля", и в котором каждый год свободно и серьезно обсуждались особые интересы провинции. Сам факт того, что королевская администрация находилась рядом с этим источником света, привел к тому, что ее привилегии использовались совершенно по-другому; и хотя ее агенты и инстинкты были теми же, ее результаты ни в какой степени не походили на те, что были в других местах.

II. В Лангедоке многие общественные работы проводились за счет короля и его агентов. Были и другие общественные работы, на которые Центральное правительство выделяло средства и частично руководило исполнением, но большая их часть выполнялась только за счет провинции. Когда король одобрил план и утвердил смету на эти последние упомянутые работы, они были выполнены должностными лицами, выбранными Сословиями, и под контролем уполномоченных, назначенных из этого Собрания.

III. Наконец, провинция имела право взимать самостоятельно и по своему усмотрению часть королевских налогов и все ставки, которые устанавливались ее собственной властью для ее собственных нужд.

Давайте посмотрим, какие результаты Лангедок продолжал извлекать из этих привилегий: они заслуживают пристального внимания.

Ничто так не поражает в других частях Франции, как *платный выбор*, чем почти полное отсутствие местных сборов. Общие поборы часто были тяжелыми, но провинция ничего не тратила на себя. В Лангедоке, напротив, ежегодные расходы провинции на общественные работы были огромными; в 1780 году они превысили два миллиона ливров.

Центральное правительство иногда было встревожено столь огромными расходами. Он опасался, что провинция, измученная такими усилиями, не сможет выплатить причитающуюся государству долю налогов; он обвинял Сословия в том, что они не уменьшили эти расходы. Я прочитал документ, подготовленный Ассамблеей в ответ на эти анимадверсии: отрывки, которые я собираюсь расшифровать из него, лучше, чем все, что я мог бы сказать, передадут дух, который воодушевлял это небольшое правительство.

В этом заявлении признается, что в провинции начались и все еще продолжаются огромные общественные работы; но, отнюдь не принося никаких извинений за этот процесс, добавляется, что, несмотря на противодействие короны, эти работы будут еще более расширены и продолжены. Провинция уже улучшила или выпрямила русло основных рек на своей территории, и затем она была занята добавлением к Бургундскому каналу, прорытому при Людовике XIV, но уже недостаточному, продолжения, которое, проходя через Нижний Лангедок, должно было продолжаться по Сетте и Ажену до Роны. Порт Сетте был открыт для торговли и содержался с большими затратами. Все эти расходы носили, как было замечено, национальный, а не провинциальный характер; однако провинция, как партия, в наибольшей степени заинтересованная, взяла их на себя. Он также занимался осушением и восстановлением для сельского хозяйства болот Эг-Морт. Дороги были объектом особой

заботы: все те, что соединяли провинцию с остальной частью королевства, были открыты или приведены в надлежащий порядок; даже перекрестки между городами и деревнями Лангедока были отремонтированы. Все эти различные дороги были превосходны даже зимой и составляли наибольший контраст с твердыми, неровными и плохо построенными дорогами, которые можно было найти в большинстве соседних провинций, таких как Дофини, Керси и правительство Бордо - было отмечено, что все они *заслуживают внимания*. В этом пункте Отчет апеллирует к мнению путешественников и торговцев; и это обращение было справедливым, поскольку Артур Янг, посетивший страну десять лет спустя, отметил в своих заметках: "Лангедок, *платные услуги*: хорошие дороги, проложенные без обязательного труда".

‘Если король позволит, - продолжалось в этом Отчете, - Штаты сделают больше: они возьмутся за благоустройство перекрестков в деревнях, которые не менее интересны, чем другие. Ибо, если продукт не может быть вывезен из амбаров производителя на рынок, какая польза в том, что его можно отправлять на расстояние?’ ‘Доктрина штатов в вопросах общественных работ всегда заключалась в том, - говорят они, - что следует обращать внимание не на величие этих предприятий, а на их полезность’. Реки, каналы, дороги, которые придают ценность всем продуктам почвы и мануфактур, позволяя доставлять их в любое время и с небольшими затратами туда, где они необходимы, и посредством которых торговля может проникать в каждую часть провинции, — это вещи, которые обогащают страну, чего бы они ей ни стоили. Кроме того, работы такого рода, выполняемые в умеренных количествах в одно и то же время в различных частях страны и примерно равномерно распределяемые, поддерживают уровень заработной платы и заменяют помощь бедным. "Королю не было необходимости учреждать за свой счет благотворительные работные дома в Лангедоке, как это было сделано в других частях Франции, - с искренней гордостью заявили в провинции. - Мы не просим об этой милости; полезные работы, которые мы сами выполняем каждый год, заменяют подобные заведения и дают всему нашему народу производительный труд".

Чем больше я изучал общие правила, установленные штатами Лангедок с разрешения короля (хотя, как правило, исходящие не от короны) в той части государственного управления, которая была оставлена в их руках, тем больше я поражался мудрости, справедливости и умеренности, которые они проявляют; тем более превосходными кажутся действия местных органов власти по сравнению со всем, что я обнаружил в округах, управляемых одним королем.

Провинция была разделена на "сообщества" (города или деревни); на административные округа, называемые *епархиями*; и, наконец, на три больших департамента, называемых *управлениями*. Каждая из этих частей имела отдельное представительство и небольшое собственное правительство, которое действовало под руководством либо Сословий, либо короны. Если речь идет об общественных работах, которые интересуют одну из этих небольших политических организаций, то они должны проводиться только по просьбе заинтересованных сторон. Если благоустройство общины приносит пользу епархии, епархия вносит свой вклад в расходы в определенной пропорции. Если управляющая компания была заинтересована, управляющая компания вносила свой вклад аналогичным образом. Таким образом, опять же, все эти несколько подразделений были предназначены для оказания помощи городам, даже для завершения мероприятий, представляющих местный интерес, если они были необходимы и превышали их возможности, поскольку, как часто заявляли Штаты, "фундаментальный принцип нашей конституции заключается в том, что все части Лангедока взаимно связаны друг с другом и должны последовательно помогать друг другу".

Работы, выполняемые провинцией, должны были быть тщательно подготовлены заранее и сначала представлены на рассмотрение более мелким организациям, которые должны были внести в них свой вклад. За всех них платили: принудительный труд был неизвестен. Я заметил, что в других частях Франции — *визбирательном округе* — за землю, изъятую у ее владельцев для общественных работ, всегда плохо и с опозданием платили, а часто и вовсе не платили. Это была одна из самых серьезных жалоб, на которые жаловались Провинциальные собрания, когда они были созваны в 1787 году. В некоторых случаях возможность погашения долгов такого рода была исключена, поскольку изъятый объект был изменен или уничтожен до проведения оценки. В Лангедоке каждый дюйм земли, отнятый у ее владельца, должен был быть тщательно оценен до начала работ и оплачен в первый год их проведения.

Правила этих Поместий, касающиеся различных общественных работ, с которых скопированы эти детали, казались настолько хорошо продуманными, что даже центральное правительство восхищалось ими, хотя и не подражало им. Королевский совет, санкционировав их применение, распорядился напечатать их в Королевской типографии и разослать всем интендантам Франции в качестве документа для ознакомления.

То, что я сказал об общественных работах, *тем более* применимо к той другой не менее важной части провинциальной администрации, которая связана со сбором налогов. В этом отношении, в частности, контраст между королевством и провинциями был настолько велик, что трудно поверить, что они были частью одной и той же империи.

У меня была возможность сказать в другом месте, что методы производства, использовавшиеся в Лангедоке для исчисления и сбора *taille*, были частично такими же, какие сейчас используются во Франции при взимании государственных налогов. Я также не буду здесь возвращаться к этой теме, просто добавлю, что провинция была настолько привязана к своим собственным превосходным методам ведения дел, что, когда корона ввела новые налоги, штаты Лангедока без колебаний купили за очень высокую цену право взимать их по-своему и исключительно своими агентами.

Несмотря на все расходы, которые я последовательно перечислил, финансы Лангедока, тем не менее, были в таком хорошем состоянии, а его кредит настолько прочен, что Центральное правительство часто прибегало к нему и занимало от имени провинции суммы денег, которые не были бы предоставлены на таких выгодных условиях самому правительству. Таким образом, Лангедок занял, под свое собственное обеспечение, но на службу королю, в последние годы монархии, 73 200 000 ливров, или почти три миллиона фунтов стерлингов.

Правительство и министры короны, однако, смотрели с неодобрением на эти провинциальные свободы. Ришелье сначала искажил, а затем отменил их. Бездушный и ленивый Людовик XIII, который ничего не любил, ненавидел их; ужас, который он испытывал ко всем провинциальным привилегиям, был таков, по словам Буленвилье, что одно их название вызывало в нем гнев. Трудно выразить ненависть слабых душ к тому, что заставляет их напрягаться. Все, что в них сохранилось от мужественности, обращено в этом направлении, и они проявляют силу в своей враждебности, какими бы слабыми они ни были во всем остальном. К счастью, древняя конституция Лангедока была восстановлена при меньшинстве Людовика XIV, который, следовательно, уважал ее как свое собственное произведение. Людовик XV. приостановил его на пару лет, но потом разрешил продолжать.

Создание муниципальных учреждений для продажи подвергло конституцию провинции менее прямым, но не менее грозным опасностям. Это пагубное учреждение не только разрушало конституцию городов; оно имело тенденцию искажать конституцию провинций. Я не знаю, избирались ли когда-либо депутаты общин в провинциальных ассамблеях *ad hoc*, но, во всяком случае, они давно перестали быть таковыми; муниципальные чиновники городов были *по должности* единственными представителями горожан и народа в этих органах.

На это отсутствие прямого избирательного округа, действующего в соответствии с текущими делами, мало кто обращал внимание, пока города свободно избирали своих магистратов всеобщим голосованием и, как правило, на очень ограниченный период. Таким образом, мэр, совет или синдик представляли желания населения в Зале заседаний Сословий так верно, как если бы они были избраны своими согражданами для этой цели. Но совсем иначе обстояло дело с гражданским чиновником, купившим за деньги право управлять страной. Такой чиновник не представлял никого, кроме самого себя, или, в лучшем случае, мелких интересов или страстей своего собственного круга. Однако этот магистрат по контракту сохранил полномочия, которыми пользовались его избранные предшественники. Таким образом, характер учреждения был немедленно изменен. Дворяне и духовенство, вместо того чтобы иметь представителей народа, сидящих с ними или напротив них в Провинциальном собрании, встречали там только нескольких изолированных, робких и бессильных горожан, и, таким образом, палата общин занимала более подчиненное место в правительстве в то самое время, когда они с каждым днем становились богаче и сильнее в обществе. В Лангедоке этого не было, провинция всегда заботилась о том, чтобы скупать эти офисы так же быстро, как они были учреждены короной. Заем, выданный Штатами на эти цели только в 1773 году, составил более четырех миллионов ливров.

Другие причины еще большего могущества способствовали приданию нового духа этим древним институтам и приданию штатам Лангедок неоспоримого превосходства над штатами всех других провинций.

В этой провинции, как и на большей части юга Франции, *taille* был реальным, а не личным — иными словами, он регулировался стоимостью имущества, а не личным состоянием владельца. Некоторые земли, без сомнения, имели привилегию не платить этот налог: в прежние времена эти земли принадлежали дворянству, но с течением времени и капитала случилось так, что часть этой собственности попала в руки не дворянских владельцев. С другой стороны, дворяне стали владельцами многих земель, которые подчинялись *тайле*. Привилегией освобождения, перенесенной таким образом с людей на вещи, несомненно, злоупотребляли больше; но это меньше ощущалось, потому что, хотя все еще раздражало, это больше не было унижительно. Не будучи неразрывно связанной с идеей класса, не наделяя какой-либо класс интересами, совершенно чуждыми и противоположными интересам других классов, такая привилегия больше не была препятствием для сотрудничества всех в общественных делах. Особенно в Лангедоке, больше, чем в любой другой части Франции, все классы сотрудничали, и это на основе полного равенства.

В Бретани землевладельцы провинции имели право всем являться лично в Штаты, что делало эти Собрания в некотором роде похожими на польские сеймы. В Лангедоке дворяне избирались в штатах провинции только своими представителями: двадцать три из них представляли весь корпус. Духовенство также заседало в лице двадцати трех епископов провинции, и заслуживает

особого внимания тот факт, что города имели столько же голосов, сколько и два высших сословия.

Поскольку Ассамблея заседала в одной палате и ордена голосовались не по отдельности, а совместно, палата общин, естественно, приобрела большое значение, и ее дух постепенно проникал во все общество. Более того, три магистрата, которым под именем Генерального синдиката было поручено от имени Штатов обычное управление делами, почти всегда были юристами, то есть простолюдинами. Знать была достаточно сильна, чтобы сохранить свой ранг, но уже недостаточно сильна, чтобы править в одиночку. Духовенство, хотя и состояло в значительной степени из людей благородного происхождения, жило в прекрасных отношениях с палатой общин; они охотно принимали большинство планов этого Ордена и трудились совместно с ним над увеличением материального процветания всей общины, поощряя торговлю и мануфактуры, ставя таким образом свои собственные обширные знания о человечестве и свою исключительную ловкость в ведении дел на службу народу. Почти всегда выбирался священник для поездки в Версаль для обсуждения с министрами короны вопросов, которые иногда приводили к разногласиям между королевской властью и властью государств. Можно сказать, что на протяжении всего прошлого столетия Лангедоком управляла палата общин, которую контролировала знать и которой помогали епископы.

Благодаря этому своеобразному устройству Лангедока дух эпохи смог мирно проникнуть в этот древний институт и полностью изменить его, нисколько не разрушив.

Возможно, так было бы и везде во Франции. Небольшой доли настойчивости и усилий, которые монархи Франции употребляли для упразднения или перемещения Провинциальных поместий, было бы достаточно, чтобы усовершенствовать их таким образом и приспособить ко всем потребностям современной цивилизации, если бы у этих монархов когда-либо была какая-либо иная цель, кроме как стать и оставаться хозяевами Франции.

[Последующие главы не были включены в работу, впервые опубликованную М. де Токвилем в 1855 году. Они являются продолжением книги, оставшейся незаконченной на момент его смерти в 1859 году и опубликованной в 1865 году М. де Бомоном среди посмертных работ его друга. Сейчас они переведены впервые. Хотя их следует рассматривать как неполные, поскольку они так и не были доработаны автором окончательно, а последние части из них фрагментарны, все же, я думаю, они не недостойны того, чтобы стать частью работы, к которой они должны были принадлежать, и вызывают печальный интерес как последние размышления великого и оригинального мыслителя. Во французском тексте была предпринята попытка отличить другим шрифтом более тщательно обработанные отрывки от тех, которые состояли просто из примечаний для дальнейшей доработки. Но поскольку такое расположение нарушает единообразие текста больше, чем необходимо, я его не принял. — Х. Р.]

КНИГА III.

ГЛАВА I.

О СИЛЬНОМ И НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ВОЛНЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА В МОМЕНТ, КОГДА РАЗРАЗИЛАСЬ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

То, что я ранее сказал о Франции, применимо ко всему Континенту. В течение десяти или пятнадцати лет, предшествовавших Французской революции, человеческий разум по всей Европе был отдан на откуп странным, бессвязным и нерегулярным импульсам, симптомам новой и экстраординарной болезни, которые чрезвычайно встревожили бы мир, если бы мир их понял.

Представление о величии человека в целом, о всемогуществе его разума и безграничных возможностях его интеллекта проникло в дух того времени; однако это возвышенное представление о человечестве в целом смешивалось с безграничным презрением к эпохе, в которую жили люди, и обществу, к которому они принадлежали. Никогда еще столько смирения не соединялось с такой гордыней — гордость человечества была раздута до безумия; оценка, которую каждый человек составлял о своей эпохе и стране, была необычайно низкой.

По всему Континенту та инстинктивная привязанность и произвольное уважение, которые люди всех возрастов и всех стран обычно испытывают к своим собственным особым институтам, к своим традиционным обычаям и к мудрости или добродетелям своих предков, почти перестали существовать среди образованных классов. Не говорилось ни о чем, кроме ветхости и непоследовательности существующих институтов, пороков и коррупции существующего общества.

Следы этого состояния ума можно обнаружить во всей литературе Германии. Философия, история, поэзия и даже романы того времени полны им. Каждый продукт интеллекта был настолько отмечен им, что книги той эпохи несут на себе отпечаток, отличающий их от произведений любой другой эпохи. Все воспоминания того времени, которые породили множество мемуаров, вся переписка того времени, которая была опубликована, свидетельствуют о состоянии ума, настолько отличном от нынешнего, что ничто, кроме этого совпадения определенных и обильных свидетельств, не могло убедить нас в этом факте.

Каждая страница "Истории Восемнадцатого века" Шлоссера раскрывает это общее предчувствие того, что в состоянии человечества вот-вот произойдут великие перемены.

Джордж Форстер, один из спутников капитана Кука, к экспедиции которого он был прикреплен вместе со своим отцом в качестве естествоиспытателя, пишет Якоби в 1779 году: "Вещи не могут оставаться такими, какие они есть: об этом свидетельствуют все симптомы в мире науки, в мире теологии и в мире политики. Как бы сильно мое сердце до сих пор ни желало мира, не меньше я желаю увидеть наступление этого кризиса, на котором основаны такие могучие надежды". [85] "Европа, - снова пишет он в 1782 году, - кажется мне на пороге ужасной революции; по правде говоря, массы настолько коррумпированы, что вполне может потребоваться кровопролитие". [86] "Нынешнее состояние общества, — сказал Якоби, — представляет для меня не что иное, как вид мертвого и застойного моря: вот почему я мог бы пожелать наводнения, каким бы оно ни было, даже варваров, чтобы смести это вонючее болото и обнажить свежую почву". [87] "Мы живем посреди разрушенных институтов и форм" - чудовищного хаоса, который повсюду отражает образ отчаяния [88] и смерти". Эти вещи были написаны в красивом загородном доме,

богатыми людьми, окруженными своими друзьями-литераторами, которые проводили время в бесконечных философских дискуссиях, которые трогали, возбуждали и воспаляли их до тех пор, пока они не проливали потоки ежедневных слез - в воображении.

Не принцы, министры, правители или, короче говоря, те, кто в различных качествах руководил ходом событий, понимали, что приближаются какие-то великие перемены. Мысль о том, что правительство может стать совершенно иным, чем то, каким оно было тогда, — что все, что просуществовало так долго, может быть разрушено и заменено тем, что пока существовало только в мозгах немногих литераторов, — мысль о том, что существующий порядок вещей может быть ниспровергнут, чтобы установить новый порядок посреди беспорядка и разрухи, показалась бы им абсурдной иллюзией и фантастической мечтой. Постепенное улучшение общества казалось им пределом возможного.

Это распространенная ошибка людей, которых в обычные времена называют мудрыми и практичными, - судить по определенным правилам людей, сама цель которых состоит в том, чтобы изменить или разрушить эти правила. Когда наступает время, когда страсть берет верх в делах, убеждения опытных людей менее заслуживают внимания, чем схемы, которые будоражат воображение мечтателей.

Любопытно видеть в официальной переписке той эпохи способных и дальновидных государственных служащих, разрабатывающих свои планы, разрабатывающих свои меры и научно рассчитывающих, как они будут использовать свои полномочия в то время, когда правительства, которому они служат, законов, которые они применяют, общества, в котором они живут, и их самих больше не будет.

"Какие сцены происходят во Франции!" - пишет Иоганн Мюллер 6 августа 1789 года. [89]
"Благословенно впечатление, которое они производят на народы и их хозяев! Я знаю, что бывают крайности, но цена свободной конституции не слишком велика. Разве буря не очищает воздух лучше, чем атмосфера, зараженная, как чумой, даже если кое-где она должна поразить несколько голов?" "Какое событие, - воскликнул Фокс, - насколько оно величайшее из всех, когда-либо происходивших в мире! и насколько лучшее!" [90]

Можем ли мы удивляться, что эта концепция Революции как всеобщего восстания человечества, концепция, которая расширила и воодушевила так много маленьких и немощных душ, сразу овладела умами Франции, когда даже другие страны разделили ее? Неудивительно также, что первые эксцессы революции так мало затронули лучших патриотов Франции, когда даже иностранцы, не возбужденные борьбой и не озлобленные личными обидами, могли проявлять к ним такую снисходительность.

Пусть не думают, что такого рода отвращение к самим себе и к своему возрасту, столь странным образом охватившее почти всех жителей европейского континента, было поверхностным или преходящим чувством.

Десять лет спустя, когда Французская революция вызвала в Германии всевозможные насильственные преобразования, сопровождавшиеся смертью и разрушениями, даже тогда один из тех немцев, в ком энтузиазм по отношению к Франции превратился в горькую ненависть, восклицает, вспоминая прошлое, в доверительных излияниях: "Того, что было, больше нет. Какое новое здание воздвигнется на руинах, я не знаю. Но я знаю одно: было бы величайшим бедствием, если бы эта грандиозная эпоха снова породила апатию и изношенные

формы прошлого". "Да, - ответил человек, которому были адресованы эти слова, - старое общественное тело должно погибнуть". [91]

Годы, предшествовавшие Французской революции, были почти во всех частях Европы годами великого национального процветания. Полезные искусства повсеместно культивировались в большей степени. Вкус к удовольствиям, которые следуют за изобилием, был более рассеянным. Промышленность и торговля, которые удовлетворяли эти потребности, совершенствовались и распространялись. Казалось, что по мере того, как жизнь человека становилась все более насыщенной и чувственной, человеческий разум терял из виду те абстрактные исследования, которые охватывают общество, и все больше сосредотачивался на мелких заботах повседневной жизни. Но произошло обратное. По всей Европе, почти в той же степени, что и во Франции, все образованные классы были погружены в философские дискуссии и догматические теории. Даже в местах, обычно наиболее удаленных от спекуляций подобного рода, с энтузиазмом применялся один и тот же ход аргументации. В большинстве торговых городов Германии, в Гамбурге, Любеке и Данциге, торговцы и фабриканты встречались после дневных трудов, чтобы обсудить между собой великие вопросы, которые влияют на существование, условия и счастье человека. Даже женщины, занятые своими мелкими домашними заботами, иногда отвлекались на эти загадки жизни. "Мы думали, - говорит Пертес, - что, достигнув высокого уровня просветления, человек может стать совершенным".

‘Der König sey der beste Mann, sonst sey der bessere König,’

сказал поэт Клавдий.

Этот период также породил новую страсть, воплощенную в новом слове —*космополитизм*, — которая должна была поглотить патриотизм. Казалось, что все классы были склонны при любой возможности ускользнуть от забот о своих частных делах, чтобы посвятить себя великим интересам человечества.

Поскольку во Франции любовь к литературе занимала большое место даже в самые напряженные времена, публикация новой книги вызвала интерес как в самых маленьких, так и в крупных городах. Все было предметом исследования; все было источником эмоций. Сокровища страсти, казалось, скопились в каждой груди, которая искала лишь повода вырваться наружу.

Таким образом, путешественник, совершивший кругосветное путешествие, был объектом всеобщего внимания. Когда Форстер отправился в Германию в 1774 году, его приняли с энтузиазмом. Не город, но устроил ему овацию. Вокруг него толпились люди, чтобы услышать о его приключениях из его собственных уст, но еще больше - чтобы услышать, как он описывает неизвестные страны, которые посетил, и странные обычаи людей, среди которых он жил. Разве их дикая простота не была ценнее всех наших богатств и нашего искусства; разве их инстинкты не были выше наших добродетелей? [92]

Некий лишенный сана лютеранский священник, некто Базидов, невежественный, сварливый и пьяница, карикатура на Лютера, выдвинул идею новой системы школ, которая, по его словам, должна была изменить идеи и нравы его соотечественников. Он изложил свой план грубым и невосдержанным языком. Целью, как он позаботился объявить, было не только возрождение Германии, но и всего человечества. С этого момента вся Германия приходит в движение. Принцы, знать, простые люди, большие и невеликие города поддерживают великого новатора. Знатные лорды и леди пишут Базидову, чтобы спросить его совета. Матери семейств передают

его книги в руки своих детей. Старые школы, основанные Меланхтоном, брошены. Колледж, предназначенный для обучения этих реформаторов человечества, основан под названием 'Филантроп', вспыхивает на мгновение и исчезает. Энтузиазм спадает, оставляя за собой замешательство и сомнения.

Истинный дух той эпохи заключался в том, чтобы отвергать любую форму мистицизма и во всем цепляться за доказательства, наиболее осязаемые для понимания. Тем не менее, в этом сильном смятении ума люди, еще не зная, с какой стороны смотреть, внезапно обращаются к сверхъестественному. Накануне Французской революции Европа была покрыта странными братствами и тайными обществами, которые лишь возрождали под новыми названиями давно забытые заблуждения. Таковы были доктрины Сведенборга, мартинистов, вольных каменщиков, иллюминатов, розенкрейцеров, последователей Строгого Воздержания, месмеристов и многих других разновидностей подобных сект. Многие из этих сект изначально думали лишь о личной выгоде своих членов. Но теперь все они стремились вершить судьбы человечества. Большинство из них на момент своего рождения были всецело философскими или религиозными; теперь все сразу обратились к политике и были поглощены ею. Все они разными средствами предлагали осуществить возрождение общества и реформу правительств. Особенно стоит отметить, что это чувство беспокойства, это смятение человеческого разума, которое я описываю, не проявлялось в низших классах, которые, тем не менее, несли бремя существующих злоупотреблений. Эти классы были по-прежнему неподвижны и инертны. Не бедняк, а богач метался в этом лихорадочном состоянии: движение опустилось не ниже верхушки средних классов. В наши дни тайные общества заполнены бедными рабочими, неизвестными ремесленниками или невежественными крестьянами. В то время, о котором я говорю, они состояли исключительно из принцев, крупной знати, капиталистов, купцов и литераторов.

Когда в 1786 году секретные документы иллюминатов были изъяты из рук их главных руководителей, среди них было найдено множество анархических документов, в которых личная собственность осуждалась как источник всего зла и превозносилось абсолютное равенство условий. В архивах той же секты был найден список адептов. Она полностью состояла из самых выдающихся имен Германии, принцев, знатных людей и министров: основатель секты сам был профессором канонического права. Король Польши и принц Фридрих Прусский были розенкрейцерами. Новый король Пруссии, только что сменивший на троне Фридриха Великого, немедленно послал за ведущими розенкрейцерами и поручил им важные миссии. [93] "Утверждается, - говорит Мунье [94] в своих книгах об этих сектах, "что несколько великих личностей Франции и Германии, некоторые из которых были Протестанты, принявшие постриг, чтобы быть принятыми в секту Строгого соблюдения."

Еще одна вещь, заслуживающая внимания: это было время, когда науки дискредитировали чудесное, поскольку они стали более позитивными и более достоверными — когда необъяснимое легко принималось за ложное, и когда разум во всем претендовал на то, чтобы заменить авторитет, реальность воображаемой и веру в свободное исследование: тем не менее, ни одна из сект, о которых я только что упомянул, не имела какой-либо точки соприкосновения со сверхъестественным; все они заканчивались каким-нибудь фантастическим выводом. Некоторые из них были проникнуты мистическими представлениями; другие воображали, что открыли секрет изменения некоторых законов природы. В тот момент любой вид энтузиазма мог сойти за науку, каждый мечтатель мог найти слушателей, каждый самозванец мог найти

верующих: нет ничего более характерного для растерянного и взволнованного состояния человеческих умов, мечущихся взад и вперед, подобно заблудшему путнику, который сбился с пути и который, вместо того чтобы двигаться вперед, возвращается по своим собственным следам. И не обычная толпа людей стояла во главе этих сумасбродств; литераторы, образованные люди верили в алхимию, в видимое действие демона, в трансмутацию металлов, в появление призраков. Станный пример веры во все формы абсурда, растущей на фоне упадка религиозных убеждений, когда люди верят во всякое невидимое и сверхъестественное влияние, кроме влияния Бога!

Эти шарлатаны были предметом особого восхищения монархов. Форстер пишет своему отцу из Касселя в 1782 году: 'Здесь находится старая французская авантюристка, которая дарит ландграфу спиртные напитки и получает 150 луидоров. Он достаточно тщеславен, чтобы думать, что дьявол может взять на себя труд искушать его лично. С ней еще один француз, который изгоняет злых духов из страждущих' и т.д. и т.п. Великие монархи имели при своих дворах шарлатанов высшей пробы — Калиостро, графа де Сен-Жермена или Месмера; маленькие принцы были вынуждены мириться, за неимением лучшего, с нелепыми маленькими обманщиками.

Облик этого общества, тем не менее, был одним из самых впечатляющих, которые когда-либо были представлены миру, несмотря на ошибки и безумства того времени. Никогда человечество не гордилось собой так сильно, как в этот момент, ибо ни в какой другой момент, с самого рождения, на протяжении всех веков, человек не верил в свое собственное всемогущество. Вся Европа напоминала лагерь, просыпающийся на рассвете, сначала суевающийся в разных направлениях, пока восходящее солнце не укажет предначертанный путь и не осветит дорогу марша. Увы! как мало те, кто приходит к концу великой революции, похожи на тех, кто ее начинает, — полных возвышенных надежд, великодушных замыслов, запасов энергии, которые они готовы излить, благородных заблуждений, бескорыстной бескорыстности. Многие современные авторы, неспособные разглядеть общие причины, вызвавшие странное разрушение общества, свидетелями которого они были, приписывали это заговору тайных обществ. [95] Как будто какой-либо частный заговор мог когда-либо объяснить движение такой глубины и столь разрушительное для человеческих институтов. Тайные общества, конечно, не были причиной Революции, но их следует рассматривать как один из наиболее заметных признаков ее приближения.

Это были не единственные признаки.

Было бы ошибкой предполагать, что американскую революцию приветствовали с горячим сочувствием только во Франции: шум о ней разнесся по всей Европе: повсюду на нее смотрели как на маяк. Стеффенс, который пятьдесят лет спустя принимал столь активное участие в натравливании Германии на Францию, рассказывает в своих Воспоминаниях, что в раннем детстве первым, что его волновало, было дело независимости Америки.

‘Я до сих пор живо помню, - говорит он, ‘ что произошло в Эльсиноре и на рейде в тот день, когда был подписан мир, обеспечивший торжество свободы. День был погожий; рейд был полон людей всех наций. Мы с нетерпением ожидали самого рассвета. Все корабли были одеты — мачты украшены вымпелами, все увешано флагами; погода стояла безветренная, ветра было достаточно, чтобы заставить развеваться на ветру веселые полотнища; грохот пушек, приветственные крики экипажей на палубе довершали праздничный характер дня. Мой отец

пригласил к себе за стол нескольких друзей; они выпили за победу американцев и триумф народного дела, в то время как к их ликованию примешивалось смутное предчувствие того, что результатом этого триумфа станут великие события. Это был яркий и ободряющий рассвет кровавого дня. Мой отец стремился привить нам любовь к политической свободе. Вопреки заведенному в доме порядку, он пригласил нас к столу, где объяснил важность события, свидетелями которого мы стали, и предложил выпить с ним и его гостями за благополучие нового содружества. [96]

Из людей, которые в каждом уголке старой Европы были так взволнованы деяниями маленькой общины в Новом Свете, ни один до конца не понимал глубокой и тайной причины своего волнения, но все слышали сигнал в этом отдаленном звуке. Что это возвестило, до сих пор неизвестно. Это был глас Иоанна, вопиющего в пустыне о том, что новые времена близки.

Не стремитесь приписывать этим фактам, о которых я рассказываю, какую-либо особую причину: все они были разными симптомами одной и той же социальной болезни. Со всех сторон старые институты и старые власти больше не соответствовали точно новым условиям и новым потребностям человека. Отсюда то странное беспокойство, которое заставляло даже великих и светских людей считать свое собственное состояние жизни невыносимым. Отсюда и эта всеобщая жажда перемен, которая пришла непрошеной в каждый разум, хотя никто еще не знал, как можно добиться этих перемен. Внутренний и спонтанный импульс, казалось, сразу потряс всю ткань общества и до основания нарушил идеи и привычки каждого человека. Сдержаться было невозможно, и все же никто не знал, на чью сторону они склонятся; и вся Европа находилась в состоянии огромной массы, которая колеблется, прежде чем упасть.

ГЛАВА II.

КАК ЭТО СМУТНОЕ ВОЛНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА ВНЕЗАПНО ПРЕВРАТИЛОСЬ ВО ФРАНЦИИ В НАСТОЯЩУЮ СТРАСТЬ И КАКУЮ ФОРМУ ЭТА СТРАСТЬ ПРИНЯЛА ПОНАЧАЛУ.

В 1787 году это смутное возмущение человеческого разума, которое я только что описал и которое в течение некоторого времени волновало всю Европу без какого-либо точного направления, внезапно превратилось во Франции в активную страсть, направленную на положительный объект. Но, как ни странно, Французская революция должна была достичь не этой цели, и люди, которые первыми и наиболее остро пострадали от этой новой страсти, были именно теми, кого Революции предстояло поглотить.

Поначалу, действительно, искали не столько равенства прав, сколько политической свободы; и французы, которые сами первыми пришли в движение и которые привели общество в движение, принадлежали не к низшему, а к высшему разряду. Прежде чем оно дошло до народа, это новорожденное отвращение к абсолютной и деспотической власти вспыхнуло среди знати, духовенства, магистратуры, наиболее привилегированного среднего класса, короче говоря, среди тех, кто, стоя ближе всех в государстве к хозяину, имел больше других средств сопротивления ему и надежды разделить его власть.

Но почему ненависть к деспотизму была первым симптомом? Не потому ли, что в этом состоянии всеобщего недовольства общей почвой, на которой легче всего было договориться, была война против политической власти, которая либо одинаково угнетала всех, либо поддерживала то, чем все были угнетены; и потому, что знатные и богатые находили в свободе единственный способ выразить это недовольство, которое они испытывали больше, чем какой-либо другой класс?

Я не буду рассказывать, как Людовик XVI. финансовые соображения побудили его созвать вокруг себя собрание представителей знати, духовенства и высших чинов палаты общин и представить этому собранию "Знати" положение дел. Я обсуждаю историю, а не пересказываю ее. Хорошо известно, что это собрание, собравшееся в Версале 22 февраля 1787 года, состояло из девяти пэров Франции, двадцати дворян, восьми тайных советников, четырех судебных приставов, десяти маршалов Франции, тринадцати архиепископов или епископов, восемнадцати главных судей, двадцати двух муниципальных служащих разных городов, двенадцати депутатов провинций, сохранивших свои поместья, и некоторых других магистратов - всего от 125 до 130 членов. [97] Генрих IV. однажды он уже использовал те же средства, чтобы отложить заседание Генеральных штатов и получить без них своего рода общественную санкцию на свои меры, но времена изменились. В 1596 году Франция завершала долгую революцию, утомленная собственными усилиями и не доверяющая своим силам, не ищущая ничего, кроме отдыха, и требующая от своих правителей не более чем внешнего почтения. Знаменитости без труда заставили ее забыть Генеральные штаты. Но в 1787 году они лишь оживили воспоминание о них в ее памяти. В царствование Генриха IV эти принцы, эти дворяне, эти епископы, эти богатые простолюдины, которых вызывали давать советы королю, все еще были хозяевами общества. Следовательно, они могли контролировать движение, которое сами же и запустили. При Людовике XVI. в 1787 году те же самые классы сохранили только внешние проявления власти. Мы видели, что суть ее была потеряна для них навсегда. Они были, так сказать, полыми телами, звучащими, но легко раздавливаемыми: все еще способными возбуждать людей, неспособными направлять их.

Эта великая перемена произошла незаметно. Никто не воспринял ее ясно. Те, кого она затронула больше всего, не знали, что она произошла. Даже их противники сомневались в этом. Вся нация так долго жила отдельно от своих собственных забот, что имела лишь смутное представление о своем положении. Все зло, от которого она страдала, казалось, слилось в духе оппозиции и неприязни к существующему правительству. Как только знатные люди были собраны, они, забыв, что они были назначенцами государя, избранными им для того, чтобы давать свои советы, а не предписания, приступили к действиям как представители страны. Они требовали публичной отчетности, они осуждали действия правительства, они нападали на большинство мер, осуществлению которых их просто просили способствовать. К ним обратились за помощью: они высказали свое несогласие.

Общественное мнение мгновенно встало на их сторону и всем своим весом склонилось на их сторону. Затем мы стали свидетелями странного зрелища: правительство, предлагающее меры, благоприятные для народа, не переставая быть непопулярным, и Собрание, сопротивляющееся этим мерам при поддержке общественного благоволения.

Таким образом, правительство предложило реформировать налог на соль (*la gabelle*), который так сильно и часто так жестоко давил на людей. Это отменило бы принудительный труд,

реформировало *налоговую систему*, и упразднило *двадцатки*, разновидность налога, от которого высшие классы продолжали освобождать себя. Вместо этих налогов, которые должны были быть отменены или реформированы, должен был быть введен поземельный налог на той же основе, которая с тех пор легла в основу поземельного налога Франции, а таможи, которые налагали серьезные ограничения на торговлю и промышленность, должны были быть перенесены на границу королевства. Рядом с интендантами, управлявшими каждой провинцией, и почти вместо них должен был быть учрежден выборный орган, наделенный полномочиями не только наблюдать за ведением государственных дел, но, в большинстве случаев, направлять их. Все эти меры соответствовали духу времени. Знатные люди сопротивлялись им или откладывали их. Тем не менее, правительство оставалось непопулярным, и знатные люди пользовались поддержкой общественности.

Опасаясь, что его не поняли, министр Калонн объяснил в публичном документе, что действие новых законов будет заключаться в освобождении людей от части налогов и перекладывании этой части на плечи богатых. Это было правдой, но министр все еще был непопулярен. 'Духовенство, - сказал он в другом месте, - прежде всего граждане и подданные. Они должны платить налоги, как и все остальные. Если у духовенства есть долги, часть их имущества должна быть продана, чтобы расплатиться с ними'. Это снова было направлено на один из самых болезненных моментов общественного мнения: этот вопрос был затронут, но общественность осталась равнодушной.

По вопросу о реформе *taille*, нотабли выступили против нее на том основании, что она не могла облегчить участь тех, кто ее платил, не налагая чрезмерного бремени на других налогоплательщиков, особенно на дворянство и духовенство, *чьи привилегии в отношении налогообложения уже были сведены почти к нулю*. Против отмены внутренних таможен категорически возражали из-за привилегий некоторых провинций, к которым следовало относиться с большой снисходительностью.

Они в принципе высоко оценили создание провинциальных ассамблей. Но они желали, чтобы вместо объединения трех Сословий в эти небольшие местные органы, они были разделены и всегда возглавлялись дворянином или прелатом, поскольку, по словам некоторых Комитетов знати, "эти собрания стремились бы к демократии, если бы ими не руководили высшие светила первого Порядка".

Тем не менее популярность the Notables оставалась непоколебимой до конца: более того, она постоянно возрастала. Им аплодировали, подстрекали, поощряли, а когда они оказали сопротивление правительству, их громко приветствовали атакой. Король, поспешив отпустить их, счел себя обязанным публично поблагодарить их.

Говорят, что многие из этих людей были поражены такой степенью общественного благоволения и внезапной властью. Они были бы гораздо больше удивлены, если бы могли предвидеть то, что должно было последовать: если бы они знали, что те же самые законы, которым они сопротивлялись под столь бурные аплодисменты публики, были основаны на тех самых принципах, которым суждено было восторжествовать в Революции; что традиционные институты, которые они противопоставляли нововведениям правительства, были именно теми институтами, которые Революция собиралась разрушить.

Причиной популярности этих знаменитостей была не форма их оппозиции, а сама оппозиция. Они критиковали злоупотребления правительства; они осуждали его расточительность; они требовали отчета в его расходах; они говорили о конституционных законах страны, об основных принципах, ограничивающих неограниченную власть короны, и, не требуя конкретно участия нации в управлении со стороны Генеральных штатов, они постоянно выдвигали эту идею. Этого было достаточно.

Правительство уже давно страдало от болезни, которая является эндемической и неизлечимой болезнью властей, взявших на себя обязательство приказывать, предвидеть, делать все. Она взяла на себя всеобщую ответственность. Как бы ни расходились люди в основаниях своих жалоб, они сходились в том, что обвиняли общий источник их возникновения; то, что до сих пор было не более чем общей склонностью ума, затем превратилось во всеобщую и безудержную страсть. Все тайные язвы, вызванные ежедневным контактом с обветшалыми институтами, которые раздражали как нравы, так и общественное мнение в тысячах мест, — вся подавляемая вражда, поддерживаемая разделением на классы, оспариванием позиций, абсурдными или деспотичными различиями, восстала против верховной власти. Долго искали они путь к дневному свету: как только этот путь открылся, они бросились по нему вслепую. Это не был их естественный путь, но он был первым, который они нашли открытым. Ненависть к произволу власти стала тогда их единственной страстью, а правительство - их общим врагом.

ГЛАВА III.

КАК ПАРЛАМЕНТЫ ФРАНЦИИ, СЛЕДУЯ ПРЕЦЕДЕНТУ, СВЕРГЛИ МОНАРХИЮ.

Феодальное правление, руины которого все еще укрывали нацию, было правлением, в котором сочетались произвол, насилие и великая свобода. Согласно его законам, если действия часто были ограничены, речь обычно была независимой и смелой. Законодательная власть осуществлялась королями, но никогда бесконтрольно. Когда великие политические собрания Франции прекратили свое существование, парламенты в некотором роде заняли их место; и прежде чем они зарегистрировали в кодексе, регулирующем их судопроизводство, новый закон, изданный королем, они изложили государю свои возражения и довели до его сведения свое мнение.

Было проведено много исследований относительно первопричины этой узурпации законодательной власти судебной властью. Тщетно искать это происхождение где-либо еще, кроме как в общих нравах того времени, которые не могли терпеть или даже представить себе власть настолько абсолютную и тайную, что, по крайней мере, не допускали обсуждения условий подчинения. Этот институт ни в коей мере не был преднамеренным. Он возник спонтанно из самых корней господствовавших тогда идей и обычаев, как подданных, так и королей.

Эдикт, прежде чем он был введен в силу, был направлен в парламент. Агенты короны объяснили его принципы и достоинства; магистраты обсудили его. Все это делалось публично, в открытых дебатах, с той мужественностью, которая характеризовала все институты Средневековья. Часто случалось, что парламент несколько раз посылал депутатов к королю с просьбой изменить или

отозвать тот или иной эдикт. Если король приезжал лично, он позволял обсуждать свой собственный закон с живостью, иногда с применением насилия, в его присутствии. Но когда, наконец, его воля была обнародована, все погрузилось в молчание и повиновение, ибо магистратура признала, что они были не более чем первыми должностными лицами и представителями государя; их обязанностью было давать советы, но не принуждать его.

В 1787 году древние прецеденты монархии были неукоснительно соблюдены. Старая машина королевского правления снова была приведена в движение, но стало очевидно, что эта машина приводится в движение какой-то новой движущей силой неизвестного вида, которая, вместо того чтобы заставить ее двигаться дальше, вот-вот разорвет ее на куски.

Затем король, согласно обычаю, распорядился передать новые эдикты в парламент, и парламент, также согласно обычаю, выразил свой смиренный протест у ступеней трона. [98]

Король ответил, а парламенты настаивали. Веками все шло таким образом, и нация время от времени слышала, как над ее головой велся подобного рода политический диалог между сувереном и его должностными лицами. Эта практика была прервана только во время правления Людовика XIV. и на какое-то время. Но новизна заключалась в предмете дебатов и характере аргументов.

На этот раз парламент, прежде чем приступить к регистрации указов, запросил все счета финансового департамента, которые мы теперь должны называть бюджетом штата, в поддержку этих мер; и поскольку король, естественно, отказался передать все правительство безответственному и неизбранному органу и, таким образом, разделить законодательную власть с Судом, парламент тогда заявил, что только нация имеет право повышать новые налоги, [99] и в этой связи потребовал созыва нации. Парламент затронул самое сердце народа, но удержал его лишь на мгновение.

Аргументы, выдвинутые магистратурой в поддержку своих требований, были не менее новыми, чем сами требования. Король, говорили они, был всего лишь администратором, а не владельцем общественного состояния: представителем и главным должностным лицом нации, а не ее хозяином. Суверенитет принадлежит самой нации. Только нация могла решать великие вопросы: ее права не зависели от воли суверена; они черпали свое существование из природы человека; они были столь же неотъемлемы и нерушимы, как сама природа человека.

"Учреждение Генеральных штатов, - заявляли они, - это принцип, основанный на правах человека и подтверждаемый разумом". [100] "Общие интересы объединили людей в обществе и породили правительства: только это может их поддерживать". [101] "Никакие предписания Генеральных Штатов не могут противоречить природе вещей или непреходящие права нации". [102] "Общественное мнение редко ошибается: редко бывает, чтобы люди получали впечатления, противоречащие истине". [103]

Король изгнал парламент из Парижа, и этот орган протестовал против того, что свобода слова и действий является неотъемлемым правом человека и не может быть отнята у него без тирании, за исключением обычных форм судебной процедуры.

Не следует предполагать, что парламенты заявляли об этих принципах как о новшествах: [104] напротив, они были очень старательно прослежены вплоть до колыбели монархии. Решения

или декреты парижского парламента были напичканы историческими цитатами, часто заимствованными из средневековья, на варварской латыни. Они полны провинциальных капитуляций, королевских указов, судебных инстанций, правил, привилегий и прецедентов, которые затерялись в тени прошлого.

Как ни странно, в тот самый момент, когда парламент Франш-Конте провозгласил нерушимые права нации, он выразил протест против любого нарушения особых привилегий провинции, существовавших в период аннексии при Людовике XIV. Итак, парламент Нормандии снова призвал Генеральные штаты королевства "установить новый порядок вещей", но тем не менее он требовал, во имя своих собственных феодальных традиций, восстановления Штатов Нормандии как особой привилегии этой провинции: так любопытно, что идеи, только что родившиеся в мире, были заключены и окутаны этими остатками древности.

По традиции старой монархии парламент должен был использовать в своих протестах оживленные и почти жестокие выражения: ему допускалось определенное преувеличение слов. Самые абсолютные монархи терпели эту вольность высказываний, на самом деле, по причине бессилия тех, кто ее произносил: поскольку они были уверены, что в конце концов будут приведены к повиновению и заключены в узкие рамки, им охотно предоставлялось позволение свободно высказываться. Более того, парламент имел обыкновение поднимать много шума ради небольшого результата: то, что он сказал, выходило за рамки того, что он имел в виду: это избирательное право стало своего рода правом магистратуры.

В этом случае парламент довел их древнюю свободу до такой степени распущенности, о которой они никогда прежде не слышали; ибо новорожденный огонь горел в их сердцах и бессознательно воспламенял их речь. Конечно, среди правительств нашего времени, которые, тем не менее, почти все являются правительствами, поддерживаемыми мечом, ни одно не могло допустить, чтобы его министры и его меры подвергались нападкам в таких выражениях со стороны представителей его собственной власти.

‘Деспотизм, сир, ‘ заявил парижский парламент, - заменяет законы королевства, а магистратура - не более чем инструмент произвола власти.... Хотел бы, чтобы Ваше величество могли допросить жертв этой власти, заключенных всеми забытыми в неприступные тюрьмы, обитель молчания и несправедливости; тех, кого интриги, алчность, властолюбие, жажда мести, страх или ненависть к правосудию, личная обида или личное удобство заставили оказаться там’. Затем, проводя параллель между двумя гражданами, одним богатым, а другим бедным, причем последний подвергается угнетению со стороны первого, парламент добавил— ‘Является ли тогда бедность преступлением? У плоти и крови нет претензий? Перестает ли человек без кредита или бедняк быть гражданином?"

Особенно в вопросах налогообложения и против сборщиков доходов судебные органы даже в самые спокойные времена привыкли выступать с крайней жестокостью. Как только был объявлен новый налог, парламент Парижа объявил его катастрофическим; предложение вызвало ужас; его принятие вызвало бы всеобщий траур. [105] Население, измученное налоговыми поборами, было в растерянности. [106] Присвоить себе право взимать дань без участия Генеральных штатов означало бы громко заявить, что суверен стремится быть не королем Франции, а королем крепостных. [107] Сущность народа стала добычей алчности придворных и алчности подрядчиков. [108]

Каким бы великим ни было волнение того времени, все равно было бы очень трудно объяснить язык этих судей, не вспомнив, что было сказано так много раз ранее по тому же вопросу. Как и при старой монархии, большая часть налогов взималась за счет частных лиц, которые держали их на фермах, или их агентов; за прошедшие столетия люди привыкли смотреть на налогообложение так, как оно отражалось на личном доходе определенных лиц, а не на общем доходе нации. Налоги обычно осуждались как *омерзительные поборы*. Пошлину на соль называли *адской машиной габелле*: о тех, кто собирал налоги, говорили как о грабителях общества, обогащающихся за счет бедности всех остальных. Так говорили налогоплательщики; суды придерживались того же языка; и даже правительство, которое передало в аренду этим самым фермерам права, которыми они пользовались, едва ли говорило о них иначе. Казалось, что их бизнес был не его собственным, и что он искал способ сбежать среди шума, который преследовал его собственных агентов.

Следовательно, когда парижский парламент высказывался подобным образом по вопросу о налогах, он просто следовал старой и общепринятой практике. Пьеса была та же, но аудитория изменилась; и шум, вместо того чтобы утихнуть, как это обычно происходило в пределах классов, которые из-за их привилегий лишь незначительно пострадали от налогообложения, теперь был таким громким и повторялся так часто, что он проник в те классы, которые несли самое тяжелое бремя, и вскоре наполнил их негодованием.

Если парламент использовал новые аргументы для отстаивания своих собственных прав, то правительство использовало аргументы не менее новые в защиту своих древних прерогатив. Например, в брошюре, приписываемой Суду и появившейся примерно в то же время, встречается следующий отрывок: "Это вопрос *о привилегиях*, который волнует парламент. Они хотят сохранить свое освобождение от налогов; это не что иное, как устрашающая комбинация благородства меча и мантии, позволяющая продолжать под флагом свободы унижать и поработать простых людей, которых защищает только король и которые намереваются возвысить". [109]

"Моей целью было, - сказал Калонн, - уничтожить гидру привилегий, изъятий и злоупотреблений". [110]

Однако, пока шли эти обсуждения принципа управления, повседневная работа администрации грозила прекратиться: не было денег. Парламент отклонил меры, касающиеся налогообложения. Оно отказалось санкционировать заем. В этом затруднительном положении король, видя, что ему не удастся одержать верх над Собранием, попытался принудить его. Он спустился в Палату и, прежде чем приступить к их подчинению, не столько стремясь воспользоваться своими правами, сколько утвердить их, приказал еще раз обсудить Эдикты в своем присутствии. Он начал с утверждения, что его власть абсолютна. Законодательная власть в полной мере находилась в его руках. Ему не требовалось никаких чрезвычайных полномочий для руководства правительством. Генеральные штаты, когда он решал проконсультироваться с ними, могли давать только мягкие советы; он по-прежнему был верховным арбитром в их представлениях и жалобах. Это заседание состоялось 19 ноября 1787 года. Сказав так много, каждому было позволено высказаться в его присутствии. В ходе восьмичасовой дискуссии ему в лицо были выдвинуты самые противоположные и часто резкие предложения; после чего он

удалился, заявив в качестве своего последнего слова, что отказывается созывать Генеральные штаты в настоящее время, хотя и обещал их созвать на 1791 год.

И все же, после того, как он таким образом допустил, чтобы его наиболее признанные и наименее грозные права оспаривались в его собственном присутствии, король решил возобновить осуществление тех, которые были наиболее спорными и непопулярными. Его собственный поступок открыл рот ораторам, но он стремился наказать их за то, что они высказались. В одном из своих протестов парижский парламент заявил: "Сир, французская монархия была бы низведена до состояния деспотизма, если бы под властью короля министры могли распоряжаться личной свободой посредством *официальных документов*, а правами собственности - посредством *судебных актов*, гражданскими и уголовными делами - посредством *scire facias*, [111] и самой судебной системы путем частичного изгнания или произвольного перевода судей".

На что король ответил: 'Если большее количество голосов в моих Судах сможет ограничить мою волю, монархия превратится в простую магистратскую аристократию'. "Сир, - возразил парламент, - во Франции нет аристократии, но нет и деспотизма". [112]

Два человека в ходе этой борьбы особенно отличились смелостью своих речей и революционным настроением: это были г-н Гойслар и г-н д'Эпремениль. Было решено арестовать их. Затем произошла сцена, так сказать, прелюдия к великой трагедии, которая должна была последовать, хорошо рассчитанная на то, чтобы показать покладистое правительство под маской тирании.

Узнав о принятом против них решении, эти два магистрата покинули свои дома и укрылись в самом парламенте в полном облачении своего Ордена, где они затерялись среди толпы судей, составлявших этот великий орган. Дворец правосудия был окружен войсками, а двери охранялись. Виконт д'Агу, командовавший ими, появился в большом Зале один. Весь парламент был в сборе и заседал в самой торжественной форме. Количество судей, почтенная древность Суда, достоинство их одежды, простота их поведения, степень их власти, величие самого зала, заполненного всеми памятниками нашей истории, - все это способствовало тому, что парламент стал величайшим и наиболее почитаемым учреждением во Франции после трона.

В присутствии такого Собрания офицер сначала вытаращил глаза. Его спросили, кто его туда послал. Он отвечал грубо, но смущенно и потребовал, чтобы ему указали на двух депутатов, которых ему приказали арестовать. Парламент сидел неподвижно и молчал. Офицер удалился— снова вошел, затем снова удалился; парламент по-прежнему оставался неподвижным и безмолвным, не сопротивляясь и не уступая. В это время года дни самые короткие. Наступила ночь. Войска разожгли костры на подступах к Дворцу, как вокруг осажденного форта. Чернь, пораженная столь необычным зрелищем, окружила их толпами, но стояла в стороне: чернь была тронута, но еще не взволнована, и поэтому стояла в стороне, созерцая при свете этих бивуачных костров сцену, столь новую и непривычную при монархии. Ибо там можно было увидеть, как старейшее правительство Европы приложило все усилия, чтобы научить людей возмущать величие старейших институтов и посягать в их святилище на самую величественную из древних держав.

Это продолжалось до полуночи, когда Д'Эпремениль наконец поднялся. Он поблагодарил парламент за усилия, предпринятые для его спасения. Он отказался и дальше злоупотреблять великодушным сочувствием своих коллег. Он поручил содружество и своих детей их заботам и, спустившись по ступеням суда, сдался офицеру. Казалось, что он покидает это собрание, чтобы взойти на эшафот. Действительно, однажды ему предстояло взойти на эшафот, но это было в другие времена и при других силах. Единственный живой свидетель этой странной сцены, герцог Паскье, сказал мне, что при этих словах Д'Эпремениля все Собрание разразилось слезами, как будто это Регулус вышел из Рима, чтобы вернуться к ужасной смерти, которая ожидала его в Карфагене. Маршал де Ноай громко зарыдал. Увы! сколько слез вскоре было пролито по поводу горя более возвышенного, чем это. Такое горе, без сомнения, было преувеличенным, но не нереальным. В начале революции живость эмоций значительно превышает важность событий, в то время как в конце революций она не дотягивает до них.

Таким образом, был нанесен удар по всему корпусу парламентов, представленных их главой, оставалось только уничтожить их власть. Одновременно было опубликовано шесть указов. [113] Эти эдикты, взбудоражившие всю Францию, были призваны осуществить несколько наиболее важных и полезных реформ, которые с тех пор осуществила Революция: разделение законодательной и судебной властей, упразднение исключительных судов и установление всех принципов, которые по сей день управляют судебной организацией Франции, как гражданской, так и уголовной. Все эти реформы были задуманы в истинном духе эпохи и отвечали реальным и долговременным потребностям общества. Но, поскольку они были направлены против привилегированной юрисдикции парламентов, они низвергли идола времени и исходили от власти, которую ненавидели. Этого было достаточно. В глазах нации эти новые указы были триумфом абсолютного правления. Еще не пришло время, когда демократия может все простить деспотизму в обмен на порядок и равенство. В одно мгновение нация восстала. Каждый парламент сразу становился очагом сопротивления, вокруг которого группировались ордена провинции, чтобы создать твердый фронт для действий центральной власти.

Франция в то время, как хорошо известно, была разделена на тринадцать судебных провинций, каждая из которых подчинялась парламенту. Все эти парламенты были абсолютно независимы друг от друга, все они обладали равными прерогативами, все они были наделены одинаковым правом обсуждать мандаты законодателя перед их представлением. Оглядываясь назад, на то время, когда было основано большинство этих судов, можно увидеть, что такая организация была естественной. Разные части Франции были настолько непохожи по своим интересам, характеру, обычаям и манерам, что одно и то же законодательство не могло применяться ко всем из них сразу. Поскольку для каждой провинции обычно принимался отдельный закон, было естественно, что в каждой провинции должен был быть парламент, обязанностью которого было проверять этот закон. В более поздние времена, когда французы стали более схожими, одного закона было достаточно для всех, но право проверять закон оставалось разделенным.

Королевский эдикт, в равной степени распространяющийся на всю Францию, после того как он был принят и определенным образом приведен в исполнение в одной части территории, все еще может быть изменен или оспорен в двенадцати других частях. Это было право, но так не было принято. В течение длительного периода времени отдельные парламенты перестали оспаривать что-либо, за исключением административных правил, которые могли быть характерны для их собственной провинции. Они не обсуждали общие законы королевства, если

только не казалось, что какое-то из их положений затрагивает особые интересы их собственной провинции. Что касается принципа действия таких законов, их возможности или эффективности, то это были соображения, которые они обычно не рассматривали. В этих вопросах они привыкли полагаться на парижский парламент, на которого, по своего рода молчаливому соглашению, все остальные парламенты смотрели как на своего политического проводника.

В этом случае каждый парламент решил рассмотреть эти указы, как если бы они касались только его собственной провинции и как если бы он был единственным представителем Франции; каждая провинция также предпочла отличиться отдельным сопротивлением среди общего сопротивления, с которым они столкнулись. Все они касались принципа действия каждого эдикта, а также его особого применения. Положение, которое было без труда принято одним из этих органов, встретило упорное противодействие в другом месте: один из них едва замечает, что вызвало возмущение другого. Подвергнутое нападению сразу тринадцати противников, каждый из которых атаковал разным оружием и наносил удары в разные места, правительство среди всех этих организаций не могло поднять руку ни на одну голову.

Но что было еще более примечательным, чем разнообразие этих атак, так это единое намерение, которое их воодушевляло. Каждый из тринадцати дворов боролся по-своему и на своей собственной почве, но чувства, которые их волновали, были абсолютно одинаковыми. Протесты, высказанные в то время различными парламентами и опубликованные ими, заняли бы много томов; но откройте книгу где угодно, и вам покажется, что вы читаете одну и ту же страницу: всегда одни и те же мысли, выраженные по большей части одними и теми же словами. Все они требовали созыва Генеральных штатов во имя неотъемлемых прав нации: все они одобряли поведение Парижского парламента, протестовали против направленных против него актов насилия, поощряли его к сопротивлению и, насколько могли, подражали не только его мерам, но и философскому языку его оппозиции. 'Подданные, ' заявил парламент Гренобля, - имеют права так же, как и суверенные, — права, которые необходимы всем, кто не является рабами'. 'Справедливый человек, ' сказал парламент Нормандии, - не изменяет своим принципам, когда меняет место жительства'. "Король, - заявил парламент Безансона, - не может желать, чтобы его подданные были униженными рабами". [114] Шум, поднятый одновременно всеми этими магистратами, разбросанными по всей стране, звучит как сбивчивый шум толпы: внимательно прислушайтесь к тому, что они говорят: это как голос одного человека.

О чем же тогда страна говорила таким образом одновременно? Повсюду вы находите одни и те же идеи и выражения, так что под единством судебной системы вы обнаруживаете единство нации; и сквозь это многообразие старых институтов, местных обычаев, провинциальных привилегий, различных обычаев, которые, казалось, разделяли Францию на множество различных народов, каждый из которых жил отдельной жизнью, вы различаете одну из наций земли, в которой существует наибольшая степень сходства между людьми. Это движение парламентов, одновременно многочисленных и единообразных, атакующих, как толпа, наносящих удары, как единая рука, — это судебное восстание было более опасным для правительства, чем все другие восстания, даже военные, потому что оно обратило против правительства ту регулярную, гражданскую и моральную силу, которая является обычным орудием власти. Сила армии может оказывать давление в течение одного дня, но постоянная

защита правительств заключается в судах справедливости. Еще одним поразительным моментом в этом сопротивлении судебных органов было не столько зло, которое они сами причинили правительству, сколько то, которому они позволили причинить его другим. Они установили, для примера, наихудшую форму свободы прессы, а именно ту, которая проистекает не из права, а из неисполнения законов. Они также ввели право проводить беспорядочные собрания, чтобы различные члены каждого Ордена и сами Ордена могли на время устранить разделявший их барьер и выработать общий курс действий.

Таким образом, все ордена в каждой провинции постепенно включились в борьбу, но не все одновременно или одинаковым образом. Дворянство было первым и самым смелым победителем в этой борьбе против абсолютной власти короля. [115] Именно в среде аристократии укоренилось абсолютное правление: они были первыми, кого унижал и раздражал какой-то неизвестный агент центральной власти, которого под именем интенданта постоянно посылали регулировать и вершить за их спиной мельчайшие местные дела; они породили немало писателей, которые с величайшей энергией протестовали против деспотизма; свободные учреждения и новые мнения почти повсюду находили в лице дворян своих главных сторонников. Независимо от их собственных обид, они были увлечены общей страстью, которая стала всеобщей, о чем свидетельствует характер их нападок. Их жалоба заключалась не в том, что были нарушены их особые привилегии, а в том, что общее право королевства было попрано, провинциальные поместья упразднены, Генеральные штаты отменены, с нацией обращаются как с несовершеннолетней, а страну лишили возможности управлять своими собственными делами.

В этот первый период революции, когда враждебные действия еще не вспыхнули в рядах общества, язык аристократии был точно таким же, как у других классов, отличаясь только большей протяженностью и более высоким тоном. В их противостоянии было что-то республиканское: это было то же самое чувство, которое воодушевляло более гордых людей и души, более привыкшие жить в контакте с величием мира.

Человек, который до тех пор был ярым врагом привилегированных сословий, присутствовавший на одном из собраний, где была организована оппозиция и где дворяне пожертвовали всеми своими правами под аплодисменты палаты общин, описывает эту сцену в письме другу и с энтузиазмом восклицает: 'Наше дворянство (какое поистине дворянство!) пришел, чтобы указать на наши права, защищать их вместе с нами: я слышал это собственными ушами; свободные выборы, равенство численности, равенство налогообложения — каждое сердце было тронuto их бескорыстием и воспламенено их патриотизмом". [116]

Когда 29 августа 1788 года в Гренобле состоялось народное ликование по поводу отставки архиепископа Санского, город был мгновенно иллюминирован и покрыт прозрачными пленками, на одной из которых были прочитаны следующие строки:

‘Nobles, vous méritez le sort qui vous décore,

De l’État chancelant vous êtes les soutiens.

La nation, par vous, va briser ses liens;

Déjà du plus beau jour on voit briller l’aurore.’

В Бретани дворяне были готовы вооружить крестьян, чтобы оказать сопротивление королевским властям; а в Париже, когда вспыхнул первый бунт (24 августа 1788 г.), который был слабо и нерешительно подавлен армией, несколько офицеров, принадлежавших, как хорошо известно, к дворянству, скорее сложили свои полномочия, чем пролили кровь народа. Парламент похвалил их поведение и назвал 'благородными и великодушными солдатами, которых чистота и деликатность их чувств вынудили уйти в отставку'. [117]

Противодействие духовенства было не менее решительным, хотя и более сдержанным. Оно, естественно, приняло формы, соответствующие духовному корпусу. Когда парижский парламент был сослан в Труа и получил почтение всех государственных органов этого города, Капитул Кафедрального собора, как орган духовенства, похвалил парламент в следующих выражениях: 'Сила, восстановленная конституционными принципами монархии, успешно победила территориальные субсидии, и вы научили Казначейство уважать священные права собственности'. "Всеобщий траур нации и ваше отстранение от своих обязанностей и от лона ваших семей были для нас трогательным зрелищем, и в то время как эти величественные стены отражали звуки общественной скорби, мы перенесли в Святилище нашу личную скорбь и наши молитвы". (Официальные документы, 1787 г.)

Везде, где три Ордена объединялись в противостоянии, появлялось духовенство. Обычно епископ говорил мало, но он садился на предложенный ему стул. На знаменитом митинге в Риме, на котором с величайшей яростью протестовали против Майских эдиктов, попеременно председательствовали архиепископ Нарбоннский и архиепископ Вьенский. [118]

Вообще говоря, приходских священников видели на всех собраниях Орден, где они принимали живое и непосредственное участие в дебатах.

В начале борьбы средние классы показали себя робкими и нерешительными. И все же именно на эти классы правительство особенно рассчитывало в поисках утешения в своем бедственном положении и помощи, не отказываясь при этом от своих древних прерогатив: предложения правительства были сформулированы с особым учетом интересов средних классов и их страстей. Давно привыкшие к повиновению, они не без опаски вступали в сопротивление. Их сопротивление было сдержанным. Они все еще льстили власти, которой противостояли, и признавали ее права, хотя и оспаривали их использование. Они, казалось, были отчасти соблазнены его благосклонностью и готовы уступить правительству при условии, что некоторая доля власти будет возложена на них самих. Даже когда казалось, что они руководят, средние классы никогда не осмеливались действовать в одиночку; движимые внутренним жаром, который они не хотели показывать, они стремились скорее обратить страсти высших классов в свою пользу, чем усилить их буйство. Но по мере того, как борьба затягивалась, *буржуазия* становилась все более возбужденной, все более одушевленной, все более смелой, пока не опередила другие классы, не взяла на себя ведущую роль и удерживала ее, пока на сцене не появился Народ.

В этот период борьбы не видно и следа классовой войны. "Все ордена, - заявил парламент Тулузы, - не дышат ничем, кроме согласия, и их единственная цель - способствовать всеобщему счастью".

Человек, тогда неизвестный, но впоследствии прославившийся своими талантами и своими неудачами, Барнав, в статье, написанной в защиту *Турс-Этам*, указал на это соглашение трех Орденов и воскликнул с энтузиазмом того времени: 'Служители религии! благодаря почтению наших предков вы получили право устанавливать между собой высший государственный порядок; вы являетесь неотъемлемой частью французской конституции, и вы должны поддерживать ее. И вы, прославленные семьи! монархия никогда не переставала процветать под вашей защитой; вы создали ее ценой своей крови, вы много раз спасали ее от чужеземцев; спасите ее сейчас от внутренних врагов. Передайте своим детям великолепные блага, которые передали вам ваши отцы; имя героя не почитается под раболопным небом'. [119]

Эти чувства могли быть искренними; одна-единственная страсть, превосходящая другие страсти, пронизывала все классы, а именно, дух сопротивления правительству как общему врагу, дух оппозиции повсюду, как в малых, так и в великих делах, который наносил удар по всему и принимал любые формы, даже те, которые его уродовали. Некоторые, чтобы противостоять правительству, делали упор на то, что осталось от старых местных франшиз. Здесь человек отстаивал какую-то старую привилегию своего класса, какое-то светское право своего призвания или своей корпорации; там другой человек, забыв о своих обидах и вражде к привилегированным классам, осудил эдикт, который, по его словам, сведет на нет сеньориальную юрисдикцию и, таким образом, *лишит дворян всего достоинства их феодальных владений*.

В этой жестокой схватке каждый мужчина, словно случайно, хватался за ближайшее под рукой оружие, даже когда оно меньше всего подходило ему. Если принять во внимание все привилегии, все исключительные права, все старые муниципальные и провинциальные привилегии, на которые в ту эпоху претендовали, утверждались и которых громко требовали, картина была бы одновременно очень точной и очень обманчивой; казалось бы, целью надвигающейся революции было не разрушение, а восстановление старого общественного порядка. Индивидуумам, увлеченным одним из великих движений человеческого общества, так трудно различить истинную движущую силу среди причин, которые движут ими самими. Кто бы мог подумать, что импульс, который привел к утверждению стольких традиционных прав, был той самой страстью, которая неудержимо вела к их полному упразднению? [120]

Теперь давайте на мгновение прикроем уши от этих шумных звуков, исходящих от среднего и высшего классов нации, чтобы уловить, если сможем, какой-нибудь шепот, начинающий доноситься из гущи Народа. Никакие признаки, которые я могу обнаружить с такого расстояния, не указывали на то, что сельское население было хоть сколько-нибудь взволновано. Крестьянин брел вперед по своей наезженной колее. Эта обширная часть нации все еще оставалась нейтральной и, так сказать, невидимой. [121]

Даже в городах люди оставались чуждыми возбуждения высших классов и равнодушными к тому переполюху, который творился у них над головой. Они слушают; они наблюдают с некоторым удивлением, но скорее с любопытством, чем со злостью. Но как только волнение дало о себе знать среди них, обнаружилось, что оно приняло новый характер. Когда магистраты с триумфом вернулись в Париж, люди, которые ничего не сделали для защиты этих членов парламента, арестованных на своих местах, шумно собрались вместе, чтобы приветствовать их возвращение.

Я уже говорил в другой части этой книги, что при старом режиме не было ничего более частого, чем беспорядки. Правительство было настолько сильным, что охотно позволяло этим временным волнениям иметь свободный размах. Но в этом случае появились многочисленные признаки того, что началось совершенно иное положение вещей. Это было время, когда все старое приобретало новые черты — бунты, как и все остальное. Кукурузные бунты постоянно происходили во Франции; но они были вызваны толпами без порядка, цели или последовательности. Теперь, напротив, вспыхнуло восстание, каким мы с тех пор так часто были свидетелями, с его набатом, ночными криками, кровавыми плакатами; свирепый и безжалостный призрак; разъяренная, но организованная и направленная к какой-то цели толпа, которая сразу же ввергается в гражданскую войну и сокрушает все препятствия.

Узнав, что парламент одержал верх и что архиепископ Санский ушел в отставку с поста министра, население Парижа устроило беспорядочные демонстрации, сожгло чучело министра и оскорбило стражу. Эти беспорядки были, как обычно, подавлены силой; но толпа бросилась к оружию, сожгла караульные помещения, разоружила войска, попыталась поджечь отель "Ламуаньон" и была отброшена только войсками королевского двора. Таков был ранний, но ужасный зародыш революционных восстаний. [122]

Замаскированное господство террора уже было заметно. Париж, который в наши дни с трудом поддерживают в порядке сто тысяч человек, тогда охранялся безразличной разновидностью полиции, называемой "стража". В Париже не было ни казарм, ни войск. Домашние войска и швейцарская гвардия были расквартированы в окрестностях. На этот раз стража была бессильна.

В присутствии столь широкой и столь новой оппозиции правительство сначала проявило признаки удивления и раздражения, а не поражения. Оно пустило в ход все свое старое оружие — прокламации, *секретные письма*, изгнание, — но оно использовало их напрасно. Была применена сила, достаточная, чтобы вызвать раздражение, но недостаточная, чтобы уstrasшить; более того, невозможно запугать целый народ. Была предпринята попытка возбудить страсти толпы против богатых, граждан против аристократии, чиновников низшего звена против судов справедливости. Это была старая игра; но и в нее играли напрасно. Были назначены новые судьи, но большинство из них отказались заседать. Предлагались услуги, деньги; сама продажность уступила место страсти. Была предпринята попытка отвлечь внимание общественности, но оно оставалось сосредоточенным. Будучи не в состоянии остановить или даже ограничить свободу письма, правительство пыталось использовать ее, противопоставляя одно издание другому. На его стороне было опубликовано несколько небольших брошюр, обошедшихся немалой ценой. [123] Никто не читал защиту, но мириады брошюр, которые ее критиковали, были проглочены. Все эти памфлеты развились из абстрактных принципов "Социального контраста" Руссо. Суверен должен был быть королем-гражданином; каждое нарушение закона было государственной изменой *против нации*. Ничто во всей структуре общества не было здоровым; Двор был отвратительным притоном, в котором изголодавшиеся придворные пожирали добычу народа.

Наконец произошел инцидент, который ускорил кризис. Парламент Дофини сопротивлялся, как и все другие парламенты, и был разгромлен, как и все они. Но нигде дело, которое она защищала, не находило более общего сочувствия или более решительных сторонников. Взаимные классовые обиды были там, возможно, более сильными, чем в каком-либо другом

месте; но преобладающее возбуждение на время усыпило все частные страсти; и, в то время как в большинстве других провинций каждый класс вел свою войну против правительства отдельно и без объединения, в Дофини они регулярно объединялись в политическую организацию и готовились к сопротивлению. Дофини веками пользовался собственным государством, действие которого было приостановлено в 1618 году, но не упразднено. Несколько дворян, несколько священников и несколько горожан, собравшихся по собственной воле в Гренобле, осмелились призвать дворянство, духовенство и простолюдинов собраться в качестве представителей провинциальных сословий в загородном доме под названием Визиль близ Гренобля. Это здание было старым феодальным замком, ранее резиденцией герцогов Лесдигьерских, но недавно его приобрела новая семья, семья Перье, которой оно принадлежит по сей день. Не успели они встретиться в этом месте, как образовались три Ордена, и их нерегулярным действиям был придан вид регулярности. Присутствовали сорок девять представителей духовенства, двести тридцать три представителя знати, триста девяносто один представитель общины. Были подсчитаны члены всего собрания; но чтобы не разделять Сословия, было решено без обсуждения, что председатель должен быть избран из одного из двух высших сословий, а секретарь - из палаты общин: граф де Морж был призван на место председателя, мсье Мунье был назначен секретарем. Затем Ассамблея приступила к обсуждению и единогласно выразила протест против Майских указов и подавления парламента. Они потребовали восстановления старых владений провинции, деятельность которых была произвольно и незаконно приостановлена; они потребовали, чтобы в этих владениях было предоставлено двойное число представителей в палату общин; они призвали к скорейшему созыву Генеральных штатов и постановили, что на месте следует направить королю письмо с изложением их жалоб и требований. Это письмо, составленное в жестоких выражениях и в тоне гражданской войны, фактически было немедленно подписано всеми членами организации. Подобные протесты уже предпринимались, подобные требования высказывались с равной жестокостью; но нигде до сих пор не было столь яркого примера объединения всех классов. 'Представители знати и духовенства, - говорится в "Журнале Палаты представителей", - получили комплимент от члена палаты общин за лояльность, с которой, отбросив прежние претензии, они поспешили воздать должное палате общин, и за их рвение поддержать союз трех Сословий'. Президент ответил, что пэры всегда будут готовы действовать вместе со своими согражданами ради спасения страны. [\[124\]](#)

Ассамблея Визилия произвела удивительный эффект по всей Франции. Это был последний случай, когда событие, происходящее в другом месте, кроме Парижа, оказало большое влияние на общую судьбу страны. Правительство опасалось, что тому, на что осмелился Дофини, могут повсюду подражать. Отчаявшись, наконец, подавить сопротивление, оказанное ему, оно объявило себя побежденным. Людовик XVI увольнял своих министров, отменял или приостанавливал действие своих эдиктов, отзывал парламенты и созывал Генеральные штаты. Следует отметить, что это не было уступкой, сделанной королем в каких-то деталях, это был отказ от абсолютной власти; это было участие в правительстве, которое он признал и обеспечил стране, в конце концов, всерьез признав Генеральные штаты. Читая труды того времени, с удивлением обнаруживаешь, что в них говорится о великой революции, совершившейся еще до 1789 года. На самом деле это была великая революция, но ей было суждено быть поглощенной и затерянной в необъятности грядущей Революции.

Действительно, многочисленными и чудовищными по масштабам были ошибки, которые пришлось совершить, чтобы привести дела в то состояние, в котором они тогда находились. Но

правительство Людовика XVI, позволившее довести себя до такого состояния, нельзя осуждать за то, что оно уступило. В его распоряжении не было никаких средств сопротивления. Материальную силу оно не могло использовать, поскольку армия оказывала неохотную, бессильную поддержку его политике. Закон оно не могло использовать, поскольку суды находились в оппозиции. Более того, в старом королевстве Франции абсолютная власть короны никогда не имела собственной силы и не располагала инструментами, зависящими исключительно от нее самой. Она никогда не принимала облик военной тирании; она родилась не в лагерях и никогда не прибегала к оружию. По сути, это была гражданская власть, произведение не насилия, а искусства. Это правительство было так организовано, что легко подавляло индивидуальное сопротивление, но его конституция, его прецеденты, его привычки и обычаи нации запрещали ему управлять вопреки оппозиционному большинству. Власть Короны была установлена только путем разделения классов, путем ограждения их вокруг предрассудками, завистью, ненавистью, свойственными каждому из них, чтобы никогда не иметь дела более чем с одним классом одновременно и противопоставлять ему вес всех остальных. Как только эти различные классы, на мгновение разрушив разделявшие их барьеры, встретились и договорились об общем сопротивлении, хотя бы на один день, абсолютная власть правительства была завоевана. Ассамблея Визилля была внешним и зримым знаком этого нового союза и того, к чему он мог привести. И хотя это событие произошло в глубине небольшой провинции, в альпийском уголке, оно, таким образом, стало главным событием того времени. Он показал каждому глазу то, что до сих пор было видно лишь немногим, и в одно мгновение это решило исход победы.

ГЛАВА IV.

ПАРЛАМЕНТЫ ОБНАРУЖИВАЮТ, ЧТО ОНИ ПОТЕРЯЛИ ВСЯКУЮ ВЛАСТЬ КАК РАЗ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ОНИ СЧИТАЛИ СЕБЯ ХОЗЯЕВАМИ КОРОЛЕВСТВА.

Когда королевская власть была завоевана, парламенты сначала решили, что победа принадлежит им самим. Они вернулись на скамью подсудимых не столько как преступники, получившие отсрочку, сколько как победители, и думали, что им осталось только насладиться сладостями победы.

Король, когда он отменил указы, которые назначили на скамью подсудимых новых судей, приказал сохранить, по крайней мере, решения и декреты этих судей. Парламенты заявили, что все, что было вынесено без их участия, вообще не было вынесено. Они вызвали к себе дерзких магистратов, которые осмелились претендовать на свои места, и, позаимствовав старое выражение средневекового права для рассмотрения этого нового инцидента, они признали их позорными. Вся Франция увидела, что друзья короля были наказаны за свою верность короне, и поняла, что отныне повиновение не принесет безопасности.

Опьянение этих магистратов легко понять. Людовик XIV. при всей своей славе он никогда не был объектом более всеобщего обожания, если это слово можно применить к неумеренной похвале, вызванной подлинными и бескорыстными страстями.

Парижский парламент, сосланный в Труа, был принят в этом городе всеми общественными организациями, которые поспешили засвидетельствовать ему подобающее монарху почтение и высказать ему в лицо самые экстравагантные комплименты. 'Августейшие сенаторы!' говорили они. - Великодушные граждане! строгие и сострадательные судьи! в сердце каждого француза вы все заслуживаете звания отцов своей страны. Вы - утешение в бедах нации. Ваши действия являются возвышенными примерами энергии и патриотизма. Французская нация смотрит на вас с нежностью и почитанием.' Капитул кафедрального собора Труа, похвалив их от имени Церкви, сказал: 'Наша страна и наша религия нуждаются в каком-нибудь прочном памятнике тому, что вы сделали'. Даже Университет вышел вперед в мантиях и квадратных шапочках, чтобы выразить свое почтение на плохой латыни: "Иллюстриссими принцепса Сената, президис инсулати, сенаторов целых!" Мы разделяем общие эмоции и собрались здесь, чтобы выразить наше живое восхищение вашим патриотическим героизмом. До сих пор наивысшим мужеством была та военная доблесть, которая заставляет легионы героев покидать свои дома; теперь мы видим героев мира в святилище справедливости; подобно тем великодушным гражданам, которые были гордостью Рима в день своего триумфа, вы заслужили триумф, который обеспечивает вам бессмертную славу'. Первый Президент отвечал на все эти обращения кратко, как подобает монарху, и заверял выступавших в доброй воле своего Двора.

В нескольких провинциях арест или ссылка судей спровоцировали беспорядки. В целом, их возвращение вызвало почти безумные взрывы народного ликования. Когда в Гренобль прибыл курьер, привезший известие о восстановлении парламентов, его с триумфом пронесли по городу, осыпая ласками и одобрительными возгласами; женщины, не имея возможности приблизиться к нему, целовали его лошадь. Вечером весь город был стихийно иллюминирован. Все общественные организации и гильдии дефилировали перед парламентом, произнося напыщенные комплименты.

В Бордо в тот же день была такая же орация. Люди вывели лошадей из кареты Первого президента и отвели его в его покои. Судьи, подчинившиеся приказу короля, были освистаны. Первый президент сделал им публичный выговор. Посреди этой сцены старейший член парламента воскликнул: 'Дети мои, расскажите это своим потомкам, чтобы память об этом дне поддерживала огонь патриотизма'. Тот, кто сказал это, был пожилым человеком, родившимся девяносто лет назад, чья юность прошла во времена правления Людовика XIV. Какие только изменения не могут произойти во взглядах и языке народа за время жизни человека! Они закончились сожжением чучела кардинала на рыночной площади, что не помешало духовенству спеть *Te Deum*. Эти события произошли в конце октября 1788 года.

Внезапно приветствия, окружавшие парламенты, прекратились; энтузиазм угас; вокруг них воцарились тишина и одиночество. Они не только стали объектами общественного безразличия, но и против них были выдвинуты всевозможные обвинения, те самые, на которых тщетно пыталось настаивать правительство. Страна была наводнена оскорбительными памфлетами против них. 'Эти судьи,' говорилось в этих памфлетах, 'ничего не смыслят в политике; в действительности они стремились только к власти. Они заодно с дворянами и священниками и столь же враждебны к простым людям, которые составляют почти всю нацию. Они воображали, что их атака на деспотизм заставит все это забыть; но, отстаивая права нации, они позволили поставить их под сомнение: эти права вытекают из Общественного договора; обсуждать их - значит облекать их в ложные цвета добровольной уступки. Действительно, требования, которые они предъявляли к королю, были в некоторых отношениях чрезмерными.

Это аристократия юристов, которые хотят быть хозяевами самого короля". [125] В другой брошюре, приписываемой Волни, они были переведены следующим образом: 'Августейший совет магистратов! у нас перед вами священные обязательства, от которых мы не отрекаемся, но мы не можем забывать, что все эти годы, когда вы представляли народ, вы позволяли его угнетать: вы, учителя народа, позволили сжечь почти все книги, призванные просветить его; и когда вы сопротивлялись деспотизму, это было потому, что он был готов раздавить вас самих".

Особенно для парижского парламента это падение было внезапным и ужасным. Как мне описать могучую пустоту, гробовое молчание, охватившее этот великий Двор, и его собственное чувство бессилия и отчаяния, или презрительную месть короны, когда в ответ на новые протесты Людовик XVI сказал: "Мне нечего ответить моему парламенту или на его мольбы: с собравшейся нацией я собираюсь согласовать меры для вечного укрепления общественного порядка и процветания королевства"?

Та же мера, которая отозвала парламент в зал правосудия, восстановила д'Эпремениля на свободе. Читатель наверняка помнит драматическую сцену его ареста, его речь в стиле Регула, эмоции аудитории и огромную популярность мученика. Он содержался в тюрьме Иль-Сен. Маргерит, недалеко от Канн: приходит ордер на его выпуск, и он начинает. В дороге к нему сначала относятся как к великому человеку, но по мере того, как он продвигается дальше, окружавшее его сияние тускнеет: оказавшись в Париже, он никому не нужен, разве что для того, чтобы пошутить. Чтобы спуститься таким образом от возвышенного к смешному, ему нужно было всего лишь пройти по территории около двухсот лиг.

Парламент, опечаленный своей непопулярностью, попытался вернуть себе расположение общественности. Пришлось прибегнуть к возбуждающим средствам: снова был использован тот же язык, который так часто служил для возбуждения народа в свою пользу. Призывы к периодическим заседаниям Генеральных штатов, к ответственности министров, к личной свободе, к свободе печати - все было напрасно. Изумление судей было крайним: они были совершенно не в состоянии осознать, что происходит у них на глазах. Они продолжали говорить о том, что нужно защищать *конституцию*, не видя, что это слово было достаточно популярным, когда конституция выступала против короля, но вызывало ненависть у общественного мнения, когда оно выступало против равенства. Они приговорили публикацию, нападавшую на старые институты королевства, к сожжению обычным палачом, не понимая, что разрушение этих институтов было именно тем, чего они желали. Они спрашивали друг друга, что могло вызвать такую перемену в общественном сознании. Они воображали, что обладают собственной силой, не осознавая, что были всего лишь слепыми помощниками другой силы: все, пока эта власть делала их своими инструментами; ничего, как только, будучи способной действовать от своего имени, она перестала нуждаться в их помощи. Они не видели, что та же самая волна, которая гнала их вперед и подняла так высоко, унесла их с собой, когда отступала.

Первоначально парламент состоял из юристов и адвокатов, избираемых королем из числа наиболее способных представителей своей профессии. Таким образом, благодаря своим заслугам людям, родившимся в самых скромных условиях, был открыт путь к почестям и высшим государственным должностям. Парламент был тогда, наряду с Церковью, одним из тех мощных демократических институтов, которые родились и укоренились на аристократической почве Средневековья.

В более поздний период корона, чтобы заработать деньги, выставила на продажу право отправления правосудия. В то время парламент был заполнен определенным количеством богатых семей, которые считали национальную судебную систему своей привилегией, которую нужно охранять от вторжения других с возрастающей ревностью; они повиновались в этом странному импульсу, который, казалось, побуждал каждый отдельный орган все больше и больше превращаться в маленькую замкнутую аристократию, в то самое время, когда мнения и общие привычки нации заставляли общество все больше и больше склоняться к демократии.

Ничто, безусловно, не могло быть более противоположным идеям того времени, чем судебная каста, осуществляющая путем покупки всю юрисдикцию страны. Действительно, за прошедшее столетие ни одна практика не подвергалась более частому и ожесточенному осуждению, чем продажа этих офисов. Эта магистратура, какой бы порочной она ни была в принципе, обладала, тем не менее, достоинством, которым не всегда обладают более совершенные суды нашего времени. Судьи были независимыми. Они вершили правосудие от имени государя, но не в согласии с его волей. Они не подчинялись никаким страстям, кроме своих собственных.

Когда все промежуточные силы, которые могли бы уравновесить или ослабить неограниченную власть короля, были свергнуты, один парламент все еще оставался непоколебимым. Парламент все еще мог говорить, когда весь мир молчал, и сохранять вертикальное положение в течение того времени, когда весь мир уже давно был вынужден склониться. Следствием этого стало то, что она стала популярной, как только правительство впало в немилость у народа. И когда на какое-то мгновение ненависть к деспотизму превратилась в пылкую страсть и чувство, общее для всех французов, парламенты оказались единственным оставшимся барьером на пути к абсолютной власти. Недостатки, которые больше всего обвинялись в них, служили своего рода гарантией их политической честности. Даже их пороки были защитой, а их властолюбие, их самонадеянность и их предрассудки были оружием, которое использовала нация. Но как только абсолютная власть была окончательно завоевана, и нация почувствовала уверенность в том, что она может защитить свои собственные права, парламент снова сразу стал тем, чем он был раньше, — старым, одряхлевшим и дискредитированным учреждением; наследием средневековья, снова подвергшимся полной волне общественного неприятия. Чтобы уничтожить его, королю нужно было только пережить его триумф.

ГЛАВА V.

КОГДА АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ БЫЛА ПОДЧИНЕНА, СРАЗУ ЖЕ ПРОЯВИЛСЯ ИСТИННЫЙ ДУХ РЕВОЛЮЦИИ.

Узы общей страсти на мгновение соединили все классы воедино. Как только эта связь ослабла, они разлетелись в клочья, и истинный дух Революции, до этого скрытый, внезапно проявился. После триумфа, одержанного над королем, следующим делом было выяснить, кому достанутся плоды победы; поскольку Генеральные штаты были избраны, кто должен был преобладать в этом собрании. Король больше не мог отказать им в созыве, но у него все еще была власть определять форму, которую они должны были принять. С момента их последней встречи прошло сто семьдесят пять лет. Они стали просто расплывчатой традицией. Никто точно не

знал, каким должно быть количество депутатов, взаимоотношения трех сословий, способ избрания, формы обсуждения. Только король мог бы решить эти вопросы, но он их не решил. Позволив отобрать у него спорные полномочия, которые он стремился сохранить, он не смог использовать те, которые не оспаривались.

У господина де Бриенна, первого министра, были странные представления на этот счет, и он заставил своего господина принять резолюцию, не имеющую аналогов в истории. Он рассматривал вопросы о том, должно ли избирательное право быть всеобщим или ограниченным, должно ли собрание быть многочисленным или ограниченным, должны ли Ордена быть разделены или объединены, должны ли они быть равными или неравными в своих правах, как вопрос эрудиции. Следовательно, Распоряжение Совета предписывало всем официальным органам королевства провести исследования относительно структуры старых Генеральных штатов и используемых ими форм; и добавляло, что "Его Величество пригласил всех ученых людей королевства, особенно тех, кто принадлежал к Академии художественной литературы и древностей, направить Хранителю печатей документы и информацию по этому вопросу".

Таким образом, к конституции страны относились как к академическому эссе, выставленному на конкурс. Призыв был услышан. Все местные власти обсуждали ответ, который должен быть дан королю. Все корпоративные организации предъявили свои претензии. Все классы пытались поднять из руин старых Генеральных штатов формы, которые казались наиболее приспособленными для обеспечения их собственных особых интересов. Каждому было что сказать, а поскольку Франция была самой литературной страной в Европе, на нее обрушился поток публикаций. Конфликт классов был неизбежен; но этот конфликт, который, естественно, должен был быть оставлен за самими Генеральными штатами, где его можно было бы держать в рамках, когда он возникал по заданным вопросам, находя перед собой безграничное поле и подпитываясь общими противоречиями, быстро приобрел степень странной смелости и чрезмерной жестокости, которые можно было бы объяснить тайным возбуждением общественного сознания, но к которому никакие внешние симптомы еще не подготовили людей. С момента, когда король отказался от своей абсолютной власти, и до начала выборов прошло около пяти месяцев. За этот промежуток времени мало что изменилось в реальном положении вещей, но движение, которое толкало французскую нацию к тотальному ниспровержению общества, набирало обороты со все возрастающей скоростью.

Сначала ни о чем не говорилось, кроме конституции Генеральных штатов; большие книги были поспешно заполнены примитивной эрудицией, в которой делалась попытка примирить традиции средневековья с требованиями настоящего времени; затем вопрос о старых Генеральных штатах был снят. Эта куча заплесневелых прецедентов была отброшена в сторону, и был задан вопрос, какой, исходя из общих и абстрактных принципов, должна быть законодательная власть. С каждым шагом горизонт расширялся: за пределы конституции законодательного органа дискуссия охватывала всю структуру правительства: за пределы структуры правительства вся структура общества должна была быть потрясена до основания. Сначала люди говорили о лучшем распределении полномочий, о лучшем регулировании прав классов, но вскоре они продвинулись, они заторопились, они устремились к чистой демократии. Сначала цитировали и обсуждали Монтескье, наконец Руссо стал единственным авторитетом; он, и только он, стал и должен был остаться Учителем первой эпохи Революции. Старый *режим* все еще существовал в полном объеме, а институты Англии уже считались

устаревшими и неадекватными. Корень каждого последующего инцидента был заложен в сознании людей. Едва ли за весь ход Революции было высказано мнение, которое нельзя было бы уже проследить в ее зародыше: не было ни одной идеи, реализованной Революцией, которую какая-нибудь теория не достигла бы сразу и даже не превзошла.

"Во всех вещах большинство чисел задают закон": таков был лейтмотив всей полемики. Никому и в голову не приходило, что уступка политических прав может определяться каким-либо другим элементом, кроме числа. "Что может быть абсурднее, - восклицает писатель, один из самых умеренных того времени, - чем то, что тело, имеющее двадцать миллионов голов, должно быть представлено таким же образом, как тело, имеющее сто тысяч голов?" [126] После того, как было показано, что во Франции насчитывалось восемьдесят тысяч священнослужителей и около ста двадцати тысяч дворян, Сийес просто добавляет: "Сравните число этих двухсот тысяч привилегированных лиц с числом в двадцать шесть миллионов душ и оцените вопрос". [127]

Самые робкие среди новаторов Революции, те, кто хотел, чтобы уважались разумные прерогативы различных Сословий, говорили, тем не менее, так, как будто не было ни класса, ни Порядка, и все еще принимали численное большинство [128] в качестве единственной основы своих расчетов. Каждый составлял свою собственную статистику, но все было статистическим. "Отношение привилегированных лиц к тем, кто не является привилегированным, - сказал Лафон-Ладеба, - равно одному к двадцати двум". [129] По данным города Бург, [130] община составляла девятнадцать двадцатых населения; по данным города Ним, [131] двадцать девять тридцатых. Как видите, это был всего лишь вопрос цифр. Из этой политической арифметики Волней вывел, как естественное следствие, всеобщее избирательное право; [132] Редерер, всеобщее право на участие; [133] Петион, единство ассамблеи. [134]

Многие из этих авторов, приводя свои цифры, ничего не знали о частном, и расчеты часто уводили их за пределы их надежд и даже желаний.

Самым поразительным в эту страстную эпоху были не столько вспыхнувшие страсти, сколько сила возобладавших мнений; и мнение, которое преобладало над всеми остальными, заключалось в том, что не только не было привилегий, но даже в том, что не было никаких частных прав. Даже те, кто заявлял о самом большом уважении к привилегиям и частным правам, считали такие привилегии и права совершенно неоправданными — не только те, которыми пользовались в свое время, но и те, которые существовали в любое время и в любой стране. Концепция умеренного и взвешенного правления, то есть правления, при котором различные классы общества и различные интересы, разделяющие их, уравнивают друг друга, при котором люди оцениваются не только как личности, но и по причине их собственности, их покровительства и их влияния на шкале общего блага, — этих концепций не хватало в сознании толпы; они были заменены представлением о толпе, состоящей из сходных элементов, и они были заменены голосованием не как представители интересов или личностей, а численной силы. [135]

Еще одной вещью, заслуживающей внимания в этом необычном движении ума, был его *темп*, сначала такой легкий и размеренный, а в конце концов такой стремительный. Разница была отмечена с интервалом в несколько месяцев. Прочтите, что было написано в первые недели 1788 года самыми яркими противниками старого *режима*, вы будете поражены сдержанностью их языка; затем возьмите публикации самых умеренных реформаторов за последние пять месяцев того же года, вы найдете их революционными.

Правительство само поставило под сомнение дискуссию: следовательно, тема не будет ограничена никакими рамками. Тот же импульс, который был дан мнениям, вскоре с бешеной быстротой направил страсти нации в том же направлении. Сначала палата общин жаловалась, что дворянство слишком далеко зашло в своих правах. Позже существование каких-либо таких прав было опровергнуто. Сначала предлагалось разделить власть с высшими классами: вскоре им было отказано во всей власти. Аристократия должна была стать своего рода посторонней субстанцией в однородной структуре нации. Некоторые говорили, что привилегированных классов было сто тысяч, другие - что их было пятьсот тысяч. Все сходились во мнении, что они составляют всего лишь горстку людей, чуждых остальной нации, и их терпят только в интересах общественного спокойствия. 'Уберите в своем воображении, - сказал Рабо Сент-Этьен, - все духовенство, уберите даже все дворянство, все равно останется нация'. Палата общин была целостной социальной структурой; все остальное было тщеславным излишеством: не только дворяне не имели права быть хозяевами остальных, они едва ли имели право быть их согражданами.

Возможно, впервые в мировой истории высшие классы отделились и изолировали себя до такой степени от всех других классов, что их представителей можно было пересчитать по пальцам и отделить друг от друга, как овец, отбившихся от стада: в то время как средние классы стремились не смешиваться с классом выше них, но, напротив, старательно избегали любых контактов. Эти два симптома, если бы они были поняты, раскрыли бы масштаб Революции, которая вот-вот должна была произойти, или, скорее, которая уже была совершена.

Теперь проследите за движением страсти в русле общественного мнения. Сначала ненависть выражалась против привилегий, а не против личностей. Но постепенно тон становится более ожесточенным, соперничество превращается в ревность, вражда - в отвращение, тысячи конфликтующих ассоциаций нагромождаются вместе, образуя могучую массу, которую тысячи рук должны одновременно поднять и опустить на голову аристократии, чтобы сокрушить ее.

Привилегированные ряды подвергались нападкам в бесчисленных публикациях. Их защищали так мало, что несколько сложно установить, что было сказано в их пользу. Может показаться удивительным, что подвергшиеся нападению классы, занимающие большинство высших государственных постов и владеющие значительной частью земель страны, нашли так мало защитников, хотя так много красноречивых голосов отстаивало их дело с тех пор, как они были завоеваны, истреблены, разорены. Но это объясняется крайним замешательством, в которое была повергнута аристократия, когда остальная нация, некоторое время следовавшая по намеченному ею самой пути, внезапно повернулась против нее. С удивлением оно осознало, что мнения, использованные для нападения на него, были его собственными мнениями. Представления, которые сопровождали его уничтожение, были знакомы его собственному разуму. То, что раньше было развлечением аристократического досуга, стало страшным оружием против аристократического общества. Как и их противники, эти аристократы были достаточно готовы поверить, что наиболее совершенной формой общества будет та, которая наиболее близка к естественному равенству людей; в которой только заслуги, а не рождение или состояние, должны определять ранг; и в которой правительство будет простым договором, а закон - созданием численного большинства. Они ничего не знали о политике, кроме того, что читали в книгах, и в тех же самых книгах; единственная разница заключалась в том, что одна

партия была настроена на проведение великого социального эксперимента, который должен был быть проведен за счет другой партии. Но, хотя их интересы были разными, их мнения совпадали: те же самые патриции совершили бы Революцию, если бы родились плебеями.

Поэтому, когда они внезапно обнаружили, что на них напали, они были необычайно растеряны в своей защите. Ни один из них никогда не задумывался о том, какими средствами аристократия может оправдать свои привилегии в глазах народа. Они не знали, что сказать, чтобы показать, как получается, что аристократия одна может уберечь народ от гнета короны и бедствий революции, настолько, что привилегии, очевидно установленные исключительно в интересах тех, кто ими обладает, на самом деле представляют собой наилучшую гарантию, которую можно найти для спокойствия и процветания даже тех, кто их лишен. Все эти доводы, столь знакомые тем, кто имеет большой опыт в государственных делах и постиг науку управления, были для французской знати новыми и неизвестными.

Вместо этого они говорили об услугах, оказанных их предками шестьсот лет назад; о суеверном почитании прошлого, которое теперь стало ненавистным; о необходимости дворянства поддерживать честь оружия и традиции воинской доблести. Выступая против предложения предоставить крестьянству избирательное право в провинциальных собраниях и даже председательствовать в этих органах, г-н де Базанкур, член государственного совета, заявил, что королевство Франция основано на чести и прерогативах: так велико невежеством так глубока темнота, в которой абсолютная власть скрывает истинные законы общества даже от глаз тех, кому она больше всего была заинтересована в том, чтобы они были известны.

Язык знати часто был высокомерным, потому что они привыкли быть первыми; но он был нерешительным, потому что они сомневались в собственной правоте. Кто может описать бесконечные разногласия в недрах подвергшихся нападению сторон? Дух соперничества и раздора бушевал среди тех, кто был таким образом изолирован — дворяне против священников (первый голос, поднявшийся с требованием конфискации имущества духовенства, принадлежал дворянину [136]), священники против дворян, мелкая знать против крупных лордов, приходские священники против епископов. [137]

Дискуссия, вызванная королевскими эдиктами, после того как она охватила широкий круг учреждений и законов, всегда заканчивалась двумя следующими моментами, которые практически выражали цели состязания.

1. В Генеральных штатах, которые должны были вот-вот собраться, должна ли палата общин иметь большее число представителей, чем каждая из двух других Сословий, так что общее число ее депутатов должно быть равно числу представителей дворянства и духовенства вместе взятых?

2. Были ли отданы приказы о совместном обсуждении или по отдельности?

Это дублирование общего собрания и слияние трех Орденов в одном собрании в то время казалось вещами менее новыми и менее важными, чем они были на самом деле. Некоторые незначительные обстоятельства, которые давно существовали или существовали тогда, скрывали свою новизну и масштабность. Веками провинциальные поместья Лангедока были составлены таким образом, и не было иного результата, кроме как предоставить среднему классу большую долю общественных дел и создать общие интересы и большую легкость общения между этим классом и двумя высшими сословиями. Впоследствии этот пример был

воспроизведен на двух или трех провинциальных ассамблеях, состоявшихся в 1779 году: вместо разделения классов было обнаружено, что он сближает их.

Сам король, по-видимому, высказался в пользу этой системы; поскольку он только что применил ее к провинциальным собраниям, которые последний эдикт учредил во всех провинциях, ранее не имевших собственных поместий (1788). Было все еще недостаточно ясно, без ясного осознания того факта, что учреждение, которое лишь изменило древнюю конституцию страны, будучи установленным в одной провинции, не могло не привести к ее полному и насильственному ниспровержению в тот момент, когда оно было применено ко всему государству. Было очевидно, что палата общин, если она равна по численности двум другим сословиям в Генеральной ассамблее нации, должна немедленно получить там преобладающее положение; не как участвующая в их делах, но как их верховный распорядитель. Ибо палата общин была бы объединена между двумя организациями, разделенными не только друг против друга, но и против самих себя — палата общин, имеющая одни и те же интересы, одни и те же страсти, один и тот же объект; две другие Категории имеют разные интересы, разные объекты и часто разные страсти: у одних течение общественного мнения в их пользу, у других - против них. Это предпочтение извне не могло не подтолкнуть определенное количество дворян и священников присоединиться к палате общин; так что, хотя оно и объединило все общины, оно отделило от дворянства и духовенства всех тех, кто стремился к популярности или пытался найти новый путь к власти.

В штатах Лангедок было обычным делом видеть, как палата общин покидает свой собственный орган, чтобы голосовать вместе с дворянами и епископами, потому что установившееся влияние аристократии, все еще преобладающее в их мнениях и манерах, давило на них. Но здесь неизбежно произошло обратное; и палата общин неизбежно оказалась в большинстве, хотя число их собственных представителей было таким же.

Действия такой партии в Ассамблее не могли не быть не только преобладающими, но и насильственными, ибо она наверняка столкнулась там со всем, что могло возбудить человеческие страсти. Заставить стороны жить вместе в конфликте противоположных мнений - задача не из легких. Но собирать на одной арене политические организации, уже сформированные, полностью организованные, каждая из которых имеет свое надлежащее происхождение, свое прошлое, свои традиции, свои особые обычаи, свой дух единения, — разводить их порознь, всегда в присутствии друг друга, и принуждать их вести непрекращающиеся дебаты без посредника между ними, - значит провоцировать не дискуссию, а войну.

Более того, это большинство, распаляемое своими собственными страстями и страстями своих противников, было всемогущим. Ничто не могло, я не скажу, остановить, но замедлить его движение; ибо не оставалось ничего, что могло бы остановить его, кроме власти Короны, уже разоруженной и неизбежно обреченной уступить напряжению единственного Собрания, сосредоточенного против нее самой.

Это делалось не для того, чтобы постепенно изменить баланс сил, а для того, чтобы нарушить его. Это было сделано не для того, чтобы предоставить палате общин долю в непомерных правах аристократии, а для того, чтобы внезапно передать неограниченную власть в другие руки — отдать управление делами в руки одной страсти, одной идеи, одного интереса. Это была не реформа, а революция. Мунье, который единственный среди реформаторов того времени,

по—видимому, решил для себя, чего именно он хотел добиться и каковы были условия регулярного и свободного правления, - Мунье, который в своем плане правления разделил три сословия, тем не менее был благосклонен к этому их объединению, и по той причине, что прежде всего требовалось собрание для уничтожения остатков старой конституции, всех особых привилегий и всех местных привилегий, чего никогда нельзя было добиться с Верхней палатой, состоящей из дворян и духовенства.

Во всяком случае, кажется, что удвоение голосов в палате общин и слияние трех сословий в одном органе должны были быть вопросами, неотделимыми друг от друга; ибо с какой целью должно было увеличиваться число представителей в палате общин, если эта ветвь Собрания должна была обсуждать и голосовать отдельно от двух других?

Неккер считал уместным разделить эти вопросы. Без сомнения, он желал как дублирования палаты общин, так и того, чтобы три ордена голосовали вместе. Весьма вероятно, что король склонялся в том же направлении. Аристократия только что покорила его. Сильнее всего на него давила аристократия, которая подняла другие классы против королевской власти и привела их к победе. Эти удары были нанесены, и король не обладал достаточной проницательностью, чтобы понять, что его противники вскоре будут вынуждены защищать его и что его друзья станут его хозяевами. Louis XVI. поэтому, подобно своему министру, был склонен сформировать Генеральные штаты так, как того желала палата общин. Но они боялись зайти так далеко. Они остановились на полпути, не из-за какого-либо ясного осознания опасности, а сбитые с толку невнятным шумом вокруг них. Какому человеку или какому классу когда-либо хватало проницательности увидеть, когда становилось необходимым спуститься с высокой вершины, чтобы не быть сброшенным с нее?

Затем было решено, что палата общин должна вернуть вдвое больше членов, чем каждая из других палат, но вопрос о совместном голосовании остался нерешенным. Из всех вариантов действий этот, безусловно, был самым опасным.

Ничто так не способствует поддержанию деспотизма, как разделение и взаимное соперничество классов. Абсолютная власть живет за счет них: при условии, однако, что эти разногласия ограничиваются мирным ожесточением, что люди завидуют своим соседям без чрезмерной ненависти и что эти классы, хотя и разделены, не вооружены. Но всякое правительство должно погибнуть в разгар жестокого столкновения классов, когда они однажды начинают воевать друг с другом.

Без сомнения, было уже очень поздно стремиться сохранить старую конституцию Генеральных штатов, даже если бы она была реформирована. Но это решение, каким бы опрометчивым оно ни было, было поддержано законом страны, который все еще имел некоторую силу. В пользу правительства говорили традиции, и оно все еще держало руку на инструменте закона. Если бы сразу было признано двойное число общин и общее голосование трех сословий, без сомнения, произошла бы революция, но она была бы произведена короной, которая, свергнув эти старые институты, сама могла бы замедлить их падение. Высшие классы, должно быть, подчинились неизбежной необходимости. Оказавшись под давлением короны одновременно с давлением палаты общин, они сразу же признали бы свою неспособность сопротивляться. Отчаявшись в собственном превосходстве, они боролись бы только за равные права и усвоили бы урок борьбы за спасение чего-либо, вместо того чтобы бороться за сохранение всего.

Разве не было бы возможно сделать по всей Франции то, что на самом деле было сделано Тремя орденами в Дофини? В этой провинции провинциальные сословия общим голосованием выбирали представителей Трех орденов в Генеральные штаты. Каждый орден в провинциальном штате избирался отдельно и представлял только себя; но все Ордена объединялись, чтобы назначить депутатов в Генеральные штаты, так что у каждого дворянина среди его избирателей были простолюдины, а у каждого простолюдина - дворяне. Три изображения, хотя и оставались различными, приобрели, таким образом, определенное сходство. Разве то же самое не могло быть сделано в другом месте, кроме Дофини? Если бы Ордена были созданы таким образом, разве они не могли бы сосуществовать в едином Собрании, не доходя до насильственного столкновения?

Не следует придавать слишком большого значения этим законодательным мерам. Движущей силой человеческих дел являются идеи и страсти человека, а не механизм закона. Несомненно, какие бы шаги ни были предприняты в то время для формирования и регулирования Национальных собраний, можно подумать, что разразилась бы война между классами во всем ее неистовстве. Возможно, их вражда была уже слишком ожесточенной, чтобы они могли действовать согласованно, а власть короля была уже слишком слаба, чтобы заставить их согласиться. Но следует признать, что ничто не могло быть сделано более расчетливо, чем то, что было сделано для того, чтобы сделать конфликт между ними мгновенным и смертельным. Могло ли высочайшее искусство, сноровка и продуманный план осуществить все это более уверенно, чем это было на самом деле сделано по неопытности и безрассудству? Палате общин была предоставлена возможность собраться с духом, подготовиться к столкновению и подсчитать свою численность. Их моральный пыл неумеренно возрос и удвоил вес их партии. Они были привлечены каждой надеждой; они были запуганы каждым страхом. Победа была выставлена напоказ перед их глазами, она не была дана, но их приглашали воспользоваться ею. После того как они оставили два класса на пять месяцев, чтобы выплеснуть свою старую ненависть и повторить длинную историю своих обид, пока они не воспылали друг к другу яростным негодованием, их поставили лицом к лицу, и первым вопросом, который им предстояло решить, был тот, который включал в себя все остальные вопросы; только по этому вопросу они могли бы сразу и за один день разрешить все свои ссоры.

Что больше всего поражает в мировых делах, так это не столько гениальность тех, кто совершил революцию, потому что они этого желали, сколько исключительная глупость тех, кто совершил ее, не желая этого, — не столько роль, сыгранная великими людьми, сколько влияние, часто оказываемое самыми незначительными персонажами в истории. Когда я рассматриваю Французскую революцию, я поражаюсь огромному размаху этого события, тому сиянию, которое оно бросило на край света, его силе, которую в той или иной степени ощутили все нации. Если я обращаюсь к Двору, который сыграл столь важную роль в Революции, я увижу там некоторые из самых тривиальных сцен в истории — король, у которого не было величия, кроме своих добродетелей, и это не добродетели короля; легкомысленные или ограниченные министры, распутные священники, опрометчивые или жадные до денег придворные, тщеславные женщины, которые держали в своих руках судьбы человечества. И все же эти ничтожные личности приводят в движение, продвигают вперед, ускоряют грандиозные события. Они сами не принимают в них особого участия. Они сами - простые случайности. Они могут сойти почти за первопричины. И я восхищаюсь Всемогущей Силой, которая с помощью таких коротких рычагов, как эти, может привести в движение массы человеческого общества.

ГЛАВА VI.

ПОДГОТОВКА ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТОВ ВНЕДРИЛА В СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ КОНЦЕПЦИЮ РАДИКАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Почти все учреждения средневековья несли на себе печать смелости и правды. Те законы были несовершенны, но они были искренними. У них было мало искусства, но и хитрости было меньше. Они всегда давали все права, которые, казалось, обещали. Когда палата общин была созвана в качестве части национальных ассамблей, она в то же время была наделена неограниченной свободой в обнародовании своих жалоб и направлении своих запросов. В городах, которые должны были направить депутатов в Генеральные штаты, весь народ был призван сказать, что он думает об устранении злоупотреблений и предъявлении требований. Никто не был лишен права на подачу жалобы, и любой человек мог выразить свое недовольство по-своему. Средства были настолько же просты, насколько смелым был политический прием. Вплоть до Генеральных штатов 1614 года во всех городах и даже в Париже на рыночной площади был установлен большой ящик с прорезью в нем для сбора бумаг и мнений всех людей, которые комитет, заседавший в Ратуше, был уполномочен просеивать и изучать. На основе всех этих разнообразных протестов был составлен законопроект, в котором выражалось недовольство общества и каждого отдельного человека.

Физическое и социальное устройство того времени покоилось на таких глубоких и прочных основах, что подобного рода общественное расследование могло состояться, не поколебав его. Не было вопроса об изменении принципа законов, а просто о том, чтобы привести их в порядок. Более того, то, что тогда называлось палатой общин, было гражданами определенных городов. Жители городов могли пользоваться полной свободой в выражении своих обид, потому что они были не всостоянии требовать возмещения ущерба: они беспрепятственно пользовались этой демократической свободой, потому что во всех других отношениях безраздельно властвовала аристократия. Сообщества средневековья были аристократическими структурами, которые просто содержали (и это способствовало их величию) некоторые небольшие фрагменты демократии.

В 1789 году палата общин, которая должна была быть представлена в Генеральных штатах, состояла уже не только из горожан, как это было в 1614 году, но и из двадцати миллионов крестьян, разбросанных по всей территории королевства. До тех пор они никогда не принимали никакого участия в общественных делах. Политическая жизнь не была для них даже случайным воспоминанием о другой эпохе: она была во всех отношениях новинка. Тем не менее, в определенный день жители каждого из сельских приходов Франции, собранные под звон церковных колоколов на рыночной площади перед церковью, впервые с момента установления монархии приступили к совещанию, чтобы составить так называемый совет своих представителей. [138]

Во всех странах, в которых политические собрания избираются всеобщим голосованием, не проводится ни одного всеобщих выборов, которые не вызвали бы глубокого волнения в народе, если только свобода голосования не является ложью. Здесь речь шла не только о всеобщем

голосовании, но и о всеобщем обсуждении и расследовании. Обсуждаемым вопросом был не какой-то особый обычай или местный интерес; каждого представителя одной из величайших наций в мире спросили, что он может сказать вопреки всем законам и обычаям своей страны. Я думаю, что подобного зрелища еще никто не видел на земле. Поэтому все крестьяне Франции одновременно принялись за работу, чтобы обсудить между собой и резюмировать все, что они выстрадали, на что им приходилось жаловаться. Дух Революции, взволновавший горожан, хлынул, таким образом, через тысячи ручейков, проник в сельское население, которое было таким образом взволновано во всех своих частях, и погрузился в самые его глубины; но форма, которую он принял, была не совсем той; ее форма стала своеобразной и подходящей для тех, кого она только что затронула. В городах это был призыв к приобретению прав. В сельской местности мужчины думали главным образом об удовлетворении своих желаний. Все крупные, общие и абстрактные теории, занимавшие умы средних классов, приняли здесь конкретную и определенную форму.

Когда крестьяне приходили спросить друг у друга, на что они могут пожаловаться, их не заботил баланс сил, гарантии политической свободы, абстрактные права человека или граждан. Они сразу же сосредоточились на предметах более особенных и близких им самим, которые каждому из них пришлось пережить. Один думал о феодальных поборах, из-за которых у него отняли половину прошлогоднего урожая; другой о днях принудительного труда, когда он был вынужден работать без зарплаты. Один говорил о господних голубях, которые подобрали его семя с земли еще до того, как оно проросло; другой - о кроликах, которые пощипали его зеленую кукурузу. По мере того как их возбуждение росло из—за взаимосвязи их нищеты, им казалось, что все эти различные пороки исходят не столько от институтов, сколько от того единственного человека, который все еще называл их своими подданными, хотя давно перестал ими управлять, - который был созданием привилегий без обязательств и не сохранил ни одного из своих политических прав, кроме права жить за их счет; и они все больше и больше соглашались считать его своим общим врагом.

Провидение, решившее, что зрелище наших страстей и наших бедствий должно стать уроком миру, допустило, чтобы начало Революции совпало с большим дефицитом продовольствия и необычайной зимой. Урожай 1788 года был коротким, и первые месяцы зимы 1789 года были отмечены беспрецедентно суровыми холодами — мороз, подобный тому, который ощущается на северной оконечности Европы, закалил землю на огромную глубину. В течение двух месяцев вся Франция была скрыта под толстым слоем снега, как сибирские степи. Атмосфера была застывшей, небо тусклым и печальным; и эта случайность природы придавала страстям человека еще более мрачный и свирепый оттенок. Все жалобы, которые могли быть направлены против институтов страны и тех, кто управлял этими институтами, ощущались еще острее среди царивших холода и нужды; и когда крестьянин покидал свой едва горящий очаг, свое холодное и голое жилище с голодающей и замерзшей семьей, чтобы встретиться со своими товарищами и обсудить их обычные условия жизни, ему не стоило никаких усилий обнаружить причину всех своих бедствий, и он воображал, что легко сможет, если осмелится, указать пальцем на источник всех своих бед.

ГЛАВА VII.

КАК НАКАНУНЕ СОЗЫВА НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ СОЗНАНИЕ НАЦИИ РАСШИРИЛОСЬ, А ЕЕ ДУХ ПОДНЯЛСЯ.

До сих пор два вопроса разделяли все классы — вопрос о повторном созыве палаты общин и вопрос о голосовании Орденов в одном органе: первый был решен, второй отложен. Это великое Собрание, которое каждый человек в глубине души считал осуществлением своих надежд и которого все требовали с одинаковым рвением, должно было вот-вот собраться. Этого события ждали давно. До последнего это казалось сомнительным. Наконец это произошло. Подготовка переходила в реальность, слова - в действие. В этот торжественный момент все остановились, чтобы оценить величие начинания — достаточно близко, чтобы разглядеть смысл того, что предстояло сделать, и оценить усилия, которых требовала эта работа. Дворяне, духовенство и горожане в равной степени отчетливо понимали, что цель состоит не в том, чтобы изменить тот или иной закон, а в том, чтобы переделать все законы, вдохнуть в них новый дух, придать всем им новые цели и новый курс. Никто еще не знал точно, что будет разрушено или что будет создано; но все чувствовали, что будут созданы огромные руины и возведены огромные сооружения. И это не было пределом общественного доверия. Никто не сомневался, что судьба человечества была связана с работой, которая вот-вот должна была быть завершена.

В наши дни, когда бедствия революций сделали нас настолько смиренными, что мы едва ли считаем себя достойными свободы, которой пользуются другие нации, трудно составить представление о гордых ожиданиях наших предков. Литература того времени, к нашему изумлению, показывает, какого широкого мнения придерживались в то время французы всех рангов о своей стране и своей расе. Среди только что обнародованных схем реформ едва ли какая-либо была сформирована по образцу иностранного подражания. Они не были извлечены в качестве уроков из британской конституции или заимствованы из опыта американской демократии. Ничто не должно было копироваться; не должно было быть сделано ничего, что не было бы новым. Все должно было быть иным и более совершенным, чем виделось раньше. Уверенность французов в себе и в превосходстве собственного разума была безграничной — великая причина их ошибок, но также и их неподражаемой энергии. То, что было применимо только к ним самим, было бы в равной степени применимо ко всем людям. Не француз, но был убежден, что должно было измениться не только правительство Франции, но и в мире должны были быть введены новые принципы правления, применимые ко всем нациям земли и призванные возродить совокупность человеческих дел. Каждый человек воображал, что держит в своих руках судьбу не только своей страны, но и всего своего вида. Все верили, что для человечества, в каком бы состоянии оно ни находилось, существует только один суверенный метод правления, продиктованный разумом. Считалось, что одни и те же институты хороши для всех стран и для любого народа. Любое правительство, которое не было одобрено человеческим разумом, должно было быть уничтожено и заменено логическими институтами, которые должны были быть приняты, сначала французами, а затем и всей человеческой расой.

Масштабность, красота и риски такого предприятия пленили и восхищали воображение всего французского народа. В присутствии этого грандиозного проекта каждый человек полностью забывал о себе. Иллюзия длилась лишь мгновение, но это мгновение, возможно, не имело аналогов в истории ни одного народа. В образованных классах не было ничего от робкого и раболепного духа, которому они с тех пор научились у революций. С некоторых пор они

перестали бояться власти короны; они еще не научились бояться власти народа. Величие их замысла сделало их бесстрашными. Уже проведенные реформы причинили определенное количество личных страданий; с этим они смирились. Реформы, которые были неизбежны, должны были изменить положение тысяч людей: об этом не думали. Неопределенность будущего уже остановила ход торговли и парализовала усилия промышленников: ни лишения, ни страдания не погасили их пыла. Все эти частные бедствия исчезли даже в глазах тех, кто от них пострадал, в великолепии общего предприятия. Любовь к благополучию, которая однажды возобладала над всеми другими страстями, была тогда всего лишь подчиненным и слабым пристрастием. Люди стремились к более возвышенным удовольствиям. В глубине души каждый человек был полон решимости пожертвовать собой ради столь великого дела и не жалеть ни своего времени, ни своего имущества, ни своей жизни. Я спешу перечислить эти добродетели наших предков, ибо нынешний век, который уже не способен им подражать, скоро будет не в состоянии их понять.

В то время нация всех рангов стремилась к свободе. Сомневаться в его способности к самоуправлению показалось бы странной дерзостью, и ни один оратор того времени не осмелился бы сказать людям, что для их собственного счастья и безопасности их руки должны быть связаны, а их авторитет - опираться на поводки. Прежде чем они смогут слушать такой язык, народы должны быть вынуждены думать о себе более скромно.

Страсти, которые только что так яростно разгорелись между различными классами общества, казалось, сами собой остыли в тот момент, когда впервые за два столетия эти классы были готовы действовать сообща. Все с одинаковым рвением требовали восстановления великой Ассамблеи, которая тогда только родилась. Каждый из них видел в этом событии средство осуществления своих самых заветных надежд. Наконец-то должны были собраться Генеральные штаты! Общая радость наполнила эти разделенные сердца и на мгновение объединила их, прежде чем они расстались навсегда.

Все умы были поражены опасностью разобщения. Была предпринята суверенная попытка прийти к согласию. Вместо того чтобы останавливаться на причинах различий, люди занялись рассмотрением того, чего все одинаково желали: уничтожения произвола власти, самоуправления нации, признания прав каждого гражданина, свободы печати, личной свободы, смягчения закона, более строгого отправления правосудия, религиозной терпимости, отмены ограничений на труд и трудолюбие людей — всего этого требовали все. Это, по крайней мере, запомнилось: это было поводом для общей радости.

Я думаю, что ни в одну историческую эпоху ни в одной точке земного шара не было такого большого числа людей, столь страстно преданных общественному благу, столь искренне забывающих о себе, столь поглощенных размышлениями об общих интересах, столь решительных рискнуть всем, что им дорого в жизни, чтобы обеспечить это. Именно это придавало открытию 1789 года ни с чем не сравнимое величие. Это был общий источник страсти, мужества и патриотизма, из которого произошли все великие дела Революции. Сцена была короткой, но она никогда не изгладится из памяти человечества. Расстояние, с которого мы оглядываемся на него, - не единственная причина его кажущегося величия; он казался таким же великим всем, кто в нем жил. Все иностранные нации видели его, приветствовали, были тронуты им. Нет такого укромного уголка Европы, которого не достигло бы сияние восхищения и надежды. В обширной

серии воспоминаний, оставленных нам современниками Революции, я не встретил ни одного, в котором воспоминание о первых днях 1789 года не оставило бы неизгладимых следов; везде оно зажигало свежесть, ясность и живость впечатлений юности.

Я осмелюсь добавить, что на земле есть только один народ, который мог бы сыграть эту роль. Я знаю свою страну — я слишком хорошо знаю ее ошибки, изъяны, слабости и грехи. Но я также знаю, на что она способна. Есть предприятия, которые французская нация может осуществить одна; есть великодушные решения, которые эта нация может принять одна. Только Франция может в какой-то конкретный день взять в свои руки общее дело и встать на его защиту; и если она подвергается ужасным неудачам, у нее также бывают моменты возвышенного энтузиазма, которые возносят ее на высоты, которых никогда не достигнет ни один другой народ.

ПРИМЕЧАНИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИИ. [139]

Примечание (I.)—Страница 12, строка 18.

СИЛА РИМСКОГО ПРАВА В ГЕРМАНИИ.—СПОСОБ, КОТОРЫМ ОНО ЗАМЕНИЛО ГЕРМАНСКОЕ ПРАВО.

К концу средневековья римское право стало основным и почти единственным предметом изучения немецких легистов; действительно, в то время большинство из них получали образование за пределами Германии в итальянских университетах. Эти легисты, хотя и не были хозяевами политического общества, были ответственны за объяснение и применение его законов; и хотя они не могли отменить германское право, они изменили и обезобразили его так, чтобы оно соответствовало рамкам римского права. Они применили римское право ко всему в германских учреждениях, что, казалось, имело самую отдаленную аналогию с законодательством Юстиниана; и таким образом они ввели новый дух и новый обычай в национальное законодательство; постепенно оно было настолько полностью преобразовано, что его уже нельзя было узнать, и в семнадцатом веке, например, оно было почти неизвестно. Оно было заменено чем-то неопишмым, которое действительно было немецким по названию, но римским на самом деле.

Я нахожу основания полагать, что благодаря этим усилиям легистов состояние древнегерманского общества ухудшилось во многих отношениях, особенно в том, что касалось крестьян; многие из тех, кому до тех пор удавалось сохранить полностью или частично свои свободы или имущество, потеряли их в этот период из-за ученого уподобления своего положения римским рабам или эфитеотам.

Это постепенное преобразование национального законодательства и тщетные усилия, которые были предприняты, чтобы противостоять ему, можно ясно проследить в истории Вюртемберга.

С момента возникновения графства с таким названием в 1250 году и до создания герцогства в 1495 году законодательство было чисто местным; оно состояло из обычаев и местных законов,

принятых городами или судами сеньории, и статуты, обнародованных сословиями; только церковные дела регулировались иностранным кодексом, каноническим правом.

С 1495 года характер законодательства изменился: начало проникать римское право; *доктора*, как их называли, те, кто изучал юриспруденцию в иностранных школах, вошли в правительство и получили в свое распоряжение руководство высшими судами. В течение всей первой половины XVI века политическое общество вело против них ту же борьбу, которая в то же время велась в Англии, но с совершенно иным успехом. На тюрингенском сейме в 1514 году и на тех, которые последовали за ним, представители феодализма и городские депутаты выступали со всевозможными заявлениями против происходящего; они нападали на легистов, которые вторгались во все суды и меняли дух или букву всех обычаев и законов. Сначала казалось, что преимущество на их стороне; они получили от правительства обещание, что отныне высшие суды будут состоять из благородных и просвещенных людей, избранных из дворянства и сословий герцогства, а не из врачей, и что комиссия, состоящая из агентов правительства и представителей сословий, должна разработать проект кодекса, который мог бы служить правилом по всей стране. Эти усилия были тщетны. Римское право вскоре вытеснило национальное право из значительной части законодательства и даже пустило корни в той самой почве, на которой оно все еще позволяло этому законодательству существовать.

Эту победу иностранца над местным законом многие немецкие историки объясняют двумя причинами: -1. К движению, которое в тот период привлекало все умы к языкам и литературе древности, и к презрению, которое это внушало к интеллектуальным произведениям национального гения. 2. К идее, которая всегда владела всем Средневековьем в Германии и которая проявляется даже в законодательстве того периода, что Священная империя была продолжением Римской империи и что законодательство первой было наследством, полученным от последней.

Однако этих причин недостаточно для объяснения того, почему один и тот же закон в одно и то же время был введен на всем европейском континенте. Я полагаю, что это произошло из-за того факта, что в то время абсолютная власть суверенов повсюду устанавливалась на руинах древних свобод Европы и что римское право, закон о рабстве, превосходно соответствовало их взглядам.

Римское право, которое повсюду совершенствовало гражданское общество, имело тенденцию повсеместно деградировать политическое общество, поскольку оно было в основном продуктом деятельности высокоразвитого, но сильно поработанного народа. Короли Европы, соответственно, с готовностью приняли его и установили везде, где они были хозяевами. По всей Европе толкователи этого закона становились их министрами или главными агентами. Когда к ним обратились с призывом сделать это, легисты даже поддержали их законом против самого закона, и с тех пор они часто так делали. Где бы ни был государь, нарушивший законы, мы обычно находим рядом с ним легиста, который уверял его, что нет ничего более законного, и который самым ученым образом доказывал, что его насилие было справедливым и что угнетенная сторона была неправа.

ПЕРЕХОД ОТ ФЕОДАЛЬНОЙ МОНАРХИИ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ.

Поскольку все монархии стали абсолютными примерно в один и тот же период, едва ли вероятно, что это изменение конституции было вызвано каким-либо особым обстоятельством, случайно произошедшим в одно и то же время в каждом штате, и мы приходим к убеждению, что все эти сходные и современные события должны были быть вызваны какой-то общей причиной, которая одновременно действовала везде одинаковым образом.

Этой общей причиной был переход от одного состояния общества к другому, от феодального неравенства к демократическому равенству. Дворянство было уже подавлено, а народ еще не поднялся; первые были слишком низки, а вторые недостаточно высоки, чтобы сдерживать действия правящей власти. В течение ста пятидесяти лет короли и принцы наслаждались своего рода золотым веком, в течение которого они обладали одновременно стабильностью и неограниченной властью, двумя вещами, которые обычно несовместимы; они были такими же священными, как наследственные вожди феодальной монархии, и такими же абсолютными, как правители демократического общества.

Примечание (III.)—Страница 14, строка 25.

УПАДОК ВОЛЬНЫХ ГОРОДОВ ГЕРМАНИИ.—ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА (REICHSTÄDTE).

Согласно немецким историкам, период наибольшего расцвета этих городов пришелся на четырнадцатый и пятнадцатый века. В то время они были средоточием богатства, искусств и наук, хозяевами торговли Европы, самыми могущественными центрами цивилизации. Особенно на севере и юге Германии они закончились образованием независимых конфедераций с окружающей знатью, как это было сделано городами Швейцарии с крестьянами.

В шестнадцатом веке они все еще процветали, но наступил период их упадка. Тридцатилетняя война ускорила их падение, и вряд ли за этот период хоть один из них избежал разрушений.

Тем не менее, Вестфальский мирный договор упоминает их положительно и утверждает их положение как непосредственных государств, то есть государств, непосредственно зависящих от императора; но соседние государи, с одной стороны, и сам император, осуществление власти которого после тридцатилетней войны ограничивалось меньшими вассалами империи, ограничивали свой суверенитет все более и более узкими рамками. В восемнадцатом веке пятьдесят один из них все еще существовал, они занимали две скамьи в сейме и имели там независимое право голоса; но фактически они больше не оказывали никакого влияния на направление общих дел.

Дома все они были сильно обременены долгами, отчасти потому, что с них продолжали взимать имперские налоги по ставке, соответствующей их былому великолепию, а отчасти потому, что их собственное управление было чрезвычайно плохим. Весьма примечательно, что это плохое управление, казалось, было результатом какой-то тайной болезни, которая была общей для всех, какой бы ни была форма их устройства; аристократическая или демократическая, это в равной степени вызывало жалобы, которые, если и не были в точности одинаковыми, то были одинаково жестокими; если правительство было аристократическим, то, как говорили, оно

превращалось в кружок, состоящий из нескольких семей: все делалось по милости и в частных интересах; если демократическим, народные интриги и продажность проявлялись со всех сторон. В любом случае поступали жалобы на недостаток честности и бескорыстия со стороны правительств. Император был постоянно вынужден вмешиваться в их дела и пытаться восстановить в них порядок. Их население уменьшалось, и в них царила нищета. Они больше не были обителью немецкой цивилизации; искусство покинуло их и засияло в новых городах, созданных монархами и представляющих современное общество. Торговля покинула их — исчезли их былая энергия и патриотический пыл. Почти единственный Гамбург все еще оставался крупным центром богатства и интеллекта, но это было вызвано причинами, совершенно особыми для нее самой.

Примечание (IV.)—Страница 19, строка 14.

ДАТА ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В ГЕРМАНИИ.

Следующая таблица покажет, что отмена крепостного права в большинстве районов Германии произошла совсем недавно. Крепостное право было отменено—

1. В Бадене, в 1783 году.
2. In Hohenzollern, in 1804.
3. В Шлезвиге и Гольштейне, в 1804 году.
4. В Нассау, в 1808 году.
5. В Пруссии Фридрих Вильгельм I. покончил с крепостным правом в своих собственных владениях еще в 1717 году. Кодекс Великого Фридриха, как мы уже видели, был призван отменить его по всему королевству, но на самом деле он избавился от него только в его самой жесткой форме, *leibeigenschaft*, и сохранил его в смягченной форме *erbunterthänigkeit*. Только в 1809 году он полностью исчез.
6. В Баварии крепостное право исчезло в 1808 году.
7. Указ Наполеона, датированный Мадридом в 1808 году, отменил его в Великом герцогстве Берг и на нескольких других небольших территориях, таких как Эрфурт, Байрут и др.
8. В королевстве Вестфалия его разрушение датируется 1808 и 1809 годами.
9. В княжестве Липпе-Детмольд с 1809 года.
10. В Шомбург-Липпе, с 1810 года.
11. В Шведской Померании также с 1810 года.
12. В Гессен-Дармштадте, с 1809 по 1811 год.
13. Вюртемберг, с 1817 года.
14. В Мекленбурге с 1820 года.

15. В Ольденбурге с 1814 года.

16. В Саксонии, в Лужице, с 1832 года.

17. В Гогенцоллерн-Зигмарингене только с 1833 года.

18. В Австрии с 1811 года. Еще в 1782 году Иосиф II. был разрушен *leibeigenschaft*; но крепостничество в его смягченной форме *erbunterthänigkeit* просуществовало до 1811 года.

Примечание (V.)—Страница [19](#), строка 17.

Часть стран, которые сейчас являются немецкими, таких как Бранденбург, собственно Пруссия и Силезия, первоначально были населены славянской расой и были завоеваны и частично оккупированы немцами. В этих странах крепостное право имело гораздо более суровый характер, чем в самой Германии, и оставило гораздо более сильные следы в конце XVIII века.

Примечание (VI.)—Страница [20](#), строка 11.

КОДЕКС ФРИДРИХА ВЕЛИКОГО.

Среди работ Фридриха Великого наименее известным, даже в его собственной стране, и наименее блестящим является Кодекс, составленный под его руководством и обнародованный его преемником. Я не знаю, однако, проливает ли какой-либо из них больше света на самого человека и на его время, или какой более полно демонстрирует их взаимное влияние друг на друга.

Этот кодекс является настоящей конституцией в том смысле, который обычно вкладывается в это слово; он определяет не только отношения граждан друг к другу, но и отношения между гражданами и государством: это одновременно гражданский кодекс, уголовный кодекс и хартия.

Он основывается или кажется основанным на определенном количестве общих принципов, выраженных в очень философской и абстрактной форме и во многих отношениях напоминающих те, которые в изобилии содержатся в Декларации прав человека французской конституции 1791 года.

Он провозглашает, что благо государства и его жителей является целью общества и ограничением закона; что законы не могут ограничивать свободу или права граждан иначе, как ради общественной пользы; что каждый член государства обязан трудиться на общественное благо в соответствии со своим положением и состоянием; и что права отдельных лиц должны уступить место интересам общества.

Здесь нет упоминания ни о наследственном праве Суверена и его семьи, ни даже о каких-либо частных правах, отличных от прав государства. Название государства - единственное, которое используется для обозначения королевской власти.

С другой стороны, много говорится об общих правах человека: эти общие права человека основаны на естественной свободе каждого преследовать свою выгоду при условии, что это делается без ущерба для прав других. Все действия, не запрещенные естественным правом или позитивными законами государства, разрешены. Каждый житель государства может требовать от него защиты своей личности и имущества и имеет право защищать себя силой, если государство не придет ему на помощь.

Установив эти первые великие принципы, законодатель, вместо того чтобы выводить из них, как в кодексе 1791 года, доктрину суверенитета народа и организации народного правительства в свободном обществе, делает короткий поворот и приходит к другому результату, столь же демократическому, но ни в коем случае не либеральному; он рассматривает суверена как единственного представителя государства и наделяет его всеми правами, которые были признаны принадлежащими обществу. В этом кодексе суверен больше не является представителем Бога, он является представителем общества, его агентом и его слугой, используя собственные слова Фредерика, напечатанные в его работах; но он один представляет его, он один обладает всей его властью. Глава государства, говорится во Введении, обязанностью которого является достижение общего блага, которое является единственной целью общества, уполномочен управлять всеми действиями людей и направлять их к этой цели.

Среди главных обязанностей этого всемогущего представителя общества мы находим следующие: сохранять мир и общественную безопасность дома и защищать каждого от насилия. За границей он сам решает, заключать мир или воевать; он только издает законы и вводит в действие общие полицейские инструкции; он один обладает правом объявлять помилование и прекращать уголовное преследование.

Все ассоциации, которые могут существовать в государстве, и все общественные учреждения подлежат его проверке и руководству ради общего мира и безопасности. Для того чтобы глава государства мог выполнять эти обязательства, он должен обладать определенными доходами и доходными правами; соответственно, он имеет право облагать налогом частные состояния и людей, их профессии, их ремесла, их продукцию или их потребление. Приказам, отдаваемым государственными служащими, действующими от его имени, следует повиноваться, как и его собственным, во всех вопросах в рамках их функций.

Под этой совершенно современной головой мы сейчас увидим совершенно готическое тело; Фредерик всего лишь удалил из нее все, что стояло на пути действия его собственной власти, и в результате получилось чудовище, которое выглядело как переход от одного порядка творения к другому. В этой странной постановке Фредерик проявил столько же презрения к логике, сколько заботы о собственной силе и стремления не создавать ненужных трудностей на своем собственном пути, нападая на то, что еще было достаточно сильным, чтобы защищаться.

Жители сельских округов, за исключением нескольких округов и местечек, находились в состоянии наследственного рабства, которое не ограничивалось принудительным трудом и услугами, присущими владению определенными поместьями, но распространялось, как мы видели, на личность владельца.

Большинство привилегий владельцев земли были заново подтверждены кодексом; можно даже сказать, что они были подтверждены вопреки кодексу, поскольку в нем говорится, что там, где местные обычаи отличались от нового законодательства, необходимо было следовать первым.

Он официально заявляет, что государство не может уничтожить ни одну из этих привилегий, кроме как купив их и следующие формы правосудия.

В кодексе, правда, утверждалось, что крепостное право, собственно так называемое (*leibeigenschaft*), поскольку оно устанавливало личное рабство, было отменено, но заменившее его наследственное подчинение (*erbunterthänigkeit*) все еще было разновидностью рабства, как можно видеть, читая текст.

В том же кодексе бюргер оставался тщательно отделенным от крестьянина; между бюргерами и дворянством был признан своего рода промежуточный класс, состоящий из высокопоставленных чиновников, которые не были дворянами, духовенства, профессоров научных школ, гимназий и университетов.

Хотя, в отличие от остальных бюргеров, этих людей ни в коем случае нельзя было смешивать с дворянами; они оставались в положении неполноценности по отношению к ним. Как правило, они не могли приобретать дворянские поместья (*rittergüter*) или занимать высшие должности на государственной службе. Более того, они не были *хоффеурами*, то есть они не могли быть представлены при дворе, за исключением очень редких случаев, и никогда со своими семьями. Как и во Франции, эта неполноценность была тем более досадной, что с каждым днем этот класс становился все более просвещенным и влиятельным, а бюргерские чиновники государства, хотя и не занимали самых блестящих постов, уже занимали те, на которых работа была самой тяжелой и важной. Раздражение против привилегий дворянства, которое должно было внести столь значительный вклад во Французскую революцию, подготовило почву для одобрения, с которым оно было поначалу встречено в Германии. Главный автор кодекса, тем не менее, был бюргером; но он, несомненно, следовал указаниям своего хозяина.

Древняя конституция Европы не была разрушена в этой части Германии настолько, чтобы заставить Фридриха поверить, что, несмотря на презрение, с которым он относился к ней, еще не пришло время смести ее остатки. В основном он ограничивался лишением знати права собираться и управлять коллективно, и оставлял каждому человеку его привилегии, лишь ограничивая и регулируя их применение. Так случилось, что этот кодекс, составленный под руководством ученика наших философов и введенный в действие после начала Французской революции, является наиболее достоверным и самым свежим законодательным документом, который дает правовую основу тому самому феодальному неравенству, которое Революция собиралась уничтожить по всей Европе.

В нем дворянство объявлялось главным органом государства; дворяне, говорится в нем, должны были назначаться в порядке предпочтения на все почетные должности, которые они могли бы быть компетентны занимать. Только они могли владеть дворянскими поместьями, создавать поместья, пользоваться привилегиями спорта и отправления правосудия, присущими дворянским поместьям, а также правами покровительства Церкви; только они могли носить название поместий, которыми они владели. Бюргеры, которым было разрешено в порядке прямого освобождения владеть дворянскими поместьями, могли пользоваться правами и почестями, связанными с их владением, только в точных пределах этого разрешения. Бюргер, обладавший знатным поместьем, не мог завещать его наследнику своего собственного класса, если только тот не находился в пределах первой степени кровного родства. Если такого наследника или наследника благородного происхождения не было, поместье подлежало продаже с публичных торгов.

Одной из наиболее характерных частей кодекса Фредерика является уголовный закон о политических преступлениях, который прилагается к нему.

Преемник Великого Фридриха, Фридрих Вильгельм II, который, несмотря на феодальную и абсолютистскую часть законодательства, о которой я дал краткий обзор, полагал, что усмотрел революционную тенденцию в постановлении своего дяди, и соответственно отложил его публикацию до 1794 года, был успокоен, как говорят, только прекрасными уголовными правилами, посредством которых этот кодекс исправил содержащиеся в нем плохие принципы. Действительно, даже с тех пор не было изобретено ничего более совершенного в своем роде; не только восстания и заговоры подлежали строжайшему наказанию, но даже неуважительная критика действий правительства также подвергалась самым суровым репрессиям. Покупка и распространение опасных произведений были строго запрещены; печатник, издатель и распространитель были привлечены к ответственности за грехи автора. Ридотто, маскарады и другие увеселения были объявлены общественными собраниями и должны были быть разрешены полицией; то же самое относилось и к обедам в общественных местах. Свобода печати и слова была полностью подвергнута произвольному надзору; ношение огнестрельного оружия также было запрещено.

Посреди этого производства, половина которого была заимствована из средневековья, появляются правила, которые своим крайним духом централизации фактически граничили с социализмом. Таким образом, установлено, что государство обязано обеспечивать продовольствием, работой и заработной платой всех, кто не в состоянии содержать себя и кто не имеет права на помощь ни от господ, ни от прихода: таким, как они, работа должна была быть предоставлена в соответствии с их силами и возможностями. Государство должно было создавать учреждения для облегчения бедности своих граждан; более того, государству было разрешено разрушать фонды, поощряющие праздность, и распределять между бедными деньги, находящиеся под их контролем.

Новизну и смелость теорий и робость на практике, которые характеризуют эту работу Великого Фредерика, можно найти в каждой ее части. С одной стороны, он провозгласил великий принцип современного общества, согласно которому все должны одинаково облагаться налогом; с другой стороны, он сохранил действие провинциальных законов, содержащих исключения из этого правила. Оно предписывало, что все судебные тяжбы между подданным и сувереном должны рассматриваться в соответствии с формами и прецедентами, установленными для всех других судебных разбирательств; но на самом деле это правило никогда не соблюдалось, когда интересы или страсти короля противоречили ему. Мельница Сан-Суси была выставлена напоказ, в то время как во многих других случаях правосудие тихо подавлялось.

Лучшим доказательством того, как мало реальных новшеств содержалось в этом явно новаторском кодексе, и что, следовательно, делает его весьма любопытным исследованием для тех, кто желает знать истинное состояние общества в этой части Германии в конце восемнадцатого века, является то, что прусская нация, казалось, едва ли осознавала его публикацию. Только легисты изучали его, и в наши дни огромное количество образованных людей никогда его не читали.

Примечание (VII.)—Страница [21](#), последняя строка.

ЗЕМЛИ КРЕСТЬЯН В ГЕРМАНИИ.

Среди крестьянства было много семей, которые были не только свободными людьми и землевладельцами, но и чьи поместья составляли бессрочную собственность. Имущество, которым они владели, не могло быть разделено и наследовалось только одному из сыновей, обычно самому младшему, как это принято в некоторых английских обычаях. Этот сын был обязан лишь выплачивать определенную часть своим братьям и сестрам.

Эти *Erbgüter* крестьянства были более или менее распространены по всей Германии, ибо ни в одной ее части феодальная система не поглотила всю землю целиком. В Силезии, где дворянство все еще сохраняет огромные владения, частью которых являлось большинство деревень, тем не менее были деревни, полностью принадлежащие их жителям и совершенно свободные. В некоторых частях Германии, таких как Тироль и Фрисландия, преобладающим положением вещей было то, что крестьяне владели землей как *эрбгютеры*.

Но в большей части Германии такого рода владение было лишь более или менее частым исключением. В деревнях, где она существовала, мелкие собственники такого рода образовывали своего рода аристократию среди крестьянства.

Примечание (VIII.)—Страница [22](#), строка 3.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗНАТИ И РАЗДЕЛ ЗЕМЕЛЬ ПО БЕРЕГАМ РЕЙНА.

Из информации, собранной на месте, и от людей, живших при старом порядке вещей, я заключаю, что, например, в Кельнском курфюршестве было большое количество деревень без сеньоров, управляемых агентами князя; что в тех местах, где существовало дворянство, его административные полномочия были сильно ограничены; что его положение было скорее блестящим, чем могущественным (по крайней мере, индивидуально); что они пользовались многими почестями и входили в совет князя, но не имели реальной и непосредственной власти над народом. Я выяснил из других источников, что в том же электорате собственность была сильно поделена и что большое количество крестьян были землевладельцами; это объяснялось главным образом состоянием стеснения и почти нищеты, в котором долгое время жили столь многие знатные семьи, и которое вынуждало их постоянно отчуждать небольшие участки своей земли, которые были куплены крестьянами либо за наличные деньги, либо по фиксированной арендной плате. Я прочитал перепись населения Кельнского епископства в начале восемнадцатого века, которая дает представление о состоянии земельной собственности в то время, и я нахожу, что даже тогда одна треть земли принадлежала крестьянам. Из этого факта возникло сочетание чувств и идей, которое приблизило население этой части Германии к состоянию революции гораздо ближе, чем население других районов, в которых эти особенности еще не проявились.

Примечание (IX.)—Страница [22](#), строка 27.

КАК ЗАКОНЫ О РОСТОВЩИЧЕСТВЕ УСКОРИЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ.

Закон, запрещающий ростовщичество под любой процент, все еще действовал в конце восемнадцатого века. От Тюрго мы узнаем, что даже в 1769 году он все еще соблюдался во многих местах. Закон существует, говорит он, хотя его часто нарушают. Консульские судьи допускают выплату процентов без отчуждения капитала, в то время как обычные суды осуждают это. Мы все еще можем видеть, как мошеннические должники возбуждают уголовные дела против своих кредиторов за то, что те одалживали им деньги без отчуждения капитала.

Независимо от последствий, которые это законодательство не могло не оказать на торговлю и на промышленные привычки нации в целом, оно также оказало весьма заметное влияние на разделение земель и владение ими. Это увеличивало, *до бесконечности*, вечные арендные платежи, как за недвижимое, так и за другое имущество. Это побудило древних владельцев земли вместо того, чтобы брать займы, когда им нужны были деньги, продавать небольшие участки своих поместий для выплаты частично в виде капитала, а частично в виде постоянной ренты; это в значительной степени способствовало, с одной стороны, разделению земли, а с другой - обременению мелких собственников множеством постоянных услуг.

Примечание (X.)—Страница [25](#), строка 9.

ПРИМЕР СТРАСТЕЙ, ВЫЗВАННЫХ ДЕСЯТИНОЙ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДО РЕВОЛЮЦИИ.

В 1779 году малоизвестный юрист из Люсе в очень резких выражениях, уже имевших привкус революции, жаловался, что кюре и другие крупные десятинники продавали фермерам по непомерной цене полученную ими в виде десятины солому, которая была необходима последним для производства навоза.

Примечание (XI.)—Страница [25](#), строка 15.

ПРИМЕР ТОГО, КАК ДУХОВЕНСТВО ОТЧУЖДАЛО НАРОД, ПОЛЬЗУЯСЬ СВОИМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ.

В 1780 году приор и каноники монастыря Лаваль пожаловались на попытку обложить их тарифными пошлинами на предметы потребления и материалы, необходимые для ремонта их зданий. Они утверждали, что, поскольку тарифные пошлины представляли собой *taille* и поскольку они были освобождены от *taille*, следовательно, они ничего не должны. Министр направил их на принятие решения на выборах с правом обжалования в *Суд помощников*.

Примечание (XII.)—Страница [25](#), строка 23.

ФЕОДАЛЬНЫЕ ПРАВА, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЛИ СВЯЩЕННИКИ. — ОДИН ПРИМЕР ИЗ ТЫСЯЧИ.

Шербургское аббатство (1753). В то время это аббатство взимало сеньориальную ренту, выплачиваемую деньгами или натурой почти в каждом приходе вокруг Шербура; одна-единственная деревня была должна ему триста шесть бушелей пшеницы. Ему принадлежало баронство Сте. Женевьева, баронство и сеньориальная мельница Ба-дю-Руль, а также баронство Невиль-о-Плейн, расположенные на расстоянии не менее десяти лье. Кроме того, он получал десятину от двенадцати приходов на полуострове, из которых несколько находились очень далеко от него.

Примечание (XIII.)—Страница 27, строка 21.

РАЗДРАЖЕНИЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯН ВЫЗЫВАЛИ ФЕОДАЛЬНЫЕ ПРАВА, И ОСОБЕННО ФЕОДАЛЬНЫЕ ПРАВА СВЯЩЕННИКОВ.

Следующее письмо было написано незадолго до Революции фермером самому интенданту. На него нельзя ссылаться как на авторитетное доказательство истинности фактов, которые он утверждает, но это прекрасное указание на состояние чувств среди класса, к которому принадлежал его автор.

"Хотя у нас в этой части страны мало дворян, - говорит он, - вы не должны думать, что земля хоть сколько-нибудь обременена арендной платой; отнюдь нет, почти все поместья принадлежат кафедральному собору, архиепископству, колледжу Святого Мартина, бенедиктинцам Нуармутье, Сен-Жюльена и другим священнослужителям, которые никогда не допускают, чтобы ими не пользовались, но постоянно вынашивают новые из старых заплесневелых пергаментов, изготовленных одному богу известно каким образом!"

‘Вся страна заражена взиманием арендной платы. Большая часть земли ежегодно должна седьмую часть пшеницы с половины акра, другие - вино; один должен посылать сеньории четверть своих фруктов, другой - пятаю и т. Д., десятина всегда вычитается заранее; этот человек - двенадцатую, тот - тринадцатую. Все эти права настолько странны, что я знаю их в любом количестве, от четвертой до сороковой части плода.

Что можно сказать о сборах, выплачиваемых всеми видами зерна, овощей, деньгами, домашней птицей, рабочей силой, деревом, фруктами, свечами?

‘Я знаю странные сборы в виде хлеба, воска, яиц, поросят без головы, венков из роз, букетов фиалок, позолоченных шпор и так далее. Существует также бесчисленное множество других сеньориальных прав. Почему Франция до сих пор не освобождена от всех этих абсурдных сборов? Наконец-то у людей начинают открываться глаза, и можно надеяться на мудрость нынешнего правительства: оно протянет руку помощи бедным жертвам нарушений старых фискальных законов, называемых сеньориальными правами, которые никогда не должны отчуждаться или продаваться.

Опять же, что мы должны думать о тирании штрафов (*lods et ventes*)? Покупатель исчерпывает свои средства, чтобы купить немного земли, а затем вынужден оплачивать большие расходы на судебное разбирательство и заключение контракта, вступление во владение, *процессуальные действия (contrôle)*, проверку и регистрацию (*намеки*), сотую часть *деньге*, восемь су в ливре и т. Д.: И помимо всего этого, он должен представить свой контракт своему сеньору, который

заставляет его заплатить штрафы (*lods et ventes*) на основную сумму его покупки; некоторые требуют двенадцатую, другие - десятую часть: одни требуют пятнадцатую, другие - пятнадцатую и еще пятую часть от этой суммы. Короче говоря, их можно найти по любой цене; и я даже знаю некоторых, которые берут треть денег за покупку. Нет, самые свирепые и варварские народы во вселенной никогда не изобрели таких огромных и многочисленных поборов, как те, которые наши тираны обрушили на головы наших предков.’ (Эта философская и литературная тирада повсюду написана с ошибками.)

‘Как! мог ли покойный король санкционировать погашение арендной платы за собственность в городах и не включить ее в сельской местности? Последнее должно было быть на первом месте: почему бедным фермерам не должно быть позволено разорвать свои оковы, искупить вину и освободиться от множества сеньориальных арендных платежей, которые наносят такой большой ущерб вассалам и так мало приносят прибыли их сеньорам? Не должно быть никакого различия в силе искупления между городом и деревней, между лордами и частными лицами.

‘Интенданты тех, кто распоряжается церковной собственностью, грабят и убивают всех своих фермеров каждый раз, когда собственность переходит из рук в руки. У нас есть недавний пример этого. Интендант нашего нового архиепископа по прибытии уведомил об увольнении всех фермеров своего предшественника месье де Флери, объявил все договоры аренды, которые они заключили при нем, недействительными, и выгнал всех, кто не удвоил свою арендную плату и не передал снова тяжелые “винные горшки”, которые они уже выплатили интенданту месье де Флери. Таким образом, они были самым печально известным образом лишены семи или восьми лет аренды, срок которой еще оставался в силе, и были вынуждены внезапно покинуть свои дома незадолго до Рождества, самого критического времени года из-за трудностей с добычей корма для скота, не зная, где найти убежище. Король Пруссии не мог бы поступить хуже.

Действительно, похоже, что в отношении церковной собственности договоры аренды предыдущего должностного лица не были юридически обязательными для его преемника. Автор вышеупомянутого письма совершенно прав в своем утверждении, что феодальная рента подлежала погашению в городах, а не в деревне. Это новое доказательство пренебрежения, проявленного к крестьянству, и того, каким образом все те, кто стоит над ними, находили средства для отстаивания своих собственных интересов.

Примечание (XIV.)—Страница [27](#), строка 27.

ПОСЛЕДСТВИЯ ФЕОДАЛИЗМА.

Всякий институт, который долгое время был господствующим, после того как прочно утвердился в своей сфере, проникает за ее пределы и в конце концов оказывает значительное влияние даже на ту часть законодательства, которой он не управляет; таким образом, феодализм, хотя он относился прежде всего к политическому праву, преобразовал также и все гражданское право и глубоко изменил состояние собственности и людей во всех отношениях частной жизни. Это повлияло на закон о наследовании из-за неравноправия раздела - принципа, который распространился даже на средние классы в некоторых провинциях, например, в Нормандии.

Его влияние распространилось на всю недвижимость, поскольку не было ни одного землевладения, полностью исключенного из сферы его действия, ни одного, владельцы которого каким-либо образом не ощущали бы его воздействия. Оно затрагивало собственность не только отдельных лиц, но даже общин; оно воздействовало на промышленные предприятия через взимаемые с них пошлины; оно воздействовало на частные доходы неравенством общественных занятий и денежными интересами вообще в бизнесе каждого человека; на землевладельцев - налогами, арендной платой и барщиной; на арендаторов - тысячью различных способов, среди прочих через *banalités* (право сеньора заставлять своих вассалов молотить зерно на его мельнице и т. Д.), сеньориальные пошлины. монополии, вечная арендная плата, штрафы и т. Д.; На торговцев - рыночные сборы; на торговцев - транспортные сборы, и т. Д. Нанеся последний удар феодальной системе, Революция заставила увидеть и почувствовать себя, так сказать, во всех наиболее чувствительных точках, представляющих частный интерес.

Примечание (XV.)—Страница 35, строка 8.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЯЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ.— ФАВОРИТИЗМ.

В 1748 году король пожаловал 20 000 фунтов. риса (это был год большой нужды и дефицита, как и многие другие в восемнадцатом веке). Архиепископ Турский утверждал, что это пособие было получено им самим и, следовательно, должно распределяться им одним и в его собственной епархии. Интендант заявил, что помощь была оказана всему *генералитету* и, следовательно, должна быть распределена им по всем различным приходам. После затяжной борьбы король, стремясь примирить обоих, удвоил количество риса, предназначенное для *генералитета*, чтобы архиепископ и интендант могли раздать по половине каждый. Оба согласились, что распределение должно осуществляться *кюре*. Не было и речи о том, чтобы доверить это сеньорам или синдикам. Из переписки между интендантом и генеральным контролером мы видим, что, по мнению первого, архиепископ хотел полностью отдать рис своим протекже, и особенно добиться того, чтобы большая его часть распределялась в приходах, принадлежащих герцогине де Рошешуар. С другой стороны, мы находим среди этих бумаг письма от знатных людей, просящих помощи, в частности, для их собственных приходов, и письма от Генерального контролера, рекомендующего приходы, принадлежащие конкретным лицам.

Законная благотворительность дает простор для злоупотреблений, какой бы ни была применяемая система; но она совершенно невыполнима, когда осуществляется на расстоянии и без огласки со стороны Центрального правительства.

Примечание (XVI.)—Страница 35, строка 8.

ПРИМЕР ТОГО, КАК УПРАВЛЯЛАСЬ ЭТА ЗАКОННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

В отчете, представленном провинциальному собранию Верхней Гиенны в 1780 году, мы находим: "Из суммы в 385 000 ливров, суммы средств, предоставленных его Величеством этому *правительству* с 1773 года, когда впервые были учреждены *благотворительные*

работы, до 1779 года включительно избирательный округ Монтобан, который является резиденцией интенданта, получил на свою долю свыше 240 000 ливров, большая часть которых фактически была выплачена в пользу коммуна Монтобан.

Примечание (XVII.)—Страница 35, строка 12.

ПОЛНОМОЧИЯ ИНТЕНДАНТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВ.

Архивы интендантств полны документов, относящихся к этому регулированию торговли и производств.

Промышленность не только подвергалась ограничениям, налагаемым на нее *государственным корпусом, мэтрами* и т. Д., Но и была предоставлена всем капризам правительства, обычно представленного королевским советом, в том, что касалось общих правил, и интендантам в их особом применении. Мы обнаруживаем, что последние постоянно вмешиваются в то, какой длины должны быть сотканы куски ткани, какой узор следует выбрать, какому методу следовать и каких дефектов следует избегать при изготовлении. В их подчинении, независимо от заместителей делегатов, находились местные инспекторы мануфактур. В этом отношении централизация продвинулась еще дальше, чем в настоящее время; она была более капризной и произвольной: она породила толпы государственных чиновников и создала всевозможные привычки подчинения и зависимости.

Следует помнить, что эти привычки были привиты прежде всего производственному и коммерческому среднему классу, чей триумф был уже близок, в гораздо большей степени, чем тем, кто был обречен на поражение. Соответственно, Революция, вместо того чтобы уничтожить эти привычки, не могла не способствовать их распространению и преобладанию.

Все предыдущие замечания были сделаны после прочтения объемистой корреспонденции и других документов, озаглавленных "Мануфактуры и ткани, драпировки, галантерейные товары", которые можно найти среди оставшихся бумаг, принадлежащих архивам интендантства острова Франция. Они также содержат частые и подробные отчеты инспекторов интенданту о посещениях ими различных производств с целью установления того, соблюдаются ли правила, установленные для методов изготовления. Более того, в совете есть различные распоряжения, отданные по рекомендации интенданта, запрещающие или разрешающие производство либо в определенных местах, либо определенных продуктов питания, либо в соответствии с определенными методами.

Преобладающая идея в замечаниях этих инспекторов, которые относятся к производителям с большим презрением, заключается в том, что долг и право государства заставлять их делать все возможное не только ради общественных интересов, но и ради их собственных. Соответственно, они считали себя обязанными заставить их применять наилучшие методы и тщательно вникать в каждую деталь их искусства, сопровождая этот добрый интерес бесчисленными запретами и огромными штрафами.

Примечание (XVIII.)—Страница [36](#), последняя строка.

ДУХ ПРАВЛЕНИЯ ЛЮДОВИКА XI.

Ни один документ не позволяет нам лучше оценить истинный дух правления Людовика XI. многочисленные конституции, дарованные им городам. У меня была возможность очень внимательно изучить те из них, которые он передал большинству городов Анжу, Мэна и Турени.

Все эти конституции сформированы по одной и той же модели, и во всех них проявляются одни и те же замыслы. Фигура Людовика XI, которую они нам открывают, довольно сильно отличается от той, с которой мы знакомы. Мы привыкли считать его врагом дворянства, но в то же время искренним, хотя и несколько суровым другом народа. Здесь, однако, он проявляет ту же ненависть к политическим правам народа и дворянства. Он использует средний класс, чтобы свергнуть тех, кто выше его, и удержать тех, кто ниже: он в равной степени антиаристократичен и антидемократичен; по сути, он король-гражданин. Он возлагает привилегии на главных лиц городов, значение которых он желает увеличить; он щедро наделяет их дворянством, тем самым понижая его ценность, и в то же время он разрушает весь народный и демократический характер управления городами и ограничивает управление ими небольшим числом семей, приверженных его реформам и связанных с его властью огромными преимуществами.

Примечание (XIX.)—Страница [37](#), строка 30.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ.

Я извлекаю из расследования, проведенного в 1764 году в городской администрации, документ, касающийся Анже; в нем мы найдем, что конституция города поочередно анализируется, подвергается нападкам и защищается Президентом, Корпорацией, заместителем делегата и интендантом. Поскольку те же факты повторялись во множестве других мест, это не следует рассматривать просто как отдельную картину.

"Отчет президента о фактическом состоянии муниципальной корпорации Анже и о предстоящих в ней реформах."

‘Корпорация Анже,’ говорит президент, - никогда не консультируется с жителями вообще, даже по самым важным вопросам, за исключением случаев, когда она обязана делать это специальными распоряжениями. Следовательно, эта система управления неизвестна всем, кто не принадлежит к корпорации, даже эчевинам амовиблес, которые имеют о ней лишь очень поверхностное представление".

(Тенденция всех этих маленьких гражданских олигархий заключалась, действительно, в том, чтобы как можно меньше консультироваться с тем, что здесь обычно называется жителями.)

Корпорация состояла, согласно регламенту от 29 марта 1681 года, из двадцати одного офицера:-

Мэр, который становится дворянином и чьи функции продолжаются в течение четырех лет.

Четыре сменяемых эшевена, которые остаются на своем посту два года.

Двенадцать советников эшевена, которые, будучи однажды избраны, остаются пожизненно.

Two procureurs de ville.

Один поставщик в реверсии.

Один греффье.

Они обладали различными привилегиями, среди прочих следующими: их подушный налог был фиксированным и умеренным; они были освобождены от размещения у себя солдат и от предоставления пособий, фурнитуры и контрибуций; от франшизы прав, двойной и тройной изоляции, старого и нового оклада и аксессуаров на все предметы потребления, даже от дарственной, от которой, по словам президента, они предпочли освободиться по собственному усмотрению; кроме того, они получают пособия на восковые светильники, а некоторые из них - жалование и квартиры.

По этим деталям мы видим, что в те дни быть постоянными эшевинами Анже было очень приятно. Всегда и везде мы сталкиваемся с системой, при которой освобождение от налогообложения ложится на самые богатые классы. В последующей части того же отчета мы читаем: 'Эти места ищут самые богатые жители, которые стремятся к ним, чтобы добиться значительного снижения подушной платы, доплата за которую ложится на остальных. В настоящее время есть несколько муниципальных служащих, чей фиксированный подушный доход составляет 30 ливров, тогда как они должны были бы облагаться налогом в размере 250 или 300 ливров; особенно среди них есть один, который, учитывая его состояние, мог бы заплатить, по крайней мере, 1000 ливров подушного налога'. Мы находим в другой части того же отчета, что "среди самых богатых жителей насчитывается более сорока офицеров или вдов офицеров (мужчин, занимающих должности), чьи должности дают им привилегию не вносить свой вклад в тяжелый подушный налог, взимаемый с города; бремя этого подушного налога, соответственно, ложится на огромное количество граждан". о бедных ремесленниках, которые считают себя перегруженными налогами и постоянно обжалуют взимаемые с них чрезмерные сборы, хотя почти всегда несправедливые, поскольку нет неравенства в распределении суммы, которая остается к уплате городом".

Генеральная ассамблея состояла из семидесяти шести человек:-

Мэр;

Два заместителя от Капитула;

Один из членов синдика клерков;

Два депутата от администрации;

Один заместитель от университета;

Один генерал-лейтенант полиции;

Four Échevins;

Двенадцать советников-эшевинов;

One Procureur du Roi au Présidial;

One Procureur de Ville;

Два депутата от Eaux et Forêts;

Двое от Выборов (избирательного округа?);

Двое из "Гренье-а-сель";

Двое из трейтов;

Два с монетного двора;

Двое из числа Адвокатов и Закупщиков;

Двое из югских консулов;

Два от нотариусов;

Двое из группы Торговцев; и, наконец,

По два послано от каждого из шестнадцати приходов.

Предполагалось, что эти последние должны были представлять так называемых людей, особенно промышленные корпорации. Мы видим, что были приняты меры к тому, чтобы держать их в постоянном меньшинстве.

Когда места в городской корпорации освободились, генеральная ассамблея выбрала по три человека для заполнения каждой вакансии.

Большинство офисов, принадлежащих Отель-де-Виль, не были предоставлены исключительно членам корпораций, как это имело место в конституциях нескольких муниципальных образований, то есть избиратели не были обязаны выбирать из них своих магистратов, адвокатов и т.д. Это было крайне неодобрительно воспринято членами президиума.

Согласно этому президенту, который, по-видимому, был преисполнен самой яростной зависти к корпорации города и, как я сильно подозреваю, ничему так сильно не возражал в муниципальной конституции, как тому, что она не пользовалась в ней таким количеством привилегий, как хотелось бы, 'с Генеральной ассамблеей, которая слишком многочисленна и частично состоит из лиц очень слабоумных, следует консультироваться только в случаях продажи коммунальных владений, займов, учреждения округа и выборов муниципальных должностных лиц. Все остальные деловые вопросы могли бы обсуждаться на собрании меньшего размера, состоящем только из *знати*. Это собрание должно состоять только из генерал-лейтенанта Сената, королевского прокурора и двенадцати других знатных лиц, выбранных из числа шести органов духовенства, магистратуры, дворянства, университета, торговли и буржуазии, а также других лиц, не принадлежащих к вышеназванным органам. Выбор заметных лиц должен сначала осуществляться Генеральной Ассамблеей, а затем Ассамблеей *заметных лиц* или органом, из которого должен быть выбран каждый *заметный* человек".

Все эти государственные чиновники, которые таким образом вступали в силу своих должностных обязанностей или в качестве *знати* в муниципальные корпорации старого режима, часто походили на нынешних чиновников в том, что касается названия должности, которую они занимали, а иногда даже характера этой должности; но они полностью отличались от них в том, что касалось занимаемого ими положения, о чем следует тщательно помнить, если мы не хотим прийти к ложным выводам. Почти все эти чиновники были *знаменитостями* города до того, как их наделили общественными функциями, или они стремились получить общественные должности, чтобы стать известными; у них и в мыслях не было покинуть свой родной город и надеяться на какое-либо более высокое продвижение по службе, чего одного достаточно, чтобы полностью отличить их от всего, с чем мы знакомы в наши дни.

Отчет муниципальных служащих. Из этого мы видим, что городская корпорация была создана в 1474 году Людовиком XI на развалинах древнего демократического устройства города, на системе, которую мы уже описали: ограничение политических прав только средними классами, устранение или ослабление народного влияния, создание большого числа муниципальных служащих, чтобы заинтересовать своей реформой большее число людей, щедрое пожалование наследственного дворянства и всевозможных привилегий той части средних классов, в руки которой было передано управление.

В том же отчете мы находим патенты от преемников Людовика XI. в которых признается эта новая конституция, хотя они еще больше ограничивают власть народа. Мы узнаем, что в 1485 году в письмах был выдан патент на этот счет Карлом VIII. подверглись бы нападкам перед парламентом жители Анже, точно так же, как в Англии иск, вытекающий из устава города, был бы подан в суд. В 1601 году решением парламента были определены политические права, предусмотренные Королевской хартией. С этого времени не появляется ничего, кроме *королевского совета*.

Из того же отчета мы узнаем, что не только на должность мэра, но и на все другие должности, принадлежащие корпорации города, Генеральная ассамблея предложила трех кандидатов, из числа которых король выбирает одного в соответствии с указом совета от 22 июня 1708 года. Более того, представляется, что в силу решений совета 1733 и 1741 годов торговцы имели право претендовать на одно место *эчевина* или *консейлера* (бессрочных эчевинов). Наконец, мы находим, что в тот период городской корпорации было поручено распределение сумм, взимаемых за подушную подать, *пособие*, казармы, поддержку бедных, солдат, береговую охрану и подкидышей.

Далее следует длинное перечисление трудов, которым предстояло подвергнуться муниципальным служащим, что полностью оправдывало, по их мнению, привилегии и бессрочное пребывание в должности, которые они, очевидно, очень боялись потерять. Многие из причин, которые они приводят для своих усилий, любопытны; среди прочих, следующие: "Их наиболее важные занятия, - говорят они, - состоят в изучении финансовых дел, которые постоянно увеличиваются благодаря постоянному распространению *права на помощь, габелле, контролю, инсинуациям на действия, восприятию незаконных прав на управление и феодальных владений франков*. Противодействие, которое финансовые компании постоянно оказывали этим различным налогам, вынуждало их отстаивать действия в интересах города перед различными судебными органами, будь то парламент или *королевский совет*, чтобы противостоять притеснению, от которого они страдали. Тридцатилетний опыт и практика

научили их, что срока человеческой жизни едва ли достаточно, чтобы избежать всех ловушек, которые клерки всех отделов ферм постоянно расставляют перед гражданами, чтобы сохранить свои собственные комиссионные".

Самым любопытным обстоятельством является то, что все это адресовано самому Генеральному контролеру, чтобы благосклонно отнестись к привилегиям тех, кто делает заявление, настолько укоренившейся стала привычка смотреть на компании, на которые возложен сбор налогов, как на врагов, на которых можно нападать со всех сторон без порицания или противодействия. Эта привычка с каждым днем становилась все сильнее и повсеместнее, пока на все налоги не стали смотреть как на несправедливую и ненавистную тиранию; не как на орудие всех людей, а как на общего врага.

‘Объединение всех должностей, - говорится далее в отчете, - было впервые осуществлено постановлением совета от 4 сентября 1694 года на сумму 22 000 ливров’; то есть должности были выкуплены в том же году на вышеуказанную сумму. Приказом от 26 апреля 1723 года муниципальные учреждения, созданные указом от 24 мая 1722 года, были объединены в корпорацию города, или, другими словами, городу было разрешено их приобретать. Другим приказом от 24 мая 1723 года городу было разрешено занять 120 000 ливров для покупки указанных офисов. Другой приказ от 26 июля 1728 года разрешал ему занять 50 000 ливров для покупки кабинета секретаря Греффье в Отель-де-Вилль. ‘Город, ’ говорится в отчете, - выплатил эти деньги, чтобы сохранить свободу своих выборов и обеспечить должностным лицам, избранным — некоторым на два года, а другим пожизненно, — различные прерогативы, относящиеся к их должностям’. После того, как часть муниципальных учреждений была восстановлена указом от ноября 1733 года, по просьбе мэра и эшевена в дело вмешался приказ совета от 11 января 1751 года, устанавливающий размер выкупа в размере 170 000 ливров, для выплаты которых была предоставлена отсрочка выплаты округа на пятнадцать лет.

Это хороший образец управления монархией, если говорить о городах. Их заставили влезть в долги, а затем уполномочили вводить чрезвычайные и временные налоги, чтобы их выплатить. Более того, я обнаружил, что эти временные налоги часто через некоторое время становились бессрочными, а затем правительство получало от них свою долю.

Отчет продолжается следующим образом: ‘Муниципальные чиновники были лишены лишь важных судебных полномочий, которыми их наделил Людовик XI. Учредив королевскую юрисдикцию. До 1669 года они принимали во внимание все споры между мастерами и рабочими. Отчеты *ostrois* представляются интенданту, как указано во всех указах о создании или отсрочке упомянутого *ostrois*".

Мы также находим в этом отчете, что депутаты шестнадцати приходов, которые были упомянуты выше и которые присутствовали на Генеральной ассамблее, были выбраны компаниями, корпорациями или коммунами, и что они были строго представителями небольших организаций, от которых они были делегированы. Они были связаны точными инструкциями по каждому пункту ведения бизнеса.

Наконец, этот отчет доказывает, что в Анже, как и везде, все виды расходов должны были санкционироваться интендантом и советом; и следует признать, что, когда управление городом полностью передается в руки определенного числа людей, которым вместо фиксированного жалованья предоставляются привилегии, которые ставят их лично вне досягаемости

последствий, которые их управление может произвести на личное состояние их сограждан, этот административный надзор может оказаться необходимым.

Весь отчет, составленный очень плохо, свидетельствует о чрезвычайном страхе официальных лиц перед любым изменением существующего порядка вещей. Они приводят всевозможные аргументы, хорошие и плохие, в пользу сохранения статус-кво.

Отчет заместителя делегата.—Интендант, получив эти два сообщения противоположной направленности, желает узнать мнение своего заместителя, который излагает его следующим образом:-

‘Отчет муниципальных советников, - говорит он, ‘ не заслуживает ни минуты внимания; он предназначен только для защиты привилегий этих должностных лиц. С мнением *президента* можно ознакомиться с пользой; но нет никаких оснований для предоставления всех прерогатив, на которые претендуют эти магистраты”.

По словам заместителя делегата, конституция Отель-де-Виль уже давно нуждается в реформе. Помимо уже упомянутых иммунитетов, которыми пользовались муниципальные служащие Анже, он сообщает нам, что мэр во время своего пребывания в должности имел жилье стоимостью не менее 600 франков арендной платы, жалованье в 50 франков и 100 франков для *почтового служащего*, помимо жетонов. *Был также подан иск против синдиката прокурорских работников, а также против греффье.* Чтобы добиться для себя освобождения от *судебных прав и октроя*, муниципальные служащие установили предполагаемый стандарт потребления для каждого из них. Каждый из них имел право ежегодно беспошлинно ввозить в город определенное количество бочек вина, и то же самое касалось всех других припасов.

Заместитель делегата не предлагает лишать муниципальных советников их иммунитета от налогообложения, но он желает, чтобы их подушная плата, вместо того чтобы быть фиксированной и очень неадекватной, ежегодно облагалась налогом интендантом. Он желает, чтобы на них также распространялся, как и на всех остальных, *безвозмездный сбор*, от уплаты которого они сами отказались, по какому прецеденту, никто не может сказать.

Далее в отчете говорится, что на муниципальных служащих возложена обязанность составлять *списки населения* для всех жителей — обязанность, которую они выполняют небрежно и произвольно; соответственно, ежегодно интенданту направляется огромное количество жалоб и меморандумов. Весьма желательно, чтобы отныне разделение производилось в интересах каждой компании или *коммуны* ее собственными членами в соответствии с установленными общими правилами; муниципальные чиновники должны были бы определять только *роли капиталистов* для бюргеров и других лиц, не принадлежащих к корпорациям, таких как некоторые ремесленники и слуги всех привилегированных лиц.

Отчет заместителя делегата подтверждает то, что уже было сказано о муниципальных чиновниках, - что муниципальные должности были выкуплены городом в 1735 году за сумму в 170 000 ливров.

Письмо интенданта Генеральному контролеру.— Опираясь на все эти документы, интендант пишет министру: ‘Важно ради жителей и общественного блага сократить корпорацию города,

члены которой слишком многочисленны и чрезвычайно обременительны для общества из-за привилегий, которыми они пользуются'. 'Я поражен, - продолжает интендант, - огромными суммами, которые во все периоды выплачивались для выкупа муниципальных учреждений в Анже. Сумма этих сумм, если бы они были использованы на полезные цели, была бы выгодна городу, который, напротив, не получил ничего, кроме возросшего бремени власти и привилегий, которыми пользуются эти чиновники".

'Внутренние злоупотребления этой администрации заслуживают самого пристального внимания совета', - говорит далее интендант. "Независимо от *отжетонов* и восковых светильников, на которые ежегодно расходуется сумма в 2127 ливров (сумма, установленная для расходов такого рода обычным бюджетом, который время от времени предписывался городам королем), государственные деньги по воле этих чиновников разбазариваются и используются не по назначению в тайных целях, и *королевский прокурор*, который владел своим постом в течение тридцати или сорока лет, сделал себя настолько полным хозяином управления, что тайные пружины которого он использует не по назначению". всем известно, что жители во все времена считали невозможным получить хоть малейшую информацию о том, как используются коммунальные доходы. 'Результатом всего этого является то, что интендант просит министра сократить штат городской корпорации до мэра, назначаемого на четыре года, *королевского прокурора*, назначаемого на восемь лет, и *греффье* и *приемного лица*, назначаемого пожизненно.

В целом конституция, которую он предлагает для этой корпорации, точно такая же, как та, которую он в другом месте предлагал для городов. По его мнению, было бы желательно —

1. Сохранить Генеральную ассамблею, но только как выборный орган для выборов муниципальных должностных лиц.

2-й. Создать чрезвычайный *Совет нотаблей*, который должен выполнять все функции, которые эдикт 1764 года, по-видимому, возложил на Генеральную Ассамблею; указанный совет должен состоять из двенадцати членов, срок полномочий которых должен составлять шесть лет, и которые должны избираться не Генеральной Ассамблеей, а двенадцатью корпорациями, считающимися *заметными* (каждая корпорация выбирает свою собственную). Он перечисляет *знаменитостей* корпуса следующим образом:—

Президент.

Университет.

Выборы.

Офицеры Лесов и Зарослей.

Гренье-а-сель.

Характерные черты.

Монетный двор.

Сторонники и Закупщики.

Консулы Югов.

Нотариусы.

Торговцы.

Бюргеры.

Похоже, что почти все эти *известные* люди были государственными служащими, и почти все государственные служащие были известными; отсюда мы можем заключить, как и из тысячи других отрывков в этих документах, что средние классы были столь же жадны до места и столь же мало склонны искать сферу деятельности, удаленную от государственной службы. Единственная разница, как я уже говорил в тексте, заключалась в том, что раньше люди покупали ту незначительную важность, которую придавала им должность, и что теперь претенденты просят кого-нибудь проявить милосердие и получить ее для них бесплатно.

Мы видим, что, согласно описанному нами проекту, вся муниципальная власть должна была принадлежать чрезвычайному совету, который полностью ограничил бы администрацию очень небольшой группой представителей среднего класса, в то время как единственное собрание, в котором народ все еще присутствовал, не должно было иметь никаких привилегий, кроме права избирать муниципальных должностных лиц, без какого-либо права консультировать их или контролировать. Следует также отметить, что интендант был больше за ограничение и больше выступал против народного влияния, чем король, чей эдикт, по-видимому, имел целью передать большую часть власти в руки Генеральной ассамблеи, и что интендант, опять же, гораздо либеральнее и демократичнее средних классов, судя, по крайней мере, по отчету, который я процитировал в тексте, из которого следует, что *знатные люди* другого города желали исключить народ даже из выборов муниципальных должностных лиц, право, которое король и интендант оставили за ними.

Мои читатели, вероятно, заметили, что интендант использует слова "бюргеры" и "торговцы" для обозначения двух различных категорий знати. Не лишним будет дать точное определение этим словам, чтобы показать, на сколько мелких фракций были разделены средние классы и сколькими мелочными тщеславиями они были охвачены.

Слово *бюргер* имело общий и ограниченный смысл; оно использовалось для обозначения лиц, принадлежащих к среднему классу, а также для обозначения определенного числа лиц, входящих в этот класс. 'Бюргеры - это те, чье происхождение и состояние позволяют им жить достойно, не преследуя никаких корыстных целей', - говорится в одном из отчетов, подготовленных в связи с расследованием в 1764 году. Из остальной части отчета мы видим, что слово "бюргер" не должно было использоваться для обозначения тех, кто принадлежал ни к компаниям, ни к промышленным корпорациям; но гораздо труднее точно определить, к кому его следует применять. 'Ибо, - говорится далее в отчете, - среди тех, кто присваивает себе звание бюргера, есть много людей, у которых нет других прав на это, кроме своей праздности, у которых нет состояния, и которые ведут безвестный и необразованный образ жизни. Бюргерам следовало бы выделяться богатством, происхождением, талантом, нравственностью и красивым образом жизни. Ремесленники, составляющие *communautés*, никогда не были допущены к званию *знати*.

После бюргеров торговцы составляли второй класс, который не принадлежал ни к одной компании или корпорациям; но границы этого небольшого класса было трудно определить. 'Следует ли,' говорится в отчете, 'смешивать мелких торговцев низкого происхождения с

крупными оптовыми торговцами?» Чтобы разрешить эти трудности, в отчете предлагается составить список *известных* торговцев, составленный *эшевенами*, и передать их главе или синдик, чтобы он мог вызывать на обсуждения в Отель де Виль только тех, кто указан в нем. В этот список не должны были быть внесены те, кто был слугами, носильщиками, водителями или занимал какие-либо другие низменные должности.

Примечание (XX.)—Страница [39](#), строка 33.

Одной из наиболее характерных черт восемнадцатого века в том, что касается управления городами, была не столько отмена всякого представительства и вмешательства общественности в их дела, сколько крайнее разнообразие правил, которыми руководствовалась администрация, права постоянно предоставлялись, отзывались, восстанавливались, увеличивались, уменьшались и модифицировались тысячей различных способов. Ничто так полно не показывает, в какое презрение впали эти местные свободы, как это постоянное изменение их законов, которое, казалось, не привлекало никакого внимания. Одного этого изменения было бы достаточно, чтобы заранее уничтожить все своеобразные идеи, всю любовь к старым воспоминаниям, весь местный патриотизм в тех самых учреждениях, которые предоставляют им наибольший простор. Именно это подготовило путь к великому разрушению прошлого, которое вот-вот должна была осуществить Революция.

Примечание (XXI.)—Страница [41](#), строка 6.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВНЕЙ В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ. ИЗ ДОКУМЕНТОВ ИНТЕНДАНТСТВА ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС.

Я выбрал операцию, которую собираюсь описать, из ряда других, чтобы привести пример некоторых форм, которым следовала приходская администрация, показать, насколько медленными они были, и дать представление об Общем собрании прихода в восемнадцатом веке.

Речь шла о ремонте дома священника и колокольни в сельском приходе Иври на Иль-де-Франс. Вопрос заключался в том, к кому обратиться за этим ремонтом, как определить, на кого должны лечь расходы, и как раздобыть необходимую сумму.

1. Меморандум кюре интенданту, в котором говорится, что колокольня и дом священника срочно нуждаются в ремонте; что его предшественник пристроил к дому приходского священника бесполезные постройки и, таким образом, полностью изменил и испортил его; что жители, позволив это сделать, были обязаны нести расходы по приведению его в надлежащее состояние и, если захотят, потребовать деньги у наследников последнего кюре.
2. Распоряжение интенданта (29 августа 1747 г.), предписывающее синдик созвать совещание для обсуждения необходимости требуемых операций.
3. Памятка от жителей, в которой говорится, что они согласны на ремонт дома священника, но выступают против ремонта колокольни, поскольку колокольня построена над алтарем и что кюре, который является владельцем большой десятины, несет ответственность за ремонт

алтаря. [По постановлению совета конца предыдущего столетия (апрель 1695 г.) лицо, получающее большую десятину, было обязано отремонтировать алтарь, а прихожанам было поручено только поддерживать в порядке неф.]

4. Новое распоряжение интенданта, который в связи с полученными противоречивыми заявлениями посылает архитектора, сьера Кордые, осмотреть дом священника и колокольню и доложить о них, составить отчет о проделанных работах и провести расследование.

5. *Протокол* всех этих операций, из которого следует, что при расследовании к уполномоченному, посланному интендантом, явилось определенное количество землевладельцев Иври, которые, по-видимому, были местной знатью, бюргерами и крестьянами, и подписали свои заявления за или против требования, выдвинутого кюре.

7. Новое распоряжение интенданта о том, что отчеты, составленные архитектором, которого он прислал, должны быть доведены до сведения землевладельцев и жителей прихода на новом общем собрании, которое будет создано синдиком.

8. Новое приходское собрание в связи с этим распоряжением, на котором жители заявляют, что они упорствуют в своих заявлениях.

9. Распоряжение интенданта, который, во-первых, предписывает, чтобы оценка работ, указанных в заявлении архитектора, проводилась перед его заместителем в Корбейле, в жилище последнего; и что указанное судебное решение должно быть вынесено в присутствии кюре, синдика и главных жителей прихода. 2-й, поскольку задержка была бы опасной, вся сумма должна быть увеличена по ставке для всех жителей, в результате чего те, кто упорствует в том, что колокольня является частью хора и, следовательно, должна быть отремонтирована крупными десятинными собственниками, должны обратиться в обычные суды.

10. Повестки всем заинтересованным сторонам с требованием явиться в дом заместителя делегата в Корбей, где должны быть сделаны заявления и вынесено судебное решение.

11. Меморандум кюре и нескольких местных жителей с просьбой не возлагать расходы на административное разбирательство, как это обычно имело место, на судебного исполнителя, поскольку указанные расходы были очень большими и помешали бы кому-либо исполнять обязанности судебного исполнителя.

12. Распоряжение Интенданта о том, что расходы, понесенные в связи с вынесением судебного решения, устанавливаются Заместителем делегата и что их сумма должна составлять часть указанного судебного решения и ставки.

13. Полномочия, данные некоторыми *знатными* жителями сьеру Х. присутствовать при указанном судебном решении и согласиться с ним, согласно заявлению архитектора.

14. Свидетельство синдика о том, что были опубликованы обычные уведомления и рекламные объявления.

15. *Устный* процесс вынесения судебного решения-

Смета ремонтных работ	487	0	0
Судебные издержки	237	18	6
	724	18	6

16. Наконец, постановление совета (23 июля 1748 г.), санкционирующее введение ставки для увеличения указанной суммы.

Мы видим, что в этой процедуре несколько раз упоминался созыв Приходского собрания.

Нижеследующий *протокол* заседания одной из таких ассамблей покажет читателю, как велись дела в подобных случаях:-

Нотариальный акт.— "В этот день, после приходской мессы в обычном месте, когда прозвонил колокол, на Собрание, проводившееся перед нижеподписавшимся Х., нотариусом Корбейля, и названными ниже свидетелями, явился съер Мишо, виноградарь, синдик указанного прихода, который предъявил распоряжение интенданта, разрешающее проведение Собрания, приказал зачитать его и потребовал отметить его усердие.

‘Немедленно появился житель указанного прихода, который заявил, что колокольня находилась над алтарем и, следовательно, ремонт принадлежал кюре; также появились [здесь следуют имена некоторых других лиц, которые, с другой стороны, были готовы признать притязания кюре].... Затем появились пятнадцать крестьян, чернорабочих, каменщиков и виноградарей, которые заявили о своей приверженности тому, что сказали предыдущие лица. Там же появился съер Рембо, виноградарь, который сказал, что готов согласиться с любым решением монсеньора интенданта. Там также появился съер Х., доктор Сорбонны, кюре, который настаивает на заявлениях и целях мемориала. Те, кто явился, потребовали, чтобы все вышеперечисленное было снято с поличным. Совершено в указанном местечке Иври, перед церковным двором указанного прихода, в присутствии нижеподписавшегося; и составление настоящего протокола заняло с 11 часов утра до 2 часов ночи".

Мы видим, что это Приходское собрание было простым административным расследованием, с формами и стоимостью судебного расследования; что оно никогда не заканчивалось голосованием и, следовательно, выражением воли прихода; что оно содержало только индивидуальные мнения и не имело никакого влияния на решение правительства. Действительно, из ряда других документов мы узнаем, что Приходские собрания были призваны содействовать принятию решения интендантом, а не препятствовать ему даже там, где не было затронуто ничего, кроме интересов прихода.

В тех же документах мы также находим, что это дело послужило поводом для трех запросов: одного к нотариусу, второго к архитектору и, наконец, третьего к двум нотариусам, чтобы выяснить, настаивали ли прихожане на своих предыдущих заявлениях.

Ставка в размере 524 ливров. 10 шилл., установленная указом от 13 июля 1748 г., ложилась на всех землевладельцев, привилегированных или иных, как это почти всегда имело место в отношении расходов такого рода; но принцип, по которому доли распределялись между различными лицами, был иным. *Хвостатые* облагались налогом пропорционально их *хвосту*, а привилегированные лица - согласно их предполагаемому состоянию, что давало последним большое преимущество перед первыми.

Наконец, мы обнаруживаем, что в этом же случае раздел суммы в 523 ливра. 10 шилл. был произведен двумя сборщиками, которые были жителями деревни; они не были избраны и не занимали должности по очереди, как это было обычно, но они были выбраны и официально назначены заместителем представителя интенданта.

Примечание (XXII.)—Страница 46, строка 21.

Предлогом, использованным Людовиком XIV. для уничтожения муниципальных свобод городов, было плохое управление их финансами. Тем не менее, то же самое зло, как верно говорит Тюрго, продолжалось и усилилось после реформы, проведенной этим государем. Большинство городов, добавляет он, в настоящее время сильно задолжали, отчасти из-за сумм, которые они ссудили правительству, а отчасти из-за расходов и наград, которые муниципальные чиновники, распоряжающиеся деньгами других людей и не имеющие отчета перед жителями или инструкций, которые они могли бы получить от них, умножают с целью отличиться, а иногда и обогатиться.

Примечание (XXIII.)—Страница 46, строка 32.

ГОСУДАРСТВО БЫЛО ОПЕКУНОМ КАК ЖЕНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ, ТАК И КОММУН. —ПРИМЕР ТАКОЙ ОПЕКИ.

Генеральный контролер, уполномочивая Интенданта выплатить 15 000 ливров монастырю кармелиток, которому причиталась компенсация, желает, чтобы Интендант убедился в том, что эти деньги, представляющие собой капитал, были выгодно реинвестированы. Аналогичные факты постоянно повторялись.

Примечание (XXIV.)—Страница 50, строка 22.

ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТАРОЙ МОНАРХИИ ЛУЧШЕ ВСЕГО МОЖНО СУДИТЬ В КАНАДЕ.

Физиономию столичного правительства можно наиболее полно оценить в колониях, потому что на таком расстоянии все его характерные черты преувеличиваются и становятся более заметными. Когда мы хотим судить о духе правления Людовика XIV. и его пороках, мы должны обратить внимание на Канаду. Там мы увидим уродство объекта нашего исследования, как через микроскоп.

В Канаде не существовало множества препятствий, которым предшествующие обстоятельства или древнее состояние общества тайно или открыто противоречили духу правительства. Дворянства там почти не было видно или, во всяком случае, оно не имело корней в почве; Церковь утратила свое господствующее положение; феодальные традиции были утрачены или затемнены; судебная власть больше не опиралась на древние институты и нравы. Ничто не мешало центральной власти следовать своим естественным наклонностям и создавать все

законы в соответствии со своим собственным духом. Соответственно, в Канаде мы не находим и следа каких-либо муниципальных или провинциальных институтов; никакой санкционированной коллективной силы; никакая индивидуальная инициатива не допускается. Интендант занимал положение бесконечно более значительное, чем его коллеги во Франции; администрация вмешивалась во многие другие дела, чем в метрополии, и предпочитала руководить всем из Парижа, несмотря на тысячу восемьсот лье, на которые их разделяли. Он не принял ни одного из великих принципов, благодаря которым колония становится густонаселенной и процветающей, но, с другой стороны, он прибегал ко всевозможным пустяковым искусственным процессам и мелким тираническим правилам, чтобы увеличить численность населения; обязательное возделывание, все судебные иски, возникающие из-за предоставления земли, были отозваны из судов и переданы на единоличное решение Администрации, обязательство придерживаться определенных методов возделывания, селиться в определенных местах, а не в других, и т.д. Все эти постановления действовали при Людовике XIV, а указы подписаны Кольбером. Можно представить себя в самой гуще современной централизации и в Алжире. Действительно, Канада представляет собой точную копию всего, что мы видели в Алжире. В обоих случаях мы оказываемся лицом к лицу с администрацией, почти такой жемногочисленной, как население, доминирующей, вмешивающейся, регулирующей, ограничивающей, настаивающей на том, чтобы все предвидеть, все контролировать и понимать интересы тех, кто находится под ее контролем, лучше, чем они сами; короче говоря, в состоянии постоянной бесплодной деятельности.

С другой стороны, в Соединенных Штатах децентрализация англичан преувеличена; тауншипы превратились в почти независимые муниципалитеты, маленькие демократические республики. Республиканский элемент, составляющий основу английской конституции и нравов, проявляется в Соединенных Штатах беспрепятственно и получает еще большее развитие. Правительство, собственно так называемое, в Англии делает очень мало, а частные лица делают очень много; в Америке правительство на самом деле не принимает никакого участия в делах, и отдельные люди объединяются, чтобы делать все. Отсутствие какого-либо высшего класса, которое сделало жителей Канады более покорными правительству, чем даже жители Франции того же периода, делает население английских провинций все более и более независимым от властей.

Обе колонии привели к формированию полностью демократического общественного устройства; но в одной, по крайней мере до тех пор, пока Канада все еще принадлежала Франции, равенство сочеталось с абсолютизмом; в другой оно сочеталось со свободой. Что касается материальных последствий двух колониальных систем, то мы знаем, что в 1763 году, в период Завоевания, население Канады составляло 60 000 душ, а английских провинций - 3 000 000 человек.

Примечание (XXV.)—Страница52, строка 10.

ОДИН ИЗ МНОГИХ ПРИМЕРОВ ОБЩИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ПОСТОЯННО ИЗДАВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ СИЛУ ЗАКОНА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ФРАНЦИИ И ПРЕДУСМАТРИВАЛИ ОСОБЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ЕДИНСТВЕННЫМИ СУДЬЯМИ КОТОРЫХ БЫЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ.

Я беру первое, что попадаете под руку: постановление совета от 29 апреля 1779 года, согласно которому по всему королевству заводчики и продавцы овец должны маркировать свои стада особым образом под страхом штрафа в 300 ливров. В нем говорится, что Его Величество возлагает на интендантов обязанность обеспечивать исполнение настоящего приказа, из чего следует, что интендант должен назначить наказание за его нарушение. Другой пример: постановление городского совета от 21 декабря 1778 года, запрещающее перевозчикам и водителям складировать вверенные им товары под страхом штрафа в размере 300 ливров. Его Величество предписывает генерал-лейтенанту полиции и интендантам обеспечить выполнение этого приказа.

Примечание (XXVI.)—Страница [60](#), строка 39.

СЕЛЬСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

Провинциальное собрание Верхней Гиенны срочно потребовало создания свежих бригад маршала, точно так же, как в наши дни генеральный совет Аверона или Лота, несомненно, требует формирования свежих бригад жандармерии. Всегда преобладает одна и та же идея — жандармерия является символом порядка, а порядок может быть наведен правительством только через жандармов. Далее в отчете говорится: 'Каждый день поступают жалобы на то, что в сельских округах нет полиции' (как она должна быть? знать не принимала участия в делах, все бюргеры были в городах, а поселки, представленные вульгарным крестьянином, не имели никакой власти), "и следует признать, что за исключением нескольких кантонов, в которых справедливые и доброжелательные сеньоры используют влияние, которое дает им их положение на своих вассалов, чтобы предотвратить те акты насилия, к которым деревенское население естественно склонно из-за грубости их манер и резкости их характера, нигде не существует никаких средств сдерживания этих невежественных, грубых и буйных людей". мужчины".

Таковы были выражения, в которых дворяне Провинциального собрания позволяли говорить о себе, и в которых члены *Tiers-Etat*, составлявшие половину собрания, отзывались о народе в публичных документах!

Примечание (XXVII.)—Страница [61](#), строка 24.

Лицензии на продажу табака требовались не меньше при старой монархии, чем сейчас. Величайшие люди просили их для своих созданий. Я обнаружил, что некоторые из них были даны по рекомендации знатных дам, а один - по просьбе некоторых архиепископов.

Примечание (XXVIII.)—Страница [62](#), строка 22.

Исчезновение всей местной общественной жизни превзошло все ожидания. Одна из дорог, ведущих из штата Мэн в Нормандию, оказалась непроходимой. Кто, по мнению наших читателей, просил отремонтировать его? *генералитет* Турени, который он пересекал? провинции Нормандия или Мэн, столь глубоко заинтересованные в торговле скотом по этой дороге? или даже какой-то конкретный кантон, испытывающий особые неудобства из-за своей непроходимости? *Правительство*, провинции и кантоны не имели права голоса в этом вопросе. Торговцы, которые путешествовали по этой дороге и застряли в колеях, были вынуждены обратить внимание Центрального правительства на ее состояние и написать в Париж Генеральному контролеру за помощью.

Примечание (XXIX.)—Страница 69, строка 8.

БОЛЬШЕЕ ИЛИ МЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕНЬОРИАЛЬНЫХ СБОРОВ ИЛИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВИНЦИИ.

Тюрго говорит в своих работах: "Я должен указать на тот факт, что эти сборы гораздо важнее в большинстве богатых провинций, таких как Нормандия, Пикардия и окрестности Парижа. В последнем случае главное богатство состоит в действительном продукте земли, находящемся в руках крупных хозяйств, с которых владельцы получают высокую ренту. Выплаты в связи с правами лорда, даже в случае с самыми крупными поместьями, составляют лишь незначительную часть дохода, получаемого от этих владений, и такие выплаты немногим превышают номинальные.

В более бедных провинциях, где земледелие ведется на иных принципах, лорды и знать почти не имеют в своих руках земли; владения, которые чрезвычайно разделены, облагаются высокой хлебной рентой, за уплату которой солидарны все арендаторы. Эта рента во многих случаях поглощает основную часть произведенной продукции, и доход лорда почти полностью извлекается из нее.

Примечание (XXX.)—Страница 74, строка 34.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЛЯ КАСТЫ ВЛИЯНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Незначительные работы сельскохозяйственных обществ XVIII века показывают, какое пагубное влияние оказывало на *касту*. Хотя собрания этих обществ датируются тридцатью годами до революции, когда *старый режим* был еще в полной силе, и хотя они касались только теорий — самим фактом того, что их дискуссии касались вопросов, в которых различные классы общества чувствовали себя заинтересованными и, следовательно, принимали общее участие, — мы можем сразу понять, как они объединяли людей и как с их помощью, хотя они и ограничивались разговорами о сельском хозяйстве, идеи разумных реформ распространялись одинаково среди привилегированных и непривилегированных классов.

Я убежден, что ни одно правительство не смогло бы сохранить абсурдное и безумное неравенство, существовавшее во Франции в момент революции, кроме того, которое, подобно правительству старой монархии, стремилось черпать всю свою силу в собственных рядах,

постоянно пополняемых замечательными людьми. Малейший контакт *с самоуправлением* существенно изменил бы такое неравенство, а вскоре трансформировал или уничтожил бы его.

Примечание (XXXI.)—Страница 75, строка 3.

Провинциальные свободы могут какое-то время существовать без национальной свободы, когда они древние, переплетенные с привычками, манерами и давними воспоминаниями, и в то время как деспотизм, напротив, появился недавно. Но неразумно предполагать, что местные свободы могут создаваться по желанию или даже долго сохраняться, когда общая свобода подавлена.

Примечание (XXXII.)—Страница 75, строка 19.

Тюрго в донесении королю резюмирует в следующих выражениях, которые кажутся мне исключительно точными, реальные привилегии благородного класса в отношении налогообложения:

1. Лица привилегированного класса имеют право на освобождение от всех денежных налогов в размере стоимости фермы с четырьмя плугами, что в окрестностях Парижа эквивалентно оценке в 2000 франков.

‘2. Одни и те же лица полностью освобождены от налогообложения в отношении лесов, лугов, виноградников, рыбоводных прудов и огороженных земель, принадлежащих их замкам, независимо от их протяженности. В некоторых кантонах основной культурой являются луга или виноградники: в них знатный владелец избегает каких бы то ни было налогов, вся тяжесть которых ложится на класс налогоплательщиков; еще одно огромное преимущество для привилегированных”.

Примечание (XXXIII.)—Страница 76, строка 7.

КОСВЕННЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: РАЗНИЦА В ОЦЕНКЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ НАЛОГ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ.

Тюрго также дал описание этого, которое, судя по документам, у меня есть основания считать точным.

‘Косвенные преимущества привилегированных классов в отношении подушной подати очень велики. Подушный налог по самой своей природе является произвольным обманом; он не может быть распределен среди общества иначе, как случайным образом. Было сочтено наиболее удобным оценить это по книгам сборщика налогов, которые уже готовы. Верно, что был составлен отдельный список для тех, чьи имена не фигурируют в этих книгах, но поскольку они сопротивляются уплате, в то время как податные классы не имеют органа, подушный налог,

уплачиваемый первыми в провинциях, постепенно сократился до незначительной суммы, в то время как подушный налог с последних почти равен по сумме всему податному капиталу".

Примечание (XXXIV.)—Страница 76, строка 14.

ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР НЕРАВЕНСТВА В ОЦЕНКЕ В СЛУЧАЕ ОБЩЕГО НАЛОГА.

Хорошо известно, что местные ставки были общими: "эти суммы, - говорится в постановлениях совета, санкционирующих взимание таких ставок, - должны взиматься со всех ответственных, освобожденных или неисключенных, привилегированных или непривилегированных, без каких-либо исключений, вместе с подушным налогом или в пропорции марки к каждому франку, подлежащему уплате в качестве подушного налога".

Обратите внимание, что, поскольку подушный налог налогоплательщика, начисляемый в соответствии с другими налогами, всегда был выше подушного налога привилегированного класса, неравенство проявлялось даже в форме, которая, казалось, в наибольшей степени исключала его.

Примечание (XXXV.)—Страница 76, строка 14.

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ.

Я нахожу в проекте эдикта 1764 года, целью которого является выравнивание налогообложения, всевозможные положения, целью которых является сохранение исключительных преимуществ привилегированным классам в плане взимания налогов: среди них я нахожу, что все шаги с целью определения, в их случае, стоимости оцениваемого имущества, должны предприниматься в их присутствии или в присутствии их доверенных лиц.

Примечание (XXXVI.)—Страница 76, строка 27.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРЕИМУЩЕСТВ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ КЛАССЫ, ДАЖЕ ПРИ ВЗИМАНИИ ОБЩИХ НАЛОГОВ.

"Я вижу, - пишет министр в 1766 году, - что часть налогов, которые труднее всего взимать, всегда приходится на благородные и привилегированные классы, исходя из уважения, которое сборщики налогов считают себя обязанными оказывать таким лицам; вследствие чего обнаруживается давняя задолженность в слишком больших размерах по их подушному налогу и их "двадцаткам" (налогу, который они платили совместно с остальной частью общества).

Примечание (XXXVII.)—Страница 85, строка 7.

В "Путешествиях Артура Янга" за 1789 год есть небольшая картинка, на которой контраст систем двух стран так хорошо нарисован и так удачно представлен, что я не могу удержаться от соблазна процитировать ее.

Янг, путешествующий по Франции во время первого волнения, вызванного взятием Бастилии, арестован в одной деревне толпой, которая, увидев его без кокарды, желает посадить его в тюрьму. Янг ухитряется выкрутиться с помощью такой речи: —

‘ Джентльмены, было объявлено, что налоги будут уплачиваться в том же порядке, в каком они были до сих пор. Конечно, налоги должны быть уплачены, *но не так*, как они были до сих пор. Их следует платить так, как они платятся в Англии. У нас там много налогов, от которых вы свободны; но *эшелоны власти* - *Этат*- народ — их не платит: они полностью ложатся на плечи богатых. Таким образом, в Англии каждое окно облагается налогом; но человек, у которого в доме всего шесть окон, ничего за них не платит. Дворянин платит свои двадцать лет [140] и королевские налоги, но бедный владелец ничего не платит за свой маленький сад. Богатый человек платит за своих лошадей, экипажи и слуг - он платит даже за лицензию на отстрел собственных куропаток; бедный человек свободен от всего этого бремени. Более того, у нас в Англии есть налог, который платят богатые, чтобы помочь бедным! Так что, я говорю, если налоги все еще нужно платить, их следует платить по-другому. Английский план гораздо лучше.

"Поскольку мой плохой французский, - добавляет Янг, - был почти на одном уровне с их говором, они прекрасно меня поняли".

Примечание (XXXVIII.)—Страница 86, строка 24.

Церковь в Х., в избирательном округе Шолле, была на грани разрушения: ее надлежало отремонтировать способом, предусмотренным указом 1684 г. (16 декабря), а именно за счет платы, взимаемой со всех жителей. Когда сборщики пришли взимать эту плату, маркиз де Х., сеньор прихода, отказался платить свою долю платы, поскольку намеревался взять на себя весь ремонт алтаря; другие жители весьма резонно ответили, что как владелец поместья и держатель большой десятины *он обязан* отремонтировать алтарь и не может, ссылаясь на это обязательство, требовать уклонения от своей доли общей платы. Это приводит к приказу интенданта, объявляющего ответственность маркиза и санкционирующего действия коллектора. Среди бумаг, посвященных этому вопросу, более десяти писем от маркиза, одно срочнее другого, в которых он настойчиво просит, чтобы остальные прихожане заплатили вместо него, и, чтобы добиться его просьбы, склоняется к интенданту, называя его "монсеньор" и даже "*le supplier*".

Примечание (XXXIX.)—Страница 87, строка 35.

ПРИМЕР ТОГО, КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАРОЙ МОНАРХИИ УВАЖАЛО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ И ПРИВИЛЕГИИ ГОРОДОВ ИЛИ КОРПОРАЦИЙ.

Королевская декларация "Приостанавливающая на время войны погашение всех займов, выданных городами, деревнями, колледжами, общинами, больницами, благотворительными домами, торговыми корпорациями", [141] и другими, подлежащими выплате за пределами города, нами признана, хотя документ, обеспечивающий указанные займы, предусматривает выплату процентов в случае неуплаты на оговоренных условиях".

Таким образом, не только приостанавливается обязательство по погашению в установленные сроки, но и обесценивается само обеспечение. Подобные процедуры, которыми изобиловала старая монархия, были бы невыполнимы при правительстве, действующем под контролем гласности или представительных собраний. Сравните вышесказанное с уважением, которое всегда проявлялось к таким правам в Англии и даже в Америке. Неуважение к праву в данном случае столь же вопиющее, как и к местным привилегиям.

Примечание (XL.)—Страница [89](#), строка 21.

Случай, приведенный в тексте, далеко не единственный пример признания привилегированным классом того, что феодальное бремя, отягощавшее крестьян, распространялось даже на них самих. Ниже приводится язык сельскохозяйственного общества, состоявшего исключительно из этого класса, за тридцать лет до революции:

‘Постоянные платежи за аренду, независимо от того, причитаются ли они государству или лорду, если они вообще значительны по размеру, становятся настолько обременительными для арендатора, что приводят сначала к его разорению, а затем и к разорению земли, причитающейся им; арендатор вынужден пренебрегать ими, поскольку не может ни занять под залог имущества, и без того слишком обремененного, ни найти покупателей, если он пожелает продать. Если бы тогда платежи были взаимозаменяемыми, арендатор легко смог бы изыскать средства для их погашения путем заимствования или найти покупателей по цене, которая покрывала бы стоимость как земли, так и платежей, которые с нее могли бы взиматься. Мужчина всегда испытывает удовольствие, поддерживая и улучшая собственность, которой, как он считает, он находится в мирном владении. Было бы большой услугой сельскому хозяйству найти средства для компенсации этого класса платежей. Многие лорды поместий, убежденные в этом, охотно оказали бы свою помощь в таких мероприятиях. Поэтому было бы очень интересно обнаружить и указать на практически осуществимые средства для того, чтобы таким образом избавить землю от постоянного бремени”.

Примечание (XLI.)—Страница [90](#), строка 38.

Все государственные служащие, даже агенты фермеров по сбору доходов, получали освобождение от налогов — привилегию, предоставленную указом 1681 года. В письме интенданта министру в 1782 году говорится: ‘Среди привилегированных сословий наиболее многочисленным классом являются чиновники, занимающиеся акцизами на соль, общественным достоянием, почтой и другими королевскими монополиями всех видов. Есть немного приходов, в состав которых не входит один; во многих можно найти два или три”.

Цель этого письма - отговорить министра от предложения распространить освобождение от налогообложения на клерков и прислугу этих привилегированных агентов; это расширение, по словам интенданта, постоянно поддерживается Генеральным фермером, чтобы они могли таким образом избавиться от необходимости выплачивать жалованье.

Примечание (XLII.)—Страница [91](#), строка 1.

Продажа государственных должностей, которые назывались *офисами*, не была совсем неизвестна в других местах. В Германии некоторые мелкие князьки внедрили эту практику в небольших масштабах и в незначительных административных подразделениях. Нигде, кроме Франции, система не применялась в больших масштабах.

Примечание (XLIII.)—Страница 95, строка 17.

Мы не должны удивляться, каким бы странным это ни казалось, что при старой монархии государственные чиновники — многие из них принадлежали к так называемой государственной службе — умоляют парламенты установить пределы их собственных полномочий. Объяснение этому можно найти в том факте, что все эти вопросы были вопросами частной собственности, а также государственного управления. То, что здесь рассматривается как посягательство на судебную власть, было простым следствием ошибки, которую допустило правительство, возложив государственные функции на определенные должности. Поскольку эти офисы покупались и продавались, а доход их владельцев регулировался проделанной и оплаченной работой, было невозможно изменить функции офиса, не нарушив какого-либо права, за которое деньги были выплачены предшественнику в офисе.

Приведу пример из тысячи: — В настоящее время генерал-лейтенант полиции ведет длительный судебный процесс с *Финансовым бюро* города, чтобы доказать, что, будучи ответственным за наблюдение за улицами, он имеет право исполнять все законные акты, касающиеся мощения улиц и платы за такие акты.

В *Бюро* отвечают, что укладка тротуарной плитки - это обязанность, возложенная на него характером его должности.

Вопрос в данном случае решается не королем на совете; решение выносит парламент, поскольку основным предметом спора являются интересы капитала, направленного на покупку офиса. Административный вопрос превращается в гражданский иск.

Примечание (XLIV.)—Страница 96, строка 23.

АНАЛИЗ ИНСТРУКЦИЙ ДВОРЯНСКОГО ПРИКАЗА 1789 ГОДА.

Я полагаю, что Французская революция - единственная, в начале которой различные классы смогли по отдельности подлинно засвидетельствовать идеи, которые они зародили, и продемонстрировать чувства, которыми они были движимы, прежде чем Революция изменила и исказила эти идеи и чувства. Это подлинное свидетельство было зафиксировано, как мы все знаем, в *cahiers*, составленном тремя Орденами в 1789 году. Эти *cahiers*, или Инструкции, были составлены в условиях полной свободы и гласности каждым из соответствующих Приказов; они подверглись длительному обсуждению со стороны заинтересованных лиц и были тщательно рассмотрены их авторами; ибо правительство того периода, когда оно обращалось к нации, не брало на себя обязательства одновременно поставить вопрос и дать ответ. В то время, когда составлялись Инструкции, наиболее важные их части были собраны в трех печатных томах, которые можно найти в каждой библиотеке. Оригиналы хранятся в национальном архиве, а вместе с ними *ипротоколы* собраний, с помощью которых они были составлены, вместе с

частью переписки, которая велась между г-ном Неккером и его агентами по поводу этих собраний. Эта коллекция представляет собой длинную серию фолиантов. Это самый ценный документ, оставшийся нам от древней Франции, к которому следует постоянно обращаться тем, кто хочет знать, что чувствовали наши предки в то время, когда разразилась Революция.

Сначала я предположил, что сокращение, напечатанное в трех томах, о котором я упоминал выше, возможно, является работой одной стороны, а не истинным отражением характера этого грандиозного исследования; но, сравнив одно с другим, я обнаружил сильнейшее сходство между большим оригиналом и уменьшенной копией.

Выдержка из *устава* дворянства, которую я собираюсь привести, содержит правдивую картину настроений подавляющего большинства представителей этого Сословия. Это ясно показывает, сколько из своих древних привилегий они были упрямо намерены сохранить, от скольких они были не прочь отказаться и от скольких предлагали отказаться по собственному желанию. Прежде всего, мы в полной мере видим дух, который воодушевлял их в отношении политической свободы. Картина странная и печальная!

Права личности. Дворяне требуют, прежде всего, чтобы было сделано четкое заявление о правах, которые принадлежат всем людям, и чтобы это заявление подтверждало их свободы и обеспечивало их безопасность.

Свобода личности.—Они желают, чтобы рабство у глебов было отменено там, где оно все еще существует, и что должны быть изысканы средства для уничтожения работорговли и освобождения негров; что каждый человек должен быть свободен путешествовать или проживать там, где ему заблагорассудится, будь то в пределах королевства или за его пределами, не подвергаясь произвольному аресту; что злоупотребления полицейскими правилами должны быть исправлены, и что отныне полиция должна находиться под контролем судей, даже в случаях восстания; что никто не может быть арестован или предан суду, кроме как его естественными судьями; что Следовательно, государственные тюрьмы и другие незаконные места содержания под стражей должны быть ликвидированы. Некоторые из них требуют сноса Бастилии. Парижская знать особенно настаивает на этом вопросе.

Должны ли быть запрещены "Lettres Closes" или "Lettres de Cachet"?—Если какая-либо угроза государству делает необходимым арест гражданина без его немедленной передачи в обычные суды, должны быть приняты меры для предотвращения любых злоупотреблений, либо путем направления уведомления о тюремном заключении в *Государственный совет*, либо путем какого-либо другого разбирательства.

Дворянство требует упразднения всех специальных комиссий, всех судов по присвоению или освобождению от ответственности, всех привилегий *committimus*, всех затягивающих судебных решений и т.д., и т.п., и требует, чтобы самое суровое наказание было назначено всем тем, кто должен издавать или исполнять произвольный приказ; чтобы в рамках общей юрисдикции (единственной, которая должна сохраняться) были приняты необходимые меры для обеспечения свободы личности, особенно в отношении преступников; чтобы правосудие осуществлялось безвозмездно; и чтобы бесполезные юрисдикции были подавлены. 'Магистраты учреждаются для народа, а не народ для магистратов', - говорится в одном из мемориалов. Выдвигается даже требование, чтобы в каждом бейликике был учрежден совет и бесплатные адвокаты для бедных; чтобы разбирательство было публичным и сторонам в

судебном процессе разрешалось выступать в свою защиту; чтобы по уголовным делам заключенному предоставлялся адвокат и чтобы на всех стадиях разбирательства судья привлекал к себе определенное количество граждан, занимающих такое же жизненное положение, что и обвиняемый, которые должны высказать свое мнение относительно факта преступления, в котором он обвиняется (ссылаясь на английскую конституцию); чтобы все наказания должны быть соразмерны преступлению и одинаковы для всех; что смертная казнь должна быть сделана более редкой, а все телесные боли и пытки и т.д. должны быть отменены; что, в конечном счете, состояние заключенного, и особенно просто обвиняемого, должно быть улучшено.

Согласно этим памятным знакам, должны быть приняты меры по защите свободы личности при наборе в войска для прохождения сухопутной или морской службы; должно быть дано разрешение на преобразование обязанности военной службы в денежные взносы. Жеребьевка должна проводиться только в присутствии депутации трех Орденов вместе взятых; фактически, обязанности по военной дисциплине и субординации должны быть приведены в соответствие с правами гражданина и свободных людей, удары тыльной стороной сабли полностью отменяются.

Свобода и неприкосновенность собственности. Требуется, чтобы собственность была неприкосновенна и не подвергалась никаким нападениям, за исключением случаев, имеющих важное общественное значение; в этом случае правительство должно выплатить значительную и немедленную компенсацию: конфискация должна быть отменена.

Свобода торговли, ремесел и промышленной деятельности.— Свобода торговли и промышленности должна быть обеспечена; и, как следствие, свободы и другие привилегии определенных компаний должны быть подавлены, а все таможенные линии перенесены обратно к границам страны.

Свобода вероисповедания. Католическая религия должна быть единственной господствующей религией во Франции; но свобода совести должна быть оставлена за всеми, а не католики должны быть восстановлены в своих гражданских правах и своей собственности.

Свобода печати.—*Неприкосновенность тайны публикации.*— Свобода печати должна быть обеспечена, и закон должен заранее устанавливать все ограничения, которые могут быть сочтены необходимыми в общих интересах. Церковная цензура должна существовать только в отношении книг, соответствующих догмам Церкви; а во всех остальных случаях считается достаточным принять необходимые меры предосторожности, зная авторов и типографов. Многие мемориалы требуют, чтобы преступления против прессы рассматривались только судом присяжных.

Мемориалы единодушно требуют, прежде всего, нерушимого соблюдения тайны писем, переданных почте, чтобы (как они говорят) письма никогда не могли быть использованы в качестве средства обвинения или дачи показаний против человека. Они осуждают вскрытие писем, достаточно грубо, как самый одиозный шпионаж, поскольку он представляет собой нарушение общественного доверия.

Инструктаж, Образование. Памятные записки дворянства по этому вопросу требуют не более чем того, чтобы были приняты активные меры для содействия образованию, чтобы оно было распространено по всей стране и чтобы оно было направлено на принципы, соответствующие предполагаемому предназначению детей; и, прежде всего, чтобы детям было дано национальное образование путем обучения их их обязанностям и их гражданским правам. Они настаивают на составлении политического катехизиса, в котором им должны быть понятны основные положения конституции. Они, однако, не указывают на средства, которые следует использовать для распространения образования: они всего лишь требуют учебных заведений для детей неимущей знати.

Проявлять заботу о людях.—Во многих памятниках подчеркивается, что людям уделяется больше внимания. Некоторые осуждают как нарушение естественной свободы человека бесчинства, совершаемые от имени полиции, которая, как они говорят, произвольно и без какого-либо регулярного допроса тащит большое количество ремесленников и полезных граждан в тюрьмы, дома предварительного заключения и т. Д., Часто за незначительные проступки или даже по простому подозрению. Все мемориалы требуют окончательной отмены статутного труда. Большая часть бейливиков желает получить разрешение на откуп от вассалитета и пошлин; а некоторые требуют, чтобы получение многих феодальных повинностей стало менее обременительным, и чтобы те, которые выплачиваются по *франкофьефу*, были отменены. 'Правительству выгодно, - говорится в одном из мемориалов, - облегчать покупку и продажу поместий'. Именно эта причина была впоследствии приведена для отмены одним ударом всех сеньориальных прав и для продажи имущества в состоянии *mainmorte*. Многие мемориалы желают, чтобы *droit de colombier* (исключительное право на содержание голубей) было менее пагубным для сельского хозяйства. Выдвигаются требования о немедленном упразднении заведений, используемых в качестве королевских охотничьих угодий и известных под названием "*capitaineries*", как нарушающих права собственности. Также желательна замена существующих на тот момент налогов менее обременительными для населения в режиме взимания.

Дворянство требует, чтобы были предприняты усилия для повышения благосостояния и комфорта сельских округов; чтобы были предоставлены предприятия по прядению и ткачеству грубых материалов для занятий сельского населения в мертвый сезон года; чтобы в каждом бейливики были созданы общественные зернохранилища под контролем провинциальных властей, чтобы обеспечить себя на случай голода и поддерживать цены на зерно на определенном уровне; чтобы были изучены средства для улучшения сельского хозяйства страны и улучшения положения сельского населения; чтобы было увеличено финансирование общественных работ. ; и что особое внимание следует уделять осушению болотистых земель, предотвращению наводнений и т.д.; и, наконец, что призы за поощрение торговли и сельского хозяйства должны быть распределены по всем провинциям.

Мемориалы выражают пожелание, чтобы больницы были разделены на более мелкие учреждения, возведенные в каждом округе; чтобы приюты для нищих (*департаменты нищенства*) были упразднены и заменены благотворительными работными домами (*ателье шарите*); чтобы фонды помощи больным и нуждающимся были учреждены под управлением провинциальных штатов, и чтобы хирурги, терапевты и акушерки были распределены

междуокругами за счет провинций, оказывать свои безвозмездные услуги бедным; что суды справедливости также должны быть безвозмездны для народа; наконец, что следует позаботиться о создании учреждений для слепых, глухонемых, детей-подкидышей и т.д.

Вообще говоря, во всех этих вопросах орден знати не более чем выражает свое стремление к реформе, не вдаваясь ни в какие второстепенные детали исполнения. Легко видеть, что оно гораздо меньше общалось с низшими классами, чем с низшим сословием духовенства; и, таким образом, меньше соприкасаясь с их нищетой, меньше думало о средствах ее смягчения.

Допуск к государственным функциям; Иерархия рангов; Почетные привилегии дворянства. В частности, или, скорее, исключительно в вопросах, касающихся иерархии рангов и различия социальных классов, дворянство отделяет себя от общего духа требуемых реформ и, хотя и готово уступить в некоторых важных моментах, все еще цепляется за принципы старой системы. Очевидно, оно осознает, что сейчас борется за само свое существование. Следовательно, его мемориалы настоятельно требовали сохранения духовенства и дворянства как отдельных сословий. Они даже требуют, чтобы были предприняты усилия для поддержания порядка дворянства во всей его чистоте, и чтобы с этой целью было сделано невозможным приобретение дворянского титула путем выплаты денег; чтобы он больше не привязывался к определенным местам при Дворе и чтобы его можно было получить только по заслугам, после долгих и полезных услуг, оказанных государству. Они выражают желание, чтобы люди, присваивающие себе фальшивые дворянские титулы, были обнаружены и привлечены к ответственности. Все эти мемориалы, по сути, содержат настоятельные протесты в пользу сохранения дворянства во всех его почестях. Некоторые даже желают, чтобы дворянам был присвоен отличительный знак, обеспечивающий их внешнее узнавание. Невозможно представить себе что-либо более характерное, чем это требование, или более свидетельствующее о совершенном сходстве, которое, должно быть, уже существовало между знатью и плебеем, несмотря на разницу их социальных условий. В целом, в своих памятниках дворянство, хотя и кажется достаточно склонным уступить многие из своих более выгодных прав, энергично цепляется за свои почетные привилегии. Она настолько сильно чувствует, что ее уже несет поток демократии, и боится утонуть в этом потоке, что не только хочет сохранить все привилегии, которыми она уже пользуется, но и стремится изобрести другие, которыми она никогда не обладала. Необычно отметить, что он предчувствует надвигающуюся опасность, не осознавая ее на самом деле.

Что касается государственных должностей, дворяне требуют, чтобы с продажностью должностей было покончено во всех местах, связанных с магистратурой, и чтобы при назначениях такого рода граждане в целом были представлены нацией королю и назначались им без каких-либо различий, за исключением условий возраста и способностей. Большинство также считает, что *государственные* звания не должны быть исключены из воинского звания и что каждый военный служащий, который хорошо послужил своей стране, должен иметь право подняться до самого высокого ранга. "Дворянский орден не одобряет ни один закон, который закрывает доступ к воинскому званию для *Высшего* ордена", - это выражение используется в некоторых мемориалах. Но дворяне желают, чтобы право поступать в полк в качестве офицера, не пройдя сначала низших чинов, было сохранено только за ними самими. Почти все Инструкции, однако, требуют установления твердых правил, одинаково применимых ко всем, для присвоения званий в армии, и требуют, чтобы они не были полностью предоставлены на

усмотрение, а присваивались, за исключением тех, которые предоставляются вышестоящим офицерам, по праву старшинства.

Что касается канцелярских функций, то они требуют восстановления выборной системы распределения пособий или, по крайней мере, назначения королем комитета, который может просвещать его в вопросах распределения этих пособий.

Наконец, они выражают мнение, что в будущем пенсии должны распределяться с большей разборчивостью; что они больше не должны выплачиваться исключительно определенным семьям; что ни один гражданин не должен иметь более одной пенсии или получать зарплату более чем в одном месте одновременно и что все изменения в таких выплатах должны быть отменены.

Церковь и духовенство.—В вопросах, которые не затрагивают ее собственные интересы и особенности конституции, дворянство гораздо менее щепетильно. Во всем, что касается привилегий и организации Церкви, ее глаза достаточно широко открыты на существующие злоупотребления.

Он желает, чтобы духовенство не имело привилегий в вопросах налогообложения и чтобы оно выплачивало свои долги, не перекладывая их бремя на нацию; более того, чтобы монашеские ордена подверглись полной реформе. Большая часть Инструкций заявляет, что эти монастырские учреждения полностью отошли от первоначального духа своего учреждения.

Большинство бейливиков выражают свое желание, чтобы десятина наносила меньше ущерба сельскому хозяйству; многие требуют ее полной отмены. 'Большая часть десятины, - говорится в одном из мемориалов, - собирается теми должностными лицами, которые меньше всего делают для оказания духовной помощи людям'. Легко заметить, что последний орден не слишком снисходителен к первому в своих замечаниях. Не большее уважение было проявлено в его обращении с самой Церковью. Несколько бейливиков официально признают право Генеральных штатов подавлять определенные религиозные ордена и использовать их доходы на какие-либо другие цели. Семнадцать бейливиков заявляют о компетенции Генеральных штатов регулировать их дисциплину. Некоторые жалуются, что праздники (*jours de fête*) слишком часты, наносят ущерб сельскому хозяйству и способствуют пьянству, и предполагают, что, как следствие, большое их количество следует отменить и проводить только по воскресеньям.

Политические права. Что касается политических прав, Инструкции устанавливают право каждого француза принимать участие в управлении государством, прямо или косвенно; то есть право избирать или быть избранным, но без нарушения градации социальных рангов; так что никто не может выдвигать свою кандидатуру или быть выдвинутым иначе, чем в своем собственном Порядке. Считается, что после установления этого принципа представительная система должна быть установлена таким образом, чтобы каждому Слою населения было гарантировано право принимать серьезное участие в управлении делами.

Относительно порядка голосования в Ассамблее Генеральных штатов мнения расходятся. Большинство желает отдельного голосования по каждому Приказу; другие считают, что при голосовании по налогообложению следует сделать исключение из этого правила; в то время как

другие снова считают, что так должно быть всегда. 'Голоса должны подсчитываться отдельными людьми, а не приказами', - говорят последние. 'Такой способ действий является единственно разумным и единственным, направленным на устранение кастового эгоизма, который является источником всех наших зол, — объединить людей и привести их к тому результату, которого нация имеет право ожидать от Собрания, патриотизм и высокие моральные качества которого должны быть усилены их объединенным разумом'. Однако, поскольку немедленное принятие этого нововведения может оказаться опасным при существующем состоянии общих настроений, многие Инструкции предусматривают, что решение об этом следует принимать только с осторожностью и что ассамблее лучше решить, не было ли более благоразумным отложить применение системы индивидуального голосования до следующих Генеральных штатов. Дворянство требует, чтобы в любом случае каждому ордену было позволено сохранить то достоинство, которое принадлежит каждому французу, и, следовательно, чтобы унижительные церемонии, которым *были подвергнуты государственные* должности при старой системе, были отменены, как, например, обязанность преклонять колени - "поскольку, — говорится в одном из этих документов, - зрелище того, как один человек преклоняет колени перед другим, оскорбляет достоинство человека и символизирует неполноценность между созданиями, равными по природе, несовместимую с их основными правами".

Система, которая должна быть установлена в Форме правления, и Принципы Конституции. Что касается формы правления, дворянство желало сохранения монархической конституции, сохранения законодательной, судебной и исполнительной власти в лице короля, но, в то же время, установления основных законов с целью обеспечения прав нации при осуществлении этих полномочий.

Следовательно, все Инструкции провозглашают, что нация имеет право собираться в Генеральные штаты, состоящие из достаточного числа членов для обеспечения независимости Ассамблеи; и они выражают желание, чтобы в будущем эти Штаты собирались в установленные периодические периоды, а также при каждом новом наследовании престола, без выдачи каких-либо распоряжений о созыве. Многие судебные приставы даже советуют сохранить это Собрание на постоянной основе. Если созыв Генеральных штатов не состоится в установленный законом срок, они должны иметь право отказаться от уплаты налогов. Некоторые инструкции требуют, чтобы в перерывах между заседаниями Штатов была назначена промежуточная комиссия для наблюдения за управлением королевством; но большинство из них формально выступают против назначения любой такой комиссии, поскольку это неконституционно. Причина, приведенная для этого возражения, достаточно любопытна. Они опасались, что это может соблазнить столь малочисленное Собрание, предоставленное самому себе в присутствии правительства.

Дворянство желает, чтобы министры не обладали правом роспуска Собрания и были наказаны по закону за то, что нарушают его своими интригами; чтобы ни один государственный чиновник, никто, каким-либо образом зависящий от правительства, не был депутатом; чтобы личность депутатов была неприкосновенна и чтобы они не могли (согласно условиям меморандумов) подвергаться судебному преследованию за любые мнения, которые они могут высказывать; наконец, чтобы заседания Собрания были публичными, и чтобы, для того чтобы нация могла принимать в них более широкое участие, они должны быть проведены в соответствии с законом. известен по печатным отчетам.

Дворянство единодушно требует, чтобы принципы, предназначенные для регулирования управления государством, применялись к управлению различными частями королевства и чтобы, следовательно, в каждом округе и каждом приходе были сформированы Собрания, состоящие из свободно избираемых членов на ограниченный период времени.

Многие Инструкции рекомендуют упразднить функции *интендантов* и *генеральных инспекторов*; все придерживаются мнения, что в будущем Провинциальные собрания должны единолично распоряжаться сбором налогов и заботиться об особых интересах провинции. То же самое, по их мнению, должно быть в случае с Ассамблеями каждого *округа* и каждого прихода, которые должны отчитываться за будущее только перед провинциальными штатами.

Распределение государственных полномочий.—Законодательная Власть.—Что касается распределения полномочий между собрали народ и Царь, дворянство требует, чтобы никакой закон не должен считаться эффективным, пока не было получено согласие Генеральных Штатов и царь и вступил на реестров судов наделены полномочиями по поддержанию исполнением законов; что Генеральные Штаты должны были исключительным атрибутом определении и установлении размера налогов; что все субсидии, согласованным следует только за тот период, который может пройти между одно заседание государств и рядом; что все, что может быть обращено взыскание, или рукоположенным без согласия государства, должны быть признаны незаконными, и что все министры и получателями таких субсидий, которые могут быть заказаны или взимаемые их, должны быть привлечены к ответственности как государственных неплательщиков; что, таким же образом, без ипотеки должен быть заключен без согласия Генеральных Штатов, но что кредитная сами должны быть открыты, отремонтированы государствами, из которых правительство могло бы использовать в случае войны или какого-нибудь великого бедствия, заботясь, однако, что должны быть приняты меры, чтобы созвать Генеральные Штаты в кратчайшие сроки; что все национальные казначейства должна быть помещена под надзором государства; что расходы каждого подразделения должны быть зафиксированы их; и что самый верный меры должны быть приняты, чтобы увидеть, что средства проголосовало не были превышены.

Большая часть Инструкций рекомендует отменить те возмутительные налоги, которые известны под названиями *инсинуации*, *обмана* и *цензового отказа*, которые подпадают под название "Управление (*Режим*) королевских владений", по поводу чего в одном из меморандумов говорится: "Одного названия *режима* достаточно, чтобы оскорбить чувства нации, поскольку оно выдвигает как принадлежащее королю вопросы, которые в действительности являются часть собственности граждан; "что все владения, не отчужденные, должны быть переданы под управление провинциальных штатов, и никакое постановление, никакой эдикт по финансовым вопросам не должен издаваться без согласия трех сословий нации.

Очевидно, что дворянство намерено возложить на нацию всю полноту финансового управления, как в регулировании займов и налогов, так и в их получении посредством Генерального и провинциальных собраний.

Судебная власть.—Точно так же в судебной организации существует тенденция к тому, что власть судей, по крайней мере в значительной степени, зависит от собравшейся нации. И, таким образом, многие мемориалы провозглашают, "что магистраты должны нести ответственность за факт своего назначения перед собравшейся нацией"; что они не должны быть отстранены от своих функций без согласия Генеральных Штатов; что ни один суд под каким

бы то ни было предлогом не должен быть нарушен при выполнении своих функций без согласия этих Штатов; что спорные вопросы в Апелляционном суде, а также те, которые находятся на рассмотрении парламента, должны решаться Генеральными Штатами. В большинстве Инструкций добавляется, что судьи должны назначаться только королем по представлению ему народа.

Исполнительная власть.—Исполнительная власть принадлежит исключительно королю; но предлагаются необходимые ограничения, чтобы предотвратить злоупотребление ею.

Например, в администрации Инструкции требуют, чтобы состояние счетов различных департаментов было обнародовано путем печати; точно так же, прежде чем использовать войска для защиты страны извне, король должен сообщить о своем точном намерении Генеральным штатам; что в самой стране войска никогда не должны использоваться против граждан, кроме как по требованию Генеральных штатов; что численность войск должна быть ограничена, и что только две трети из них должны оставаться, в обычное время, во втором действующем списке; и что правительство должно сохранять за собой право использовать свои войска против граждан. вывести все иностранные войска, которые могут быть у него на содержании, из центра королевства и направить их к границам.

Внимательно изучая Наставления дворянства, читатель не может не быть поражен, больше всего, убежденностью в том, что дворяне по сути своей принадлежат своему времени. Они владеют всеми современными чувствами и совершенно свободно пользуются их языком; они говорят о 'неотъемлемых правах человека' и 'принципах, присущих общественному договору'. В вопросах, относящихся к личности, они обычно обращают внимание на его права - в тех, которые относятся к обществу, к его обязанностям. Принципы их политических взглядов кажутся им *такими же абсолютными, как принципы морали, поскольку и то, и другое основано на разуме*. Выражая свое желание уничтожить последние остатки крепостного права, они говорят *о стирании последних следов деградации человеческого рода*. Иногда их называют Людовиком XVI. "Король-гражданин" и часто говорят о том преступлении *против нации* (измена нации), которое впоследствии так часто вменялось им самим. По их мнению, как и по мнению всех остальных, всего следовало ожидать от результатов государственного образования, которым должны были руководить штаты. "*Генеральные штаты*, - говорит один из *Cahiers*, - *должны позаботиться о том, чтобы воспитать национальный характер путем изменений в воспитании детей*". Как и остальные их современники, они проявляют живое и постоянное стремление к единообразию в законодательстве, исключая, однако, все, что касалось существования рангов. Они так же, как и *государственные* уровни, стремятся к административному единообразию - единообразию мер и т.д. Они указывают на всевозможные реформы и ожидают, что эти реформы должны быть радикальными. Согласно их предложениям, все налоги без исключения должны быть отменены или переведены, а вся судебная система изменена, за исключением сеньориальных судов, которые, по их мнению, нуждаются лишь в улучшении. Они, как и все остальные французы, смотрели на Францию как на поле для экспериментов — своего рода политическую модельную ферму, на которой нужно было выращивать каждый кусочек и опробовать каждый эксперимент, за исключением одного особого маленького уголка, где расцветали их собственные привилегии. Однако к их чести следует сказать, что даже этого они не избежали. Короче говоря, как можно видеть, читая их мемориалы, все, чего дворяне хотели для того, чтобы совершить Революцию, - это быть плебейми.

Примечание (XLV.)—Страница 97, строка 2.

ОБРАЗЕЦ РЕЛИГИОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ПРОВИНЦИЕЙ В СЕРЕДИНЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА.

1. Архиепископ.

2. Семь генеральных викариев.

3. Два Церковных суда, именуемых *Официалитами*. Один из них, получивший название *Metropolitan Officialité*, принял во внимание суждения суффражисток. Другой, называемый *Официалитетом* епархии, ведал (1) личными делами между священнослужителями; (2) действительностью браков с точки зрения проведения церемонии.

Этот последний суд состоял из трех судей, к которым примыкали нотариусы и адвокаты.

4. Два финансовых суда. Одно из них, называемое епархиальным управлением (*Епархиальное бюро*), в первую очередь рассматривало все вопросы, касающиеся сборов, взимаемых с духовенства епархии. (Как хорошо известно, они были установлены самим духовенством.) Этот суд возглавлял архиепископ и состоял из шести других священников. Другой суд вынес решение по апелляциям по причинам, которые были поданы в другие *епархиальные бюро* церковной провинции.

Все эти суды допускали адвокатов и заслушивали состязательные бумаги.

Примечание (XLVI.)—Страница 97, строка 10.

ОБЩЕЕ НАСТРОЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА В ШТАТАХ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ АССАМБЛЕЯХ.

То, что было сказано в тексте относительно штатов Лангедок, с таким же успехом применимо к провинциальным ассамблеям, которые собирались в 1779 и 1787 годах, например, в Верхней Гиенне. Представители духовенства в этом Провинциальном собрании были одними из самых просвещенных, самых активных и самых либеральных. Именно епископ Родезский предложил опубликовать протокол Собрания.

Примечание (XLVII.)—Страница 98, строка 26.

Эта либеральная позиция священников в политических вопросах, проявившаяся в 1789 году, была вызвана не только волнением момента, свидетельства этого уже появлялись в гораздо более ранний период. Это проявилось, например, в провинции Берри еще в 1779 году, когда духовенство предложило внести добровольные пожертвования в размере 68 000 ливров при единственном условии сохранения провинциальной администрации.

Примечание (XLVIII.)—Страница 100, строка 11.

Следует осторожно отметить, что если политические условия общества были лишены каких-либо связей, то гражданское состояние общества все еще имело их множество. В кругу различных классов люди были связаны друг с другом; что-то даже еще оставалось от той тесной связи, которая некогда существовала между классом *сеньоров* и народом; и хотя все это существовало только в гражданском обществе, его последствия косвенно ощущались в политическом обществе. Люди, связанные этими узами, образовывали массы, которые были нерегулярными и неорганизованными, но неподатливыми под рукой власти. Революция, разорвав все социальные связи, не установив вместо них никаких политических, одновременно подготовила почву для равенства и порабощения.

Примечание (XLIX.)—Страница 101, строка 5.

ПРИМЕР ТОГО, КАК СУДЫ ВЫРАЖАЛИ СВОИ МНЕНИЯ В СВЯЗИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРОИЗВОЛЬНЫМИ АКТАМИ.

Из мемориала, установленного перед *Генеральным контролером* в 1781 году *интендантом Генеральной администрации* Парижа, следует, что одним из обычаев этого *Генеральной администрации* было то, что в приходах должно быть два синдика - один избирался жителями на Собрании под председательством *подчиненного*, другой выбирался *интендантом* и считался надзирателем первого. В приходе Рюэй произошла ссора между двумя синдиками, избранный синдик не захотел подчиняться избранному синдик. *Интендант* с помощью г-на де Бретейля добился, чтобы избранный синдик был заключен на две недели в тюрьму Ла Форс; он был арестован, затем уволен со своего поста, и на его место был назначен другой. Вслед за этим парламент, по требованию заключенного синдика, начал судебное разбирательство, исход которого я не смог найти, но в ходе которого он заявил, что лишение свободы истца и аннулирование его избрания могут рассматриваться только как *произвольные и деспотические действия*. Похоже, судебные власти тогда иногда были довольно жестоки на язык.

Примечание (L.)—Страница 103, строка 30.

Дело вовсе не в том, что просвещенные и богатые классы были угнетены и порабощены при *старом режиме*, напротив, можно сказать, что все, включая *буржуазию*, часто были слишком свободны делать все, что им заблагорассудится; поскольку королевская власть не осмеливалась препятствовать представителям этих классов постоянно создавать себе исключительное положение в ущерб народу; и почти всегда считала необходимым пожертвовать последним ради них, чтобы заручиться их доброй волей или положить конец их дурному настроению. Можно сказать, что в восемнадцатом веке француз, принадлежащему к этим классам, было легче противостоять правительству и заставить его прибегнуть к примирительным мерам по отношению к нему, чем англичанину того же жизненного положения в то время. Власти часто считали себя обязанными применять по отношению к такому человеку гораздо более выжидательную и робкую политику, чем английское правительство когда-либо сочло бы себя обязанным применять по отношению к английскому подданному той же

категории - настолько неправильно смешивать независимость со свободой. Нет ничего менее независимого, чем свободный гражданин.

Примечание (LI.)—Страница 103, строка 37.

ПРИЧИНА, КОТОРАЯ ЧАСТО ВЫНУЖДАЛА АБСОЛЮТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ДРЕВНЕМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА СДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ.

В обычное время увеличение старых налогов и, в особенности, введение новых - это единственные темы, которые могут вызвать проблемы у правительства или взбудоражить народ. Согласно старому финансовому устройству Европы, когда у какого-либо государя возникали дорогостоящие желания, или он пускался в авантюрную политику, или позволял своим финансам прийти в беспорядок, или (возьмем другой пример) нуждался в деньгах с целью собственного существования путем привлечения сторонников посредством огромных прибылей или высоких зарплат, которых они никогда не получали, или путем содержания многочисленных армий, проведения крупных общественных работ и т.д. и т.п., он был вынужден немедленно прибегнуть к налогообложению; процедура, которая немедленно взбудоражила каждый класс, особенно тот класс, который создает революции — народ. В наши дни в подобных ситуациях заключаются займы, непосредственный эффект от которых остается почти незамеченным, а конечный результат ощущается только следующим поколением.

Примечание (LII.)—Страница 105, строка 29.

В качестве одного из примеров, среди многих других, можно привести тот факт, что основные владения в юрисдикции Майенны были переданы на откуп *Ферме-Женеро*, которые взяли в качестве *Су-Ферме* маленьких несчастных землепашцев, у которых не было ничего своего, и для которых они были обязаны поставлять самый необходимый сельскохозяйственный инвентарь. Нетрудно догадаться, что *Фермер-Женеро* такого рода не очень-то считались с фермерами или платежеспособными арендаторами старого феодального *сеньора*, который поставил их на свое место, и что осуществление феодализма в таких руках, как эти, часто было более тяжелым, чем в средние века.

Примечание (LIII.)—Страница 105, строка 29.

ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР.

Жители Мантбазона назначили *втайль* управляющих герцогства, которым владел Прайс де Роан, хотя эти управляющие вели хозяйство только от его имени. Этот принц (который, должно быть, был чрезвычайно богат) не только положил конец этому "злоупотреблению", как он это называл, но и добился возмещения 5344 ливров 15 су, которые он был неправомерно вынужден выплатить и которые были возложены на жителей.

Примечание (LIV.)—Страница 108, строка 7.

ПРИМЕР ТОГО, КАК ДЕНЕЖНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ ДУХОВЕНСТВА ОТЧУЖДАЛИ ОТ НИХ СЕРДЦА ТЕХ, ЧЬЕ ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫ ИХ ПРИМИРИТЬ.

Кюре из Нуази утверждал, что жители были обязаны отремонтировать его амбар и винный пресс, и просил ввести местный налог на эти цели. *Интендант* ответил, что жители были обязаны отремонтировать только дом священника, а амбар и винный пресс должны были быть за счет этого пастора, который, очевидно, был больше занят делами своей фермы, чем своей духовной паствой (1767).

Примечание (LV.)—Страница 110, строка 4.

В одном из меморандумов, разосланных в 1788 году крестьянами, — меморандуме, написанном с большой ясностью и в умеренном тоне в ответ на запрос, возбужденный Провинциальным собранием, — встречаются следующие пассажи: "В дополнение к злоупотреблениям, вызванным способом взимания *подати*, существует еще и злоупотребление *гарниссерами*. Эти люди обычно прибывают пять раз во время сбора *тайля*. Обычно это *инвалиды* или швейцарские солдаты. Каждый раз они остаются в приходе на четыре-пять дней, и налоговая инспекция взимает с них налог в размере 36 су в день. Что касается оценки *дела*, мы воздержимся указывать на слишком хорошо известные злоупотребления, вызванные применяемыми произвольными мерами, и плохие последствия, вызванные официозной ролью офицеров, которые часто неспособны и почти всегда пристрастны и мстительны. Однако они были причиной многих беспорядков и ссор и привели к судебным разбирательствам, чрезвычайно дорогостоящим для сторон, выступающих в суде, и очень выгодным для судов".

Примечание (LVI.)—Страница 110, строка 39.

ПРЕВОСХОДСТВО МЕТОДОВ, ПРИНЯТЫХ В ПРОВИНЦИЯХ, ГДЕ ЕСТЬ СОБРАНИЯ (PAYS D'ÉTAT), ПРИЗНАНО САМИМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ЧИНОВНИКАМИ.

Конфиденциальное письмо, написанное Директором Налогового управления *интенданту* 3 июня 1772 года, содержит следующее: "В *системе уплаты налогов* налог является фиксированным *tantième* (процентной ставкой), каждый налогоплательщик облагается им и действительно платит его. При оценке этого *тантieme* увеличивается пропорционально увеличению, требуемому королем, общей суммы предоставленных средств — например, на миллион вместо 900 000 ливров. Это простая операция; в то время как в *Генеральной прокуратуре* оценка носит личный характер и, так сказать, произвольна; одни платят должное, другие - только половину, третьи - треть, четверть или вообще ничего. Как в таком случае увеличить сумму налогообложения на одну девятую?"

Примечание (LVII.)—Страница 112, строка 37.

СПОСОБ, КОТОРЫМ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ КЛАССЫ ПОНАЧАЛУ ПОНИМАЛИ ПРОГРЕСС ЦИВИЛИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ.

Граф Х. в письме к *интенданту* жалуется на очень небольшое усердие, проявленное при прокладке дороги в его окрестностях. Он говорит, что это вина *поддельщиков*, которые не расходуют достаточно энергии при выполнении своих функций и не будут принуждать крестьян к принудительному труду (*барщине*).

Примечание (LVIII.)—Страница 112, строка 42.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ЗА БАРЩИНУ.

Пример приводится в письме *Великого Прево* от 1768 года: "Вчера я приказал, — говорится в нем, - заключить в тюрьму трех человек (по требованию М. К., младшего инженера) за неисполнение их *барщины*. Это вызвало сильное волнение среди деревенских женщин, которые воскликнули: "О бедных людях думают вполне достаточно, когда речь заходит *обарщине*, но никто не заботится о том, чтобы им было на что жить".

Примечание (LIX.)—Страница 113, строка 20.

Ресурсы для строительства дорог были двух видов. Чем больше была *барщина* за все великие работы, требовавшие только труда; тем меньше было общего налога, сумма которого предоставлялась в распоряжение *мостов и дорог* для покрытия расходов на работы, требующие науки. Привилегированные классы, то есть основные землевладельцы, хотя и были более всех заинтересованы в строительстве дорог, ничего не вносили в *барщину* и, более того, все еще были освобождены от других налогов, поскольку налоги на *мосты и Шоссе* были присоединены к *тайле* и взимались таким же образом.

Примечание (LX.)—Страница 113, строка 29.

ПРИМЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОСУЖДЕННЫХ.

Из письма, адресованного комиссаром во главе полицейского управления по делам каторжных банд *интенданту* в 1761 году, видно, что крестьян заставляли тащить галерных рабов по дороге; что они выполняли эту задачу с большой недоброжелательностью; и что с ними часто плохо обращались каторжные надзиратели, "поскольку, - говорит комиссар, - надзиратели - грубые и безжалостные ребята, а крестьяне, берущиеся за эту работу по принуждению, часто бывают наглыми".

Примечание (LXI.)—Страница 113, строка 32.

Тюрго описал неудобства и тяготы принудительного труда при перевозке военного багажа, которые после прочтения служебных бумаг не кажутся преувеличенными. Среди прочего, он говорит, что его главная трудность заключалась в неравном распределении очень тяжелого бремени, поскольку оно полностью легло на небольшое число приходов, которые имели несчастье оказаться на большой дороге. Расстояние, которое нужно было преодолеть, часто составляло пять, шесть, а иногда и десять-пятнадцать лиг. В этом случае на дорогу до дома требовалось три дня. Компенсация, выплачиваемая землевладельцам, составляла лишь пятую часть расходов, которые на них ложились. Период, когда требовался принудительный труд, обычно приходился на лето, время сбора урожая. Волы почти всегда перегружались и часто заболели после того, как были наняты на работу — настолько сильно, что большое количество землевладельцев предпочитали выделять сумму от 15 до 20 ливров, а не поставлять повозку и четырех волов. Возникшая в результате неразбериха была неизбежна. Крестьяне постоянно подвергались жестокому обращению со стороны военных. Офицеры почти всегда требовали больше, чем им полагалось; а иногда они силой заставляли водителей запрягать в повозки верховых лошадей, рискуя нанести им серьезные увечья. Иногда солдаты настаивали на том, чтобы ехать на телегах, уже перегруженных; в других случаях, раздраженные медленным продвижением волов, они подгоняли их мечами, а когда крестьяне протестовали, с ними жестоко обращались.

Примечание (LXII.)—Страница 113, строка 38.

ПРИМЕР ТОГО, КАК ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ПРИМЕНЯЛСЯ КО ВСЕМУ.

Переписка, возникшая по жалобе интенданта Военно-морского ведомства в Рошфоре относительно трудностей, с которыми сталкивались крестьяне, которых *барщина* заставляла возить лес, закупленный военно-морскими подрядчиками в разных провинциях для нужд кораблестроения, показывает, что крестьяне на самом деле все еще (1775 г.) были вынуждены выполнять этот принудительный труд, цену которого устанавливал сам интендант. Военно-морской министр передал жалобу интенданту Тура с приказом, чтобы тот позаботился о поставке необходимых экипажей. Интендант г-н Дюкюзель отказался разрешить этот вид принудительного труда, после чего министр написал ему письмо с угрозами, в котором говорилось, что ему придется ответить за свой отказ перед королем. Интендант на это сразу же (11 декабря 1775 г.) твердо ответил, что в течение десяти лет, в течение которых он был интендантом в Туре, он никогда не разрешал эти *барщины* из-за неизбежных злоупотреблений, возникающих в результате них, за которые установленная цена за использование транспортных средств не была компенсацией. 'Ибо часто, ' говорится в его письме, - животные становятся калеками под тяжестью огромных масс, которые они вынуждены тащить по дорогам, столь же плохим, как и время года, когда им приказывают выйти'. То, что подтолкнуло интенданта к сопротивлению, по-видимому, было письмом г-на Тюрго, которое прилагается к документам по этому вопросу. Оно датировано 30 июля 1774 года, вскоре после того, как он стал министром; и в нем говорится, что он сам никогда не санкционировал эти *барщины* в Лиможе и одобряет господина Дюкюзеля за то, что он не санкционировал их в Туре.

Некоторые фрагменты этой переписки доказывают, что подрядчики по заготовке древесины часто прибегали к этому принудительному труду, даже когда они не были уполномочены на это контрактами, заключенными между ними и государством, поскольку таким образом они

получали по меньшей мере треть экономии своих транспортных расходов. Пример полученной таким образом прибыли приводится одним *Субделегом* в следующих расчетах: "Расстояние перевозки леса от места, где он вырубается, до реки по почти непроходимым перекресткам - шесть лье; время, затрачиваемое на дорогу и возвращение обратно, — два дня; если считать (в качестве компенсации *корветам*) квадратный фут из расчета шесть лиардов за лигу, то в целом получается 13 франков 10 су за поездку - сумма, едва достаточная для покрытия фактических расходов на дорогу". мелкий землевладелец, его помощник, и волы или лошади, запряженные в его повозку. Его собственное время и хлопоты, а также работа его животных являются для него безвозвратными потерями". 17 мая 1776 года министр вручил интенданту положительный приказ короля о казни этой *барщины*. Поскольку г-н Дюкюзель к тому времени умер, его преемник, г-н л'Эскалопье, с готовностью подчинился и опубликовал указ, в котором говорилось, что *Подчиненный* должен был произвести оценку количества труда, взимаемого с каждого прихода, вследствие чего различные лица, обязанные законодательно закрепить труд в каждом приходе. упомянутые приходы были вынуждены отправиться, в соответствии со временем и местом, указанными синдиками, к месту, где могли оказаться дрова, и вывезти их по цене, установленной *Субделеге*.

Примечание (LXIII.)—Страница 115, строка 22.

ПРИМЕР ТОГО, КАК ЧАСТО ОБРАЩАЛИСЬ С КРЕСТЬЯНАМИ.

В 1768 году король разрешил перевести 2000 франков на счет *тайля* в приходе Шапель-Бланш, недалеко от Сомюра. *Кюре* хотел выделить часть этой суммы на строительство колокольни, чтобы избавиться от звона колоколов, который, по его словам, раздражал его в его приходском доме. Жители жаловались и сопротивлялись. *Субделеге* принял участие вместе с *кюре*, и трое из основных жителей были арестованы ночью и посажены в тюрьму.

Другие примеры можно найти в королевском приказе о заключении в тюрьму на две недели женщины, оскорбившей двух конных сельских полицейских; и в другом приказе о заключении в тюрьму на две недели ткачихи чулок, которая плохо отзывалась о той же полиции. В этом последнем случае интендант ответил министру, что он уже посадил этого человека в тюрьму — процедура, получившая одобрение министра. Это надругательство над *маршалом* возникло из-за факта насильственного ареста нескольких нищих, который, по-видимому, сильно потряс население. *Подчиненное управление*, похоже, арестовав ткачиху, публично заявило, что все, кто продолжит оскорблять *маршалку*, должны быть наказаны еще строже.

Из переписки между *подчиненным* и их интендантом (1760-1770) следует, что он отдал им приказ арестовать всех виновных — не для предания суду, а для немедленного наказания в виде тюремного заключения. В одном случае *подчиненный* просит разрешения у интенданта приговорить к пожизненному заключению двух опасных нищих, которых он арестовал; в другом мы находим протест отца против ареста его сына как бродяги, потому что он путешествовал без паспорта. И снова, домовладелец Х. требует арестовать человека, одного из своих соседей, который приехал обосноваться в приходе, которому он оказал услугу, но который плохо себя вел и был ему неприятен; и интендант Парижа пишет, чтобы попросить интенданта Руана быть достаточно любезным и оказать эту услугу домовладельцу, который является одним из его друзей.

В другом случае интендант отвечает человеку, который хочет, чтобы несколько нищих были выпущены на свободу, говоря, что *Департамент нищих* следует рассматривать не как тюрьму, а только как дом, предназначенный для содержания нищих и бродяг, в качестве "административного исправительного учреждения". Эта идея вошла во французский уголовный кодекс, настолько сильно сохранились традиции старой монархии в этих вопросах.

Примечание (LXIV.)—Страница [121](#), строка 7.

Было сказано, что характер философии восемнадцатого века заключался в своего рода преклонении перед человеческим разумом — безграничной уверенности в его всемогущей способности преобразовывать по своей воле законы, институты и мораль. Но при ближайшем рассмотрении мы увидим, что, по правде говоря, некоторые из этих философов больше поклонялись своему собственному разуму, чем человеческому разуму. Никто никогда не выказывал меньшего доверия к мудрости человечества, чем эти люди. Я мог бы назвать многих, кто испытывал почти такое же презрение к массам, как и к Божеству. К последним они относились с высокомерием соперников, к первым - с высокомерием выскочек. Реальное и уважительное подчинение воле большинства было так же далеко от их сознания, как и подчинение Божественной воле. Почти все революционеры последующих дней проявили этот двойной характер. Существует большая дистанция между их настроением и уважением, проявляемым англичанами и американцами к мнению большинства своих сограждан. Индивидуальный разум в этих странах обладает собственной гордостью и уверенностью в себе, но никогда не бывает наглым; таким образом, он проложил путь к свободе, в то время как во Франции он не сделал ничего, кроме изобретения новых форм рабства.

Примечание (LXV.)—Страница [132](#), строка 15.

Фридрих Великий в своих Мемуарах сказал: 'Ваши великие люди, такие как Фонтенель, Вольтер, Гоббс, Коллинз, Шафтсбери, Болингброк, нанесли религии смертельный удар. Люди начали всматриваться в то, чему они слепо поклонялись; разум победил суеверия; победило отвращение ко всем басням, в которые они верили. Деизм приобрел много последователей. Как эпикурейство стало фатальным для идолопоклоннического богослужения язычников, так и деизм в наши дни стал фатальным для иудаистских представлений, принятых нашими предками. Свобода мнений, преобладающая в Англии, внесла большой вклад в прогресс философии'.

Из приведенного выше отрывка видно, что Фридрих Великий в то время, когда он писал эти строки, то есть в середине восемнадцатого века, все еще смотрел на Англию как на средоточие нерелигиозных доктрин. Но из этого можно извлечь еще более поразительный факт, а именно, что один из монархов, наиболее опытный в познании человека и дел вообще, по-видимому, не имеет ни малейшего представления о политической пользе религии. Ошибочные суждения его наставников, очевидно, привели в беспорядок его собственные природные качества.

Примечание (LXVI.)—Страница [150](#), строка 1.

Дух прогресса, проявившийся во Франции в конце XVIII века, проявился в то же время по всей Германии и повсюду сопровождался одним и тем же желанием изменить учреждения того времени. Немецкий историк дает следующую картину того, что тогда происходило в его собственной стране:

‘Во второй половине восемнадцатого века новый дух эпохи постепенно проникал даже на церковные территории. В них начались реформы; промышленность и терпимость прокладывали себе путь со всех сторон; и тот просвещенный абсолютизм, который уже овладел крупными государствами, проник даже туда. В то же время следует сказать, что ни в один период восемнадцатого века на этих церковных территориях не было таких замечательных и уважаемых князей, как в течение последних десяти лет, предшествовавших Французской революции”.

Сходство этой картины с той, что тогда предлагала Франция, поразительно. Во Франции движение за улучшение положения и прогресс началось в ту же эпоху; и люди, наиболее способные управлять, появились на сцене как раз в то время, когда Революция была готова поглотить все.

Следует также отметить, насколько сильно вся эта часть Германии была заметно ускорена движением цивилизации и политическим прогрессом во Франции.

Примечание (LXVII.)—Страница 151, строка 1.

ЗАКОНЫ АНГЛИИ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ИНСТИТУТЫ МОГУТ БЫТЬ ПОЛНЫ НЕДОСТАТКОВ И ВСЕ ЖЕ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ, РАДИ КОТОРОЙ ОНИ БЫЛИ СОЗДАНЫ.

Способность наций процветать, несмотря на недостатки, с которыми приходится сталкиваться во второстепенных областях их институтов, до тех пор, пока общие принципы и действительный дух, которые одушевляют эти институты, полны жизни и энергии, - это явление, которое проявляется с особой отчетливостью при рассмотрении судебной конституции Англии прошлого столетия, описанной Блэкстоуном.

Внимание сразу же привлекают два больших различия, которые очень бросаются в глаза:—

Первый. Разнообразие законов.

Во-вторых. Разнообразие судов, которые их администрируют.

I.—*Разнообразие законов.*-(1.) Законы различны для Англии (правильно так называемой), для Шотландии, для Ирландии, для различных европейских зависимостей Великобритании, таких как остров Мэн, Нормандские острова и т.д., и, наконец, для британских колоний.

(2.) В самой Англии можно найти четыре вида законов — общее право, статутное право, каноническое право и равенство. Общее право само по себе делится на общие обычаи, принятые во всем королевстве, и обычаи, специально принадлежащие определенным поместьям или определенным городам, а иногда только определенным классам, таким как ремесла. Эти обычаи иногда сильно отличаются друг от друга; как, например, те, которые, вопреки общей тенденции английских законов, требуют равного распределения имущества

между всеми детьми (гавелкинд) и, что еще более необычно, предоставляют право первородства младшему ребенку (боро-инглиш).

II.—*Разнообразие судов.*—Blackstone сообщает нам, что закон учредил огромное количество различных судов. Некоторое представление об этом можно получить из следующего чрезвычайно краткого анализа:—

(1.) Во-первых, это были суды, созданные за пределами Англии, собственно так называемые; такие как шотландский и ирландский суды, которые никогда не были зависимы от высших судов Англии, хотя апелляция из этих нескольких юрисдикций подается в Палату лордов.

(2.) В самой Англии, если мне не изменяет память, среди классификаций Блэкстоуна можно найти следующие:

1. Одиннадцать видов судов общего права, четыре из которых, правда,, похоже, уже вышли из употребления.

2. Три вида судов, юрисдикция которых распространяется на всю страну, но которые рассматривают только определенные вопросы.

3. Десять видов судов, обладающих своим особым характером. Один из таких видов состоит из местных судов, учрежденных различными актами парламента и существующих по традиции либо в самом Лондоне, либо в городах и округах графств. Эти суды были настолько многочисленны и настолько сильно различались по своему составу и правилам, что не могло быть и речи о том, чтобы пытаться дать о них подробный отчет.

Таким образом, только в Англии (собственно так называемой), если верить Блэкстоуну, в период, когда он писал, то есть во второй половине восемнадцатого века, существовало двадцать четыре вида судов, некоторые из которых подразделялись на множество отдельных судов, каждый из которых имел свои особые особенности. Если мы отложим в сторону те виды, которые, по-видимому, в то время почти вышли из употребления, то найдем восемнадцать или двадцать.

Если сейчас изучить судебную систему саму по себе, то окажется, что она содержит всевозможные несовершенства.

Несмотря на многочисленность судов, часто ощущалась нехватка судов меньшей инстанции, находящихся в пределах досягаемости заинтересованных лиц и уполномоченных выносить решения на месте и с небольшими затратами по всем второстепенным вопросам. Это обстоятельство делало подобные судебные разбирательства сложными и дорогостоящими. Одни и те же вопросы попадали под юрисдикцию нескольких судов; и, таким образом, над началом судебных разбирательств нависла досадная неопределенность. Некоторые апелляционные суды были также судами первоначальной юрисдикции — иногда судами общего права, в других случаях Судами справедливости. Существовало большое разнообразие апелляционных судов. Единственным центральным пунктом была Палата лордов. Административный истец не был отделен от обычного истца — факт, который в глазах большинства французских юристов показался бы чудовищной аномалией. Более того, все эти суды искали основания для своих решений в четырех различных видах законодательства; суды справедливости основывались на практике и традиции, поскольку самой их целью чаще всего

было пойти против обычаев и статута и исправить по правилам системы, созданной Справедливыми судьями, все, что было устаревшим или слишком суровым в законе и обычае.

Эти недостатки были очень велики; и если сравнить огромную старую машину английской судебной системы с современным устройством французской и простоту, последовательность и естественную взаимосвязь, которые можно наблюдать в последней, с замечательной сложностью и непоследовательностью первой, ошибки английской юриспруденции покажутся еще большими. И все же в мире нет страны, в которой во времена Блэкстоуна великие цели правосудия достигались бы с большей полнотой, чем в Англии; иными словами, нет страны, в которой каждый человек, независимо от его жизненного положения — выступал ли он в суде как обычный человек или как принц, — был бы более уверен в том, что его выслушают, или нашел бы в судах своей страны лучшие гарантии защиты своей собственности, своей свободы и своей жизни.

Этим не подразумевается, что дефекты английской судебной системы служили тому, что я здесь назвал великими целями правосудия: это доказывает только, что в каждой судебной организации есть вторичные дефекты, которые лишь частично вредят этим целям правосудия; и другие основные, которые не только наносят им вред, но и полностью уничтожают их, хотя и присоединяются ко многим вторичным совершенствам. Первые упомянутые недостатки наиболее легко воспринимаются; это те недостатки, которые обычно в первую очередь бросаются в глаза здравомыслящему человеку: они, как говорится, бросаются в глаза. Другие часто более скрыты; и не всегда люди, наиболее сведущие в юриспруденции, и другие представители профессии обнаруживают их и указывают на них.

Более того, следует отметить, что одни и те же качества могут быть как второстепенными, так и главными, в зависимости от периода истории или политической организации страны. В периоды аристократического господства и неравенства все, что стремится уменьшить какие-либо привилегии любого индивида перед лицом правосудия, предоставить гарантии слабому против сильного и придать преобладание действиям государства, которое, естественно, беспристрастно в отношении различий, возникающих только между подданными, становится главным качеством; тогда как его значение уменьшается пропорционально склонности социального государства и политической конституции к демократии.

Изучая английскую судебную систему на основе этих принципов, можно обнаружить, что, хотя она допускала наличие всех недостатков, которые могли способствовать тому, чтобы правосудие в этой стране было неясным, затрудненным, медленным, дорогостоящим и неудобным, она принимала бесконечные меры предосторожности, чтобы никогда не допустить, чтобы сильным оказывали покровительство за счет слабых или государству за счет частного лица. Чем больше наблюдатель вникает в детали английского законодательства, тем больше он увидит, что каждый гражданин был обеспечен всевозможным оружием для своей защиты и что все было устроено так, чтобы предоставить каждому максимально возможное количество гарантий против пристрастия, фактической продажности и того вида продажности, который более распространен и особенно опасен в демократические времена, — продажности, состоящей в подобострастии судов по отношению к правительству.

С этой точки зрения английская судебная система, несмотря на многочисленные второстепенные ошибки, которые все еще можно найти в ней, представляется мне превосходящей французскую, которая, хотя и почти полностью не запятнана, правда, ни одним

из этих недостатков, в то же время не обладает в такой же степени присущими ей основными качествами, которая, хотя и превосходна в гарантиях, которые предоставляет каждому гражданину во всех спорах между отдельными лицами, терпит неудачу именно в том пункте, который всегда следует укреплять в демократическом обществе, подобном французскому, а именно в гарантиях, предоставляемых отдельным лицам против Государство.

Примечание (LXVIII.)—Страница [151](#), строка 19.

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ГЕНЕРАЛИТЕТ ПАРИЖА.

Этому *Генералитету* правительство оказывало такое же покровительство, как и при взимании налогов. Пример можно найти в письме *главного инспектора-генерала с интендантом* из *Généralité* Иль-де-Франс (от 22 мая 1787), в котором он информирует их, что царь имел фиксированную сумму, которая должна была быть использована на дела благотворительности в течение года, в *Généralité* Парижа, в 172,800 ливров; и 100 000 ливров, кроме того, были предназначены для покупки коров, чтобы быть применен к другим виноградарям. Из этого письма видно, что сумма в 172 000 ливров должна была быть распределена только *интендантом* с условием, что он должен был соблюдать общие правила, уже доведенные до него правительством, и что он должен был представить отчет о распределении *генеральному контролеру* для утверждения.

Примечание (LXIX.)—Страница [152](#), строка 27.

Администрация старой монархии состояла из множества различных органов власти, которые были учреждены в разное время, но обычно для целей Казначейства, а не Администрации, собственно так называемой, и которые часто имели одно и то же поле деятельности. Таким образом, было невозможно избежать путаницы и разногласий иначе, чем если бы каждая сторона действовала очень мало или даже вообще ничего не делала. Как только они предпринимали какие-либо попытки подняться над такого рода вялостью, они затрудняли и запутывали движения друг друга; и таким образом случилось, что жалобы на усложнение административного механизма и путаницу в отношении различных его причин были гораздо более серьезными в годы, непосредственно предшествовавшие революции, чем тридцать или сорок лет назад. Политические институты страны не стали хуже — напротив, они значительно улучшились; но общее политическое движение стало гораздо более активным.

Примечание (LXX.)—Страница [157](#), строка 30.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВ.

То, что было здесь сказано королем в отношении *тайля*, могло бы быть сказано им с таким же основанием в отношении *вингемов*, как видно из следующей переписки: —В 1772 году *генеральный контролер* Террей принял решение о значительном увеличении (до 100 000 ливров) *вингемов Генералитета* Тура. Очевидно, что эта мера вызвала у г-на Дюкюзеля, способного администратора и благородного человека, как огорчение, так и смущение; ибо в

конфиденциальном письме он говорит: 'Вероятно, именно легкость, с которой были предоставлены 200 000 ливров' (предыдущее увеличение) ', способствовала жестокому толкованию и письму от июня месяца".

В частном и конфиденциальном письме, которое Директор по взносам направил вслед за этим *интенданту*, он говорит: "Если требуемые увеличения кажутся вам из-за общего бедствия настолькоотягчающими и отвратительными, насколько вы даете мне понять, было бы лучше для провинции, у которой не может быть другой защиты, кроме как в вашем великодушном добром чувстве, чтобы вы избавили ее, по крайней мере, *отдополнительных функций*, налога обратной силы, который всегда отвратителен".

Из этой переписки видно, какое полное отсутствие было какой-либо прочной основы и какие произвольные меры применялись, каждая с честными намерениями. И министр, и интендант возлагали бремя повышенного налогообложения иногда на сельскохозяйственные интересы, а не на производственные, иногда на один вид сельского хозяйства в большей степени, чем на другой (например, на выращивание винограда), в зависимости от того, насколько они полагали, что с производством или какой-либо одной отраслью сельскохозяйственных интересов следует обращаться более бережно.

Примечание (LXXI.)—Страница 159, строка 13.

ВЫРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЮРГО В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПРЕАМБУЛЕ КОРОЛЕВСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.

"Сельские общины на большей части королевства состоят из бедных крестьян, невежественных, жестоких и неспособных к самоуправлению".

Примечание (LXXII.)—Страница 163, строка 24.

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВОЗНИКЛИ В УМАХ ЛЮДЕЙ ДАЖЕ ПРИ СТАРОЙ МОНАРХИИ.

В 1779 году один *авока*т обратился к Совету с петицией об указе об установлении максимальной цены на солому по всему королевству.

Примечание (LXXIII.)—Страница 163, строка 32.

Главный инженер в письме, написанном *интенданту* в 1781 году в связи с требованием увеличить размер компенсации, выражается следующим образом: "Истец не обращает внимания на тот факт, что предоставленные компенсации являются особой услугой для *Генералитета* Тура и что люди должны считать, что им очень повезло, что они возместили только часть своих потерь. Если бы были предоставлены такие компенсации, каких требует истец, четырех миллионов было бы недостаточно".

Примечание (LXXIV.)—Страница [167](#), строка 39.

Революция разразилась не из—за этого процветания, но тот активный, беспокойный, умный, новаторский, честолюбивый дух, которому было суждено произвести Революцию, — демократический дух новых состояний общества - начал будоражить все, и, прежде чем он на какое-то время сверг социальное государство Франции, уже был достаточно силен, чтобы будоражить и развивать его.

Примечание (LXXV.)—Страница [169](#), строка 13.

СТОЛКНОВЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЛАСТЕЙ В 1787 ГОДУ.

В качестве примера можно привести следующее: —Промежуточная комиссия провинциального собрания Иль-де-Франс заявила о своих правах на управление *Департаментом нищенства*. *Интендант* настаивал на том, чтобы оно оставалось в его руках, "поскольку, - сказал он, - это заведение не поддерживается за счет средств провинции". В ходе обсуждения промежуточная комиссия связалась с промежуточными комиссиями других провинций, чтобы узнать их мнения. Среди других ответов, данных на его вопросы, есть ответ от промежуточной комиссии Шампани, информирующий комиссию Иль-де-Франса о том, что она столкнулась с теми же трудностями и оказала то же сопротивление.

Примечание (LXXVI.)—Страница [172](#), строка 2.

В протоколе первого провинциального собрания Иль-де-Франса можно найти следующее заявление, исходящее из уст докладчика комитета: "До настоящего времени функции синдика, которые гораздо более обременительны, чем почетны, таковы, что не позволяют принимать их всем тем, кто обладает достаточной компетентностью и интеллектом, чего можно ожидать от их положения в жизни".

Примечание (LXXVII.)—Страница [173](#), строка 9.

ФЕОДАЛЬНЫЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ ФЕОДАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ, ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВОВАЛИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ.

В намерения автора здесь не входит писать трактат о феодальных правах и, уж тем более, пытаться провести какое-либо исследование их возможного происхождения. Это просто его желание указать на те из них, которые все еще применялись в восемнадцатом веке. Эти права играли столь важную роль в то время и с тех пор занимали столь большое место в воображении тех самых людей, которым больше не за что от них страдать, что было чрезвычайно интересной задачей точно выяснить, какими они были, когда Революция уничтожила их все. Для этой цели было изучено большое количество *терьеров*, или списков феодальных поместий, причем были

выбраны те, которые относятся к самой последней дате. Но такой порядок действий ни к чему не приводил, ибо феодальные права, хотя и регулировались юридическим кодексом, который был одинаковым во всей феодальной Европе, были бесконечно различны по своим видам в зависимости от провинции или даже округов, где они существовали. Таким образом, единственная система, которая, по-видимому, могла приблизительным образом привести к требуемому результату, заключалась в следующем: Эти феодальные права постоянно порождали всевозможные споры и тяжбы. В этих случаях было необходимо знать, как эти права были приобретены, как они были утрачены, в чем именно они состояли, какие сборы могли взиматься только на основании королевского патента, какие - те, которые могли быть установлены только частным титулом, какие, напротив, которые не нуждались в официальных титулах и могли взиматься в силу местного обычая или даже в силу длительного использования. Опять же, когда они выставлялись на продажу, необходимо было знать, каким образом их следует оценивать и какой капитал представляет каждая из них в соответствии со своей важностью. Все эти вопросы, столь непосредственно затрагивавшие тысячи денежных интересов, были предметом судебного разбирательства; и таким образом образовался особый класс юристов, единственным занятием которых было их разъяснение. Многие из этих людей писали во второй половине восемнадцатого века; некоторые даже непосредственно на пороге революции. Собственно говоря, они были не юристами, а практиками, единственной задачей которых было указывать профессионалам на правила, которым следует следовать в этой особой и малопривлекательной части юридической науки. При внимательном изучении этих *феодалистов* можно, наконец, составить относительно точное и отчетливое представление о предмете, масштабы и путаница которого поначалу сбивают с толку. Ниже автор приводит наиболее краткое изложение своей работы, которое он смог составить. Эти заметки в основном взяты из работы Эдме де Фременвиля, писавшей около 1750 года, и из работы Рено, написанной в 1765 году и озаглавленной "*Исторические и практические права сеньоров*".

The *Ценз* (то есть бессрочная арендная плата в натуральной и денежной форме, которая по феодальным законам устанавливалась за владение определенными землями) все еще, в восемнадцатом веке, самым глубоким образом влияла на положение большого числа землевладельцев. Этот *ценз* продолжал оставаться неделимым, то есть весь *ценз* мог быть востребован любым из владельцев имущества с учетом *ценза* по желанию. Это всегда было непоправимо. Ни один владелец каких-либо земель, подпадающих под *ценз*, не мог продать их, не подвергнувшись *повторному цензу*, то есть не будучи обязанным вернуть собственность по цене продажи; но это имело место только в определенных случаях. *Кутум* Парижа, который был самым массовым, не признал это право.

Lods et Ventes.—Было общим правилом, согласно которому в каждой части страны, где преобладал *кутум*, продажа каждого имущества, подпадающего под *ценз*, должна была приносить так называемые *доходы*; другими словами, штрафы, выплачиваемые владельцам поместий при отчуждении такого рода собственности. Эти сборы были более или менее значительными, в соответствии с обычаями поместья, но везде были достаточно значительными; с таким же успехом они существовали и в тех частях, где было установлено *droit écrit* (писаное право). Обычно они составляли одну шестую часть цены и затем назывались *lod*. Но в этих краях хозяин поместья должен был утвердить свои права. В том, что называлось "*платит экрит*", а также в "*платит кутумье*", *ценс* предоставил владельцу поместья привилегию, которая имела приоритет над всеми другими долгами в поместье.

Земля или Шампанское. — Агриер. — Таск. — Эти сборы состояли из определенной части продукции, которую владелец поместья взимал с земель, подпадающих под *sens*. Сумма варьировалась в зависимости от контрактов или обычаев того места. Это право часто встречалось в восемнадцатом веке. Я считаю, что на территории, даже в с оплатой кутумье, можно было претендовать только на основании прямого акта. Земля была либо сеньориальной либо фонсье. Нет необходимости объяснять здесь различия, которые существовали между этими двумя различными видами. Достаточно сказать, что *terr. foncier* был зафиксирован на тридцать лет, как и *rentes foncières*, в то время как *terr. seigneurial* был неисправим. Земли, подлежащие отчуждению, не могли быть заложены без согласия владельца поместья.

Борделаж. — Право, которое существовало только в странах Ниверне и Бурбонне и которое состояло в ежегодной арендной плате, выплачиваемой деньгами, зерном и домашней птицей, за земли, подвластные *sens*. Это право влекло за собой очень суровые последствия: неуплата взносов в течение трех лет давала повод для осуществления *комиссии* или вступления в силу в пользу владельца поместья. Арендатор, задолжавший за борделаж, был более, чем кто-либо другой, открыт для различных неприятностей на своей территории. Иногда владелец поместья обладал правом претендовать на свое наследство, даже когда он умирал, имея наследников, имевших законные права на наследование. Это было самое строгое из всех феодальных прав, и закон в конце концов ограничил его только сельским наследством. "Ибо, - как говорит наш автор, - крестьянин - это всегда мул, готовый нести любую ношу".

Марсиаж - так назывались особые сборы, взимаемые с владельцев земли, подпадающие под действие *sens* в очень немногих местах и состоящие из определенных платежей, подлежащих уплате только после естественной смерти владельца поместья.

Dîmes Inféodées. — В восемнадцатом веке в феоде все еще существовало большое количество десятин. Как правило, они устанавливались отдельным контрактом и не были результатом простого факта владения помещьем.

Parcière. — Парсиерами были сборы, взимаемые с урожая фруктов, собранных на землях поместья. Они имели сходство с *champart* и *dîme inféodée* и использовались в основном в странах Бурбонне и Оверни.

Карпо. — Это наблюдалось в стране Бурбонне и было должным сбором с виноградников, поскольку шампанское взималось с пахотных земель, то есть взималось с части урожая. Это составило четверть урожая.

Сервировка. — Обычаи, которые все еще хранили следы крепостничества, назывались *coutumes serves*; их было очень мало. В провинциях, где они все еще наблюдались, не было поместий, или, по крайней мере, очень немногих, где не были бы видны какие-либо следы древнего крепостного права. [Это замечание взято из работы, написанной в 1765 году.] Сервейдж (или, как это называет автор, *Подневольное состояние*) был либо личным, либо реальным.

Личное рабство было привязано к человеку и сопровождало его повсюду. Куда бы ни пошел крепостной, в какое бы место он ни перевез свое имущество, он мог быть возвращен господином по праву *свиты*. Наши авторы ссылаются на несколько судебных вердиктов, устанавливающих это право — среди прочих, вердикт, вынесенный 17 июня 1760 года, в

котором суд выносит решение против *сеньора* Ниверне в отношении его права требовать наследования Пьера Трюше, который был сыном крепостного, находящегося под *подпиской о невыезде*, согласно обычаю Ниверне, который женился на парижанке и умер в Париже, а также его сына. Но этот вердикт, по-видимому, был основан на том факте, что Париж был "местом убежища" (*lieu d'asile*), в котором *люкс* не мог состояться. Если право *убежища* само по себе не позволяло *сеньору* наложить арест на имущество, которым владели его крепостные в *lieu d'asile*, это не препятствовало его притязаниям на наследование имущества, оставшегося в его собственном поместье.

"Настоящее" рабство возникло в результате захвата земли и могло прекратиться после того, как земля была отдана или место жительства в определенном месте изменилось.

Corvées.— Право, которым обладал владелец поместья над своими подданными, посредством которого он мог использовать для своей собственной выгоды определенное количество их рабочих дней или их волов и лошадей. *Добровольная барщина*, то есть по произволу *сеньора*, была полностью отменена: принудительный труд с некоторых пор ограничивался определенным количеством дней в году.

The *Барщина* может быть как личной, так и реальной. Личная *барщина* выплачивалась черноработными, чье место жительства было установлено в поместье, каждому в соответствии с его занятием. Настоящие *барщины* были связаны с владением определенными землями. Дворяне, духовенство, канцелярские лица, судебные исполнители, адвокаты, врачи, нотариусы и банкиры, а также люди с таким жизненным положением были освобождены от *барщины*. Один из наших авторов цитирует вердикт, вынесенный 13 августа 1735 года, освобождающий нотариуса, которого его *сеньор* хотел заставить прийти бесплатно в течение трех дней и составить определенные юридические бумаги, касающиеся *сеньории*, в которой проживал нотариус. Другой вердикт, датированный 1750 годом, постановляет, что, когда *барщина* является личной, она может быть выплачена либо лично, либо деньгами, выбор должен быть оставлен за лицом, которому она причитается. Каждая *барщина* должна была быть подтверждена письменными документами о праве собственности. *Сеньориальная барщина* стала чрезвычайно редкой в восемнадцатом веке.

Banalités. (Права, которыми обладают лорды определенных поместий, обязывать проживающих в них лиц пользоваться его пекарней, мельницей и т. Д. За плату.)—Только провинции Фландрия, Артуа и Эно были освобождены от *банальностей*. Парижский обычай строго требует, чтобы это не осуществлялось без письменного разрешения. Каждый человек, проживающий в пределах круга *баналитэ*, подчинялся ему, и, в большинстве случаев, даже дворяне и священники.

Помимо *banalité* винного пресса и хлебопекарного цеха существовало еще несколько:-

(1.) *Заготовки* промышленных предприятий, например, для производства тканей, дубления или пеньки. Эта *банальность* установлена многими *кутумами*, например, в Анжу, Мэне и Бретани.

(2.) *Баналитес* из винного пресса. Немногие *кутумы* упоминают об этом. Но это устанавливает закон Лотарингии, так же как и закон штата Мэн.

(3.) *Банальность* манорного быка. Ни в *кутумах* об этом не упоминается; но были документы о праве собственности, которые подтверждали это право. То же самое можно сказать и о праве *banalité* на мясницкие разборки.

В общем, эти последние *банальности*, о которых мы только что говорили, были более необычными, и на них смотрели еще менее благосклонно, чем на другие. Они могли быть осуществлены только путем четкого изложения *кутумов*или, если этого не хватало, с помощью наиболее точного названия.

Ban des Vendanges.— Это все еще практиковалось по всему королевству в восемнадцатом веке. Это было простое право полиции, соединенное с правом на *высокое правосудие*. Для того чтобы воспользоваться им, *сеньору*, который был *верховным судьей*, не нужно было обладать каким-либо другим титулом. *Запрет на торговлю* был обязательным для всех. *Кутумы* Бургундии дают *сеньору* право собирать урожай на день раньше любого другого владельца виноградника.

Droit de Banvin.— Это было право, которым все еще обладало некоторое количество *сеньоров* (как утверждают наши авторы), либо по обычаю, либо по специальному титулу, продавать вино, выращенное в их поместьях, в течение определенного периода времени, обычно на месяц или сорок дней, раньше, чем кто-либо другой. Среди *великих кутузовских династий* только Тур, Анжу, Мэн и Ла Марш установили его и установили соответствующие правила. Вердикт *Суда помощников*, датированный 28 августа 1751 года, разрешает трактирщикам (в качестве исключения из общего правила) продавать вино во время *банкета*; но это, должно быть, относилось только к вину *сеньора*, изготовленному из урожая этого года. *Законы* которые устанавливают и регулируют право на *вино*, как правило, требуют, чтобы оно было основано на юридическом титуле.

Droit de Blairie было правом, принадлежащим *сеньору*, который был *Верховным судьей*, разрешать жителям пастись свой скот на землях, расположенных по всей его юрисдикции, или на пустырях. Это право не существовало ни в одной из частей, регулируемых *правом экрита*; но оно было достаточно распространено в тех, где действовало *право кутумье*. Его можно было найти под разными названиями, особенно в Бурбонне, Ниверне, Оверни и Бургундии. Это право основывалось на предположении, что вся территория первоначально принадлежала *сеньору* таким образом, что после распределения большей части на *феоды*, *ценциты* и другие уступки земель на безвозмездной основе, все еще оставались участки, которые можно было использовать только как пустующие пастбища и которые он мог предоставить во временное пользование другим. *Блэри* был основан в нескольких *кутумах*; но на него мог претендовать только *сеньор* который был *верховным судьей*, и поддерживался только каким-то особым титулом или, по крайней мере, старыми притязаниями, подкрепленными долгим владением.

Réages.— Согласно нашим авторам, изначально существовало огромное количество манориальных сборов за проезд по мостам, рекам и дорогам. Людовик XIV. покончил с большим количеством из них. В 1724 году комиссия, назначенная для изучения названий, по которым взимались пошлины, закрыла тысячу двести из них; и в 1765 году они все еще постоянно закрывались. 'Принцип, соблюдавшийся в этом отношении,' говорит Рено, - заключался в том, что, поскольку пошлина была налогом, она должна была основываться не только на юридическом титуле, но и на титуле, исходящем от суверена'. Пошлина взималась "*в счет прибыли*". Одним из условий пошлины было то, что она должна была устанавливаться

потарифу, регулирующему сборы, которые должен был платить каждый вид товаров. Было необходимо, чтобы этот *тариф* был утвержден постановлением Совета. 'Право концессии,' говорит один автор, - должно было сопровождаться непрерывным владением'. Несмотря на эти принятые законом меры предосторожности, похоже, что в более поздние времена стоимость платы за проезд значительно возросла. 'Я знаю одну пошлину,' говорит тот же автор, 'которая сто лет назад обходилась в 100 ливров, а сейчас приносит 1400; и другую, стоимостью 39 000 ливров, которая приносит 90 000'. Основными постановлениями или главными декретами, регулирующими право взимания пошлины, были параграф 29 Указа 1669 года и Декреты 1683, 1693, 1724, 1775 годов.

Цитируемые мною авторы, хотя в целом и достаточно благосклонно относятся к феодальным правам, признают, что при взимании пошлин были допущены большие злоупотребления.

Васс.—Право проезда на пароме существенно отличается от права взимания платы. Последний взимался только с товаров; первый - с отдельных лиц, животных и экипажей. Было необходимо, чтобы это право для его осуществления также было санкционировано королем; а взимаемые сборы должны были устанавливаться тем же постановлением Совета, которое установило и санкционировало его.

Лейдское право (которому в разных местах было дано много других названий) представляло собой налог, взимаемый с товаров, ввозимых на ярмарки и рынки. Многие лорды поместий (как явствует из наших *феодалистов*) считали это право присоединенным к праву *высшей справедливости* и полностью манориальным, но совершенно ошибочно, поскольку оно могло быть санкционировано только королем. Во всяком случае, это право принадлежало только *сеньору*, который был *верховным судьей*: он взимал полицейские штрафы, поводом к которым служило осуществление этого права. Однако представляется, что, хотя теория *лейдского права* могла исходить только от короля, оно часто устанавливалось исключительно на основе феодального титула или длительного владения.

Совершенно очевидно, что ярмарки не могли быть учреждены иначе, как с королевского разрешения.

Владельцы поместья, однако, не нуждались в каком-либо точном титуле или каких-либо уступках со стороны короля для осуществления права регулировать вес и меры, которые должны были использоваться их вассалами на всех ярмарках и базарах, проводимых в поместье. Этого было достаточно, чтобы право было основано на обычае и постоянном владении. Наши авторы говорят, что все короли, которые один за другим стремились восстановить единообразие в весах и мерах, потерпели неудачу в этой попытке. Вопросам было позволено оставаться на том же уровне, на котором они находились, когда были составлены старые *протоколы*.

Chemins. (Права, которыми пользуются владельцы поместий на дороги.) — Большие дороги, называемые "*Chemins du Roi*" (Королевская дорога), фактически принадлежали только суверенам; их формирование, возмещение ущерба и совершенные на них правонарушения были за пределами компетенции *сеньоров* или их судей. Проселочные дороги, которые можно встретить в любой части *сеньории*, несомненно, принадлежали таким *сеньорам* какими были *Высшие судьи*. У них были все права *полицейские*, а их судьи рассматривали все совершенные ими преступления, за исключением королевских дел. В более ранний период *сеньоры* были обязаны

содержать в порядке большие дороги, проходящие через их *сеньорию*, и в качестве компенсации расходов, понесенных при этом ремонте, им разрешалось взимать пошлины, устанавливать границы и заграждения; но в эту эпоху король возобновил общее руководство большими дорогами.

Eaux.—Все реки, как судоходные, так и сплавные (допускающие прохождение плотов), принадлежали королю, хотя они протекали через собственность лордов поместья, и несмотря на любой титул, утверждающий обратное. (См. Указ от 1669 года.) Если лорды манора и взимали какие-либо сборы с этих рек, то это были те, которые вытекали из прав на рыбную ловлю, мельницы, паромную переправу и плату за проезд по мостам и т. Д., В силу уступок, исходящих только от короля. Были некоторые владельцы поместий, которые все еще присваивали себе права юрисдикции и полиции на этих реках; но это явно произошло только в результате узурпации или неправомерно полученных уступок.

Реки поменьше, несомненно, принадлежали *сеньорам*, через владения которых они протекали. Они обладали в них теми же правами собственности, юрисдикции и полиции, какими король обладал на судоходных реках. Все *высшие сеньоры юстиции* повсеместно были хозяевами несудоходных рек, протекающих по их территории. Они не хотели никакого другого юридического титула для осуществления своих притязаний, кроме того, который предоставлял право на *высокое правосудие*. Существовали некоторые обычаи, такие как *Кутум дю Берри*, которые разрешали частным лицам возводить мельницу на сеньориальной реке, проходящей через земли, которые они занимали, без разрешения *сеньора*. *Кутум Бретани* предоставлял это право только частным лицам благородного происхождения. Что касается общего права, то совершенно очевидно, что *сеньор Верховный судья* имел единоличное право возводить мельницы во всех частях своей юрисдикции. Никто не имел права возводить барьеры для защиты своей собственности без разрешения судей *сеньора*.

Fontaines.—Puits.—Routoirs.—Étangs. Дождевая вода, попадавшая на большие дороги, принадлежала исключительно *сеньорам Высшей юстиции*; только они имели право распоряжаться ею. *Сеньор Верховный судья* обладал правом строительства прудов в любой части своей юрисдикции и даже на землях, находящихся во владении тех, кто проживал под ней, при условии уплаты им цены за землю, находящуюся под водой. Частные лица могли создавать пруды только на своей собственной земле; и даже для этого многим *кутумам* требуется получить разрешение *сеньора*. *Кутумы*, однако, требующие согласия *сеньора*, устанавливают, что это должно быть предоставлено безвозмездно.

La Pêche.—Право ловли рыбы на судоходных или сплавных реках принадлежало только королю, и только он мог предоставлять это право. Только королевские судьи имели право судить правонарушения, направленные против права рыболовства. Однако было много *сеньоров*, которые пользовались правом ловли рыбы в этих реках; но они либо владели им по уступке короля, либо узурпировали его. Никто не мог ловить рыбу, даже удочкой, в несудоходных реках без разрешения *верховного судьи*, в пределах которого они протекали. Судебное решение (датированное 30 апреля 1749 г.) осуждает рыбака по аналогичному делу. Однако даже сами *сеньоры* были обязаны при рыбной ловле соблюдать общие правила, касающиеся рыболовства. *Сеньору верховному судье* было разрешено предоставлять право ловли рыбы в своей реке арендаторам в феоде или *по цензу*.

La Chasse.— Право на охоту не разрешалось отдавать на откуп, как право на рыбную ловлю. Это было личное право, вытекающее из того соображения, что оно принадлежало королю и что сами дворяне не могли осуществлять его в пределах своей собственной юрисдикции без разрешения короля. Эта доктрина была закреплена в Указе 1669 года (п. 30). Судьи *сеньора* имели право принимать к сведению все нарушения прав охоты, за исключением случаев, относящихся к *bêtes rousses* (означающих, по—видимому, то, что обычно называлось "*grosses bêtes*" - олени, лани и т. Д.), Которые считались королевскими.

Право на стрельбу и охоту было более ограничено для не-дворян, чем любое другое. Платный феодал не-дворянина даже не предоставлял его. Король никогда не давал его на своей собственной охоте. Этот принцип соблюдался так строго, и право считалось таким строгим, что *сеньору* не разрешалось давать никаких разрешений на охоту. Но все же постоянно случалось, что *сеньоры* предоставляли такие разрешения не только дворянам, но и не-дворянам. *Сеньор Верховный судья* обладал правом охоты и отстрела в любой части своей юрисдикции, но только в одиночку. Ему было позволено издавать постановления и устанавливать запреты по вопросам, относящимся к охоте, на всем ее протяжении. Каждому *сеньору феода*, хотя и не обладавшему феодальной властью судебных инстанций, было разрешено охотиться и стрелять в любой части своего феода. Дворянам, не обладавшим ни феодалом, ни юрисдикцией, разрешалось делать это на принадлежащих им землях в непосредственной близости от их жилых домов. Было решено, что не дворянин, владеющий парком на территории *верховного судьи* сеньора, был обязан оставить его открытым для развлечения сеньора. Но это решение было вынесено еще в 1668 году.

Garennes.— Кроличьи питомники не могли быть созданы без права собственности. Не-дворянам, так же как и дворянам, разрешалось иметь кроличьи норы; но только дворянам разрешалось держать хорьков.

Colombiers.— Некоторые *кутюмов* только дать право *Коломбье à пье* (голубятни стояли отдельно от здания) в *сеньор-ом Justiciers*; другие дают им для всех держателей ленов. В Дофинии, Бретани и Нормандии ни одному незнатному человеку не разрешалось владеть голубятней, голубятней или вольером; только дворянам разрешалось держать голубей. Наказания, вынесенные тем, кто убивал голубей, были чрезвычайно суровыми: иногда применялись самые суровые наказания.

Таковы, по мнению цитированных выше авторов, были основные феодальные права, которые все еще осуществлялись, и налоги, которые все еще взимались во второй половине XVIII века. 'Упомянутые здесь права, ' добавляют они, ' являются общепринятыми в настоящее время. Но есть еще очень много других, менее известных и менее широко практикуемых, которые встречаются только в определенных *кутумах* или только в определенных *сеньориях* благодаря особым титулам.' Эти более редкие и ограниченные феодальные права, о которых упоминают таким образом наши авторы и которые они перечисляют, составляют девяносто девять; и большая часть из них наносит прямой ущерб сельскому хозяйству, поскольку они дают *сеньорам* определенные права на урожай или пошлины при продаже или транспортировке зерна, фруктов, провизии и т. Д. Наши авторы говорят, что большинство этих феодальных прав в свое время вышли из употребления; однако у меня есть основания полагать, что в 1789 году в некоторых местах все еще взималось значительное количество этих пошлин.

Изучив у авторов, писавших о феодальных правах в восемнадцатом веке, основные феодальные права, которыми все еще пользовались, я захотел выяснить, насколько они были важны в глазах их современников, по крайней мере, с точки зрения состояния тех, кто их взимал, и тех, кто должен был их платить.

Рено, один из авторов, о которых я упоминал, дает нам представление об этом вопросе, излагая правила, которым юристы должны были следовать при оценке различных феодальных прав, которые все еще существовали в 1765 году, то есть за двадцать четыре года до революции. По словам этого законодателя, правила, которые необходимо соблюдать в этих вопросах, были следующими:—

Права на правосудие.— "Некоторые из наших коллегий, - говорит он, - оценивают стоимость правосудия высокого, *бассе* или *мойенна* в десятую часть доходов от земли. В то время сеньориальная юрисдикция считалась очень важной. Эдме де Фременвиль полагает, что в настоящее время право юрисдикции не должно оцениваться более чем в двадцатую часть доходов от земли; и я считаю эту оценку все еще слишком высокой".

Почетные права.— "Какими бы неопценимыми ни считались эти права, - заявляет наш автор, человек практического склада ума, которого нелегко сбить с толку внешностью, - со стороны тех, кто проводит оценку, было бы благоразумно установить за них очень умеренную цену".

Corvées Seigneuriales.—Наш автор, приводя правила оценки стоимости принудительного труда, доказывает, что право на принудительное применение его все еще иногда соблюдалось. Дневной труд вола он оценивает в 20 су, а рабочего - в 5 су вместе с его пищей. Из этого можно извлечь довольно хорошее представление о размере заработной платы, выплачивавшейся в 1765 году.

Réages.— Что касается оценки сборов, то наш автор говорит: 'Нет ни одного сеньориального права, которое следовало бы оценивать ниже, чем сборы. Они очень ненадежны. Ремонт дорог и мостов — наиболее полезных для торговли страны — в настоящее время проводится королем и провинциями, поэтому многие сборы в наши дни становятся бесполезными, и с каждым днем они все больше и больше сокращаются.

Droit de Pêche et de Chasse.—Право на рыбный промысел может быть передано по наследству и, таким образом, может дать повод для оценки. Право охоты является чисто личным и не может быть передано по наследству; следовательно, оно может быть причислено к почетным правам, но не к доходным правам, и, следовательно, не может быть понято ни при какой оценке.

Далее наш автор более подробно упоминает права *баналитэ*, *банвена*, *лейда* и *блэри*, и таким образом доказывает, что этими правами в то время пользовались наиболее часто и что они сохраняли наибольшую важность. Он добавляет: 'Существует ряд других сеньориальных прав, с которыми все еще можно время от времени встречаться, но упоминать о которых здесь было бы слишком долго и вообще невозможно. Но разумные оценщики найдут в уже приведенных нами примерах достаточные правила для оценки тех прав, о которых мы не говорим".

Общая оценка.—Большее число кутузовцев ставят оценку *ценз*, с отрицанием 30 (3-1/3%). Высокая оценка *сепс* обусловлена тем фактом, что она одновременно отражает все такие потери, связанные с вознаграждением, как, например, *потери в лодках*.

Dîmes inféodées.—*Террейдж*. Десятина в феоде не может оцениваться менее чем в 4%. Такого рода собственность не требует ни ухода, ни культуры, ни расходов. Когда земля или *шампарт* включает земли и жилые помещения, то есть когда земля, облагаемая этими сборами, не может быть продана без уплаты права обмена *сеньору*, который имеет право владения в *капитале*, оценка должна быть повышена до 3-1 / 3%; в противном случае она должна оцениваться как десятина.

Доходная рента, которая не приносила доходов или *droit de retenu* (то есть не является доходом сеньории), должна оцениваться в 5%.

ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПОМЕСТИЙ, СУЩЕСТВОВАВШИХ ВО ФРАНЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ.

Мы признаем во Франции, говорит этот автор, только три вида сословий:

(1.) *Франк Аллеу*.— Это было поместье, находящееся в свободной собственности, освобожденное от всякого рода обременений и не облагаемое ни сеньориальными повинностями, ни сборами, ни прибыльными, ни почетными.

Все *франки* были как знатными, так и незнатными. Дворянство *franc alleu* имело свое право юрисдикции, или зависимые от него феодальные владения, или земли, выплачивающие арендную плату: при разделе оно соблюдало все нормы феодального права. Не принадлежащий к дворянству *франк аллеу* не имел ни юрисдикции, ни феода, ни *ценза* передавался по наследству в соответствии с законами, затрагивающими не дворян. Автор рассматривает держателей *всех франков* как единственных, обладающих полной собственностью на землю.

Оценка поместий во Фран-Алле.—Они ценились выше всех. *Кутумы* Оверни и Бургундии оценивают их стоимость так высоко, как будто они были приобретены за 40 лет. Наш автор полагает, что их оценка при покупке через 30 лет была бы точной. Следует отметить, что все не принадлежащие к знати *франки аллеу*, помещенные в пределы сеньориальной юрисдикции, подпадали под эту юрисдикцию. Они не находились в какой-либо вассальной зависимости от *сеньора*, но должны были подчиняться юрисдикции, которая имела статус юрисдикции государственных судов.

(2.) Вторым видом были поместья, находящиеся в феодальном владении.

(3.) Третьим было владение поместьями, удерживаемыми на безвозмездной основе, или, на юридическом языке того времени, *ротации*.

Оценка имущества, находящегося в феодальном владении.—Оценка была меньше, в зависимости от того, насколько больше было феодальное бремя на нем.

(1.) В тех частях страны, где соблюдался писаный закон, и во многих *кутумах*, феоды были обязаны выполнять только то, что называлось "*la bouche et les mains*", то есть оказывать почтение.

(2.) В других *кутумах* феоды, помимо обязательства "*ла-буш и ле-мейн*", были тем, что называлось "*опасностью*", как в Бургундии, и подлежали *комиссии*, или возобновлению феодальных отношений, в случае, если владелец собственности вступит во владение, не оказав подчинения или оммажа.

(3.) Другие *кутумы*, опять же, как в случае Парижа и многих других, налагают на *феоды* не только обязательство оказывать дань уважения, но и на *рашат*, *квинту* и *требование*.

(4.) Также другими *кутумами*, такими как Пуату и некоторыми другими, они были облагаемы *пошлинами за проживание*, *шевалье де сервиси* т. Д.

Из этих четырех все поместья первой категории ценились выше остальных.

Парижский *кутум* оценил их покупку за 20 лет, что наш автор считает вполне правильным.

Оценка поместий "по очереди" и "комплексно".— Чтобы прийти к надлежащей оценке, эти земли должны быть разделены на три класса:—

(1.) Поместья, удерживаемые просто на безвозмездной основе.

(2) Те, которые, помимо арендной платы, подлежат другим видам феодального рабства.

(3.) Лица, содержащиеся в тюрьме мортмейн, в *тайной тюрьме*, на *границе*.

Только первая и вторая из этих трех форм не дворянской собственности были распространены в восемнадцатом веке; третья была чрезвычайно редкой. Оценка, которую следовало произвести по отношению к ним, по мнению нашего автора, была меньшей при переходе ко второму классу и еще меньшей при переходе к третьему. Люди, владевшие поместьями третьего класса, строго говоря, даже не были их владельцами, поскольку они не могли отчуждать их без разрешения *сеньора*.

Le Terrier.—The *Феодисты*, которых мы цитировали выше, указывают на следующие правила, соблюдаемые при составлении или обновлении сеньориальных реестров, называемых "*Терьерами*", упоминания о которых встречались во многих частях работы. *Терьер* представлял собой единый реестр, в котором были зарегистрированы все титулы, подтверждающие права, принадлежащие *сеньории*, будь то имущественные или почетные, реальные, личные или смешанные права. В него были внесены все декларации плательщиков *сепс*, обычаи *сеньории*, договоры аренды *по сепси* т. Д. От наших авторов мы узнаем, что в *кутуме* Парижа *сеньорам* было разрешено обновлять свои реестры каждые тридцать лет за счет своих *цензоров*; однако они добавляют: "Тем не менее, можно считать очень удачным обстоятельством, когда новый реестр можно открывать раз в столетие". *Терьер* не мог быть продлен (это было неприятным делом для всех лиц, зависящих от *сеньории*) без получения либо от *Великой канцелярии* (если в случае с *сеньориями*, находящимися в юрисдикции разных парламентов), либо от парламентов (в обратном случае) разрешения, которое называлось "*Lettres à Terrier*". Нотариус, который их составлял, был назначен судебными властями. Все вассалы, знатные или незнатные, плательщики *ценза*, держатели долгосрочных договоров аренды (*эмфитеоты*) и лица,

подпадающие под юрисдикцию *сеньории*, были обязаны предстать перед этим нотариусом. План *сеньории* должен был быть приложен к *Терьеру*.

Помимо *Терьера*, *сеньория* была снабжена другими реестрами, называемыми "*lièves*", в которые *сеньоры* или их фермеры вносили суммы, полученные в уплату *seigns*, с указанием имен тех, кто платил, и дат квитанций.

НАПЕЧАТАНО
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ "СПОТТИСВУД И КОМПАНИЯ", НЬЮ-СТРИТ-СКВЕР,
ЛОНДОН

СНОСКИ:

[1] Я специально использовал архивы некоторых крупных интендантств, особенно архивов Тура, которые очень полны и относятся к очень обширному району, расположенному в центре Франции и населенному миллионом жителей. Я выражаю благодарность молодому и способному хранителю этих записей М. Грандмезону. Другие округа, в том числе Иль-де-Франс, показали мне, что бизнес велся таким же образом на большей части королевства.

[2] Речь Берка об оценках армии, 1790 год.

[3] Письма о цареубийственном мире.

[4] См. Примечание I. о силе римского права в Германии.

[5] Смотрите Примечание II., о переходе от феодальной к демократической монархии.

[6] См. Примечание III., Посвященное упадку Свободных городов Германии.

[7] Речь Берка об оценках армии, 1790 год.

[8] Смотрите Примечание IV., Дата отмены крепостного права в Германии.

[9] См. Примечание V.

[10] См. Примечание VI.

[11] См. Примечание VII., Крестьянские земли в Германии.

[12] См. Примечание VIII., Дворянство и земли на Рейне.

[13] См. Примечание IX., Влияние законов о ростовщичестве на землю.

[14] См. Примечание X., Злоупотребление феодальными правами.

[15] См. Примечание XI., Церковные феодальные права.

[16] Смотрите Примечание XII., Права Шербургского аббатства.

[17] См. Примечание XIII. Раздражение, вызванное у крестьянства феодальными правами, и особенно феодальными правами духовенства.

[18] См. Примечание XIV, Влияние феодализма на состояние недвижимости.

[19] Смотрите последнюю главу этой книги (xxi.) для более полного описания местного самоуправления Лангедока.

[20] См. Примечание XV., Общественная помощь, и примечание XVI.

[21] См. Примечание XVII, Полномочия интенданта по регулированию торговли.

[22] См. Примечание XVIII., Дух правления Людовика XI.

[23] См. Примечание XIX., Администрация французского города в восемнадцатом веке.

[24] См. Примечание XX.

[25] См. Примечание XXI., Администрация деревни в восемнадцатом веке.

[26] [*Que la justice administrative et la garantie des fonctionnaires sont des institutions de l'Ancien Régime.* Трудность перевода этих терминов на понятный английский язык возникает из-за того факта, что ни разу за последние два столетия истории Англии исполнительная администрация не присваивала себе особую юрисдикцию или не выводила своих должностных лиц из-под юрисдикции судов общего права в этой стране. В этой главе будет показано, что обычная юрисдикция Франции всегда могла быть заменена чрезвычайными судебными органами, когда на карту были поставлены интересы правительства или ответственность его представителей. Произвольная юрисдикция всех таких нерегулярных судов была фактически отменена в Англии в 1641 году Законом, под действие которого попадали Суд Звездной палаты и Верховная комиссия.]

[27] См. Примечание XXII.

[28] См. Примечание XXIII.

[29] [Упомянутая статья является 75-й статьей Конституции VIII века, которая предусматривает, что представители исполнительной власти, за исключением министров, могут быть привлечены к ответственности за свое поведение при выполнении своих функций только на основании решения Государственного совета.]

[30] См. Примечание XXIV., Следы централизации старой французской монархии в Канаде.

[31] См. Примечание XXV., пример вмешательства Совета.

[32] См. Примечание XXVI., Дополнительные патрулирования.

[33] См. Примечание XXVII., Бюро табака.

[34] См. Примечание XXVIII., Прекращение лояльной активности.

[35] См. Примечание XXIX., Сеньориальные сборы в разных провинциях Франции.

[36] См. Примечание XXX., Самоуправление, противоречащее духу касты.

[37] См. Примечание XXXI.

[38] См. Примечание XXXII., Степень освобождения от налогообложения.

[39] См. Примечание XXXIII., Косвенные налоговые льготы.

[40] См. Примечания XXXIV. и XXXV.

[41] См. Примечание XXXVI., Дворянам оказывалось предпочтение при сборе налогов.

[42] [Использование французского термина *буржуа*, здесь и в некоторых других отрывках переведенного как 'средние классы', является еще одним доказательством оценки власти, которой когда-то пользовался этот класс в обществе. В английском языке соответствующий термин *burgess* остался неотделимым от осуществления муниципальных прав; и у нас нет отличительного названия, независимо от политических прав, для большого класса, который отделяет дворянство от населения. Фактически, этим классом в этой стране, как в социальном, так и в политическом плане, является *народ*.]

[43] Смотрите Примечание XXXVII., Тур Артура Янга.

[44] См. Примечание XXXVIII.

[45] См. Примечание XXXIX., Нарушение имущественных и корпоративных прав.

[46] [К этому замечанию следует отнести с некоторой оговоркой относительно факта. В наши дни в Англии эти различия не искоренены полностью, но это всего лишь вопросы собственности, а не личного ранга или политического влияния.]

[47] См. Примечание XL.

[48] См. Примечание XLI., Освобождение государственных служащих от налогообложения.

[49] См. Примечание XLII.

[50] См. Примечание XLIII.

[51] См. Примечание XLIV., Инструкции о дворянском ордене при Генеральных штатах 1789 года.

[52] См. Примечание XLV., Религиозное управление церковной провинции в восемнадцатом веке.

[53] См. Примечание XLVI., "Дух духовенства".

[54] См. Примечание XLVII.

[55] См. Примечание XLVIII.

[56] См. Примечание XLIX., Пример формулировки судов.

[57] См. Примечание L.

[58] См. Примечание LI., О причинах, которые часто ограничивают Абсолютное правление при монархии.

[59] См. Примечания LII. и LIII.

[60] См. Примечание LIV., Пример пагубных последствий финансовых прав духовенства.

[61] См. Примечание LV.

[62] См. Примечание LVI., Превосходство метода, принятого в *государственных платежах*.

[63] Смотрите Примечание LVII., Ремонт дорог, как расценивается.

[64] См. Примечание LVIII., Обязательства за неисполнение обязательных работ.

[65] См. Примечание ниже.

[66] См. Примечание LX., Сопровождение галерных рабов.

[67] См. Примечание LXI.

[68] См. Примечание LXII.

[69] См. Примечание LXIII.

[70] См. Примечание LXIV.

[71] См. Примечание LXV., Неверность в Англии.

[72] [Граф Моллиен получил образование в финансовой службе старой монархии и, избежав опасностей революции, стал министром финансов императора Наполеона, а при Реставрации - пэром Франции. Он оставил Воспоминания о своем правлении, которые были напечатаны для частного распространения его вдовой, уважаемой графиней Моллиен, в четырех томах октаво, но еще не опубликованы. Эти мемуары представляют собой образец личной порядочности и финансовой грамотности, тем более примечательный, что месье Моллиену выпала судьба жить во времена, когда эти качества были столь же редки. Работа была рассмотрена в "Ежеквартальном обзоре" за 1849-1850 годы, а эта статья была переиздана в 1872 году в книге мистера Рива "Королевская и республиканская Франция".]

[73] См. Примечание LXVI., Прогресс Франции.

[74] См. Примечание LXVII., Судебные учреждения Англии.

[75] См. Примечание LXVIII., Привилегии округа Париж.

[76] См. Примечание LXIX.

[77] См. Примечание LXX., Произвольное увеличение налогов.

[78] См. Примечание LXXI., В котором Тюрго говорил о деревенских жителях.

[79] См. Примечание LXXII., Рост революционных мнений при Старой монархии.

[80] См. Примечание LXXIII.

[81] См. Примечание LXXIV.

[82] См. Примечание LXXV., Состязания в провинциальных ассамблеях 1787 года.

[83] См. Примечание LXXVI.

[84] См. Примечание LXXVII., Определение феодальных прав.

[85] "Переписка Джорджа Форстера", i. 257.

[86] *Idem*, ii. 286.

[87] Смотрите 'Вальдемар': философский роман Якоби, написанный в 1779 году. Несмотря на свои недостатки, которые огромны, эта книга произвела большое впечатление, потому что эти недостатки были присущи тому времени.

[88] Слово во французском тексте — *confiance*- "образисповеди и смерти'. Но это выражение кажется мне непонятным, и слово, вероятно, было неправильно напечатано или неправильно расшифровано. Почерк месье де Токвиля был на редкость неразборчивым, и эти отдельные заметки были написаны буквами, которые он сам не всегда мог прочесть. Цитируемый здесь отрывок взят из французского перевода "Вальдемара" Якоби, выполненного Вандельбургом, где это можно проверить (Том i., стр. 154) — Н. Р.

[89] Письмо Иоганна Мюллера барону де Салису, 6 августа 1789г.

[90] Фокс мистеру Фицпатрику, 30 июля 1789 г. ("Мемориалы и переписка Фокса", ii. 361.)

[91] Жизнь Пертеса, стр. 177; и Столберга, стр. 179 — в той же книге.

[92] Ни один образованный человек, какого бы ранга он ни был, не прошел бы через город, где жил Форстер, не зайдя поговорить с ним. Принцы приглашали его, знать ухаживала за ним, простолюдины толпились вокруг него, ученые были чрезвычайно заинтересованы его беседой. Михаэлису, Гейне, Гердеру и другим, кто пытался разгадать тайну древности и истории человечества, казалось, что Форстер открыл истоки первобытного мира, описав те популяции другого полушария, которые не соприкасались ни с какой формой цивилизации.

[93] Смотрите эти подробности в "Истории восемнадцатого века" Шлоссера и в переписке Форстера.

[94] Книга Мунье, опубликованная в Тюбингене в 1801 году, озаглавлена "Влияние, приписываемое философам, французским мастерам и иллюминатам Революции".

[95] Такой точки зрения придерживался аббат Баррюэль в своей книге о якобинстве. В 4-х томах.

[96] 'Воспоминания Генри Стеффенса'. Breslau: 1840. Стеффенс родился в 1775 году в Ставагнере, в Норвегии.

[97] Бюшез и Ру, "Парламентская история революции", стр. 480.

[98] Эдикты от 17 июня 1787 года были следующими:

1. За бесплатную перевозку зерна.
2. Учредить провинциальные ассамблеи.
3. О замене принудительного труда.
4. Земельная субсидия.
5. Гербовый акт.

Парламент принял три первых и воспротивился двум последним. Когда принимается во внимание важность Эдикта о провинциальных собраниях, который создал новые местные органы власти и произвел огромную революцию в правительстве и обществе, нельзя не поражаться совпадению, которое существовало в этом случае между двумя древнейшими силами монархии: одной, которая представила его, другой, которая приняла. Ничто не может более убедительно показать, до какой степени среди этого народа, который все были постоянно вовлечены, даже женщины, в споры о правительстве, была неизвестна истинная наука о человеческих делах, и как правительство, погрузившее нацию в это невежество, в конце концов погрузилось в ту же тьму. Этот Эдикт завершил разрушение всей древней политической системы Европы, разом свергнув все, что осталось от феодальной монархии, заменив аристократию демократией, а корону - государством. Я не берусь судить о ценности этого изменения. Я просто утверждаю, что это означало немедленное и радикальное ниспровержение всех старых институтов королевства, и что если парламент и король вместе так решительно пошли по этому пути, то только потому, что ни один из них не видел, куда они идут. Рука об руку они прыгнули в темноту.

[99] 16 июля 1787 года. Только нация, собранная в Генеральных штатах, имеет право предоставлять субсидии королю.

[100] Протест Парижского парламента, 24 июля 1787 г. Примечания взяты из официальных документов.

[101] Парламент Гренобля, 5 января 1678 г. "Деспотические меры, - заявил парламент Безансона (1787 г.), - не более обязательны для нации, чем военная конституция, и не могут противоречить неотъемлемым правам нации".

[102] Протест парламента Гренобля, 20 декабря 1787г.

[103] Протест Парижского парламента, 24 июля 1787г.

[104] В речи М. де Симонвиля от 16 июля 1787 года, произнесенной в парламенте Парижа, он вернулся к 1301 году, чтобы доказать полезность, необходимость и безопасность Генеральных штатов. В то же время он говорил о Конституции, патриотизме, правах нации, служителях алтарей и т. Д. (Официальные документы.)

[105] Histoire du Gouvernement Français du 22 Février, 1787, au 31 Décembre.

[106] Парламент Нормандии, 1787 год.

[107] Парламент Тулузы, 27 августа 1787 года.

[108] Парламент Безансона, 1787 год.

[109] A pamphlet entitled, 'Réclamation du Tiers-État au Roi.'

[110] "Апологетические воспоминания", 1787.

[111] Слово в оригинале - *evocation*. Я принял термин английского права, который наиболее близко к нему подходит. —Пер.

[112] Протесты от 4 января 1788 года и 4 мая 1788 года. Памфлет того времени, написанный в защиту короля, является простой диатрибой против аристократии. Его приписывали Лесен де Мезон.

[113] Цель Указов, которые были направлены в парламент 8 мая 1788 года, хорошо известна. Первый и второй из них установили новый судебный порядок. Исключительные суды были упразднены. По всей стране были разбросаны небольшие суды, которые с тех пор стали французскими судами первой инстанции. Были созданы высшие суды для рассмотрения апелляций, уголовных и гражданских дел стоимостью менее 20 000 ливров: это были зачатки апелляционных судов Франции; наконец, парламенты должны были рассматривать апелляции стоимостью более 20 000 ливров — но это было ненужное положение, и оно исчезло. Такова была реформа, содержащаяся в двух первых эдиктах. Третий содержал реформы не меньшей важности в уголовном праве. Отныне не должны были приводиться в исполнение смертные приговоры без такой отсрочки, которая давала бы время для осуществления прерогативы милосердия: не должно было применяться принудительное проведение допросов; судилище уголовных преступников было упразднено; уголовные приговоры не должны были выноситься без объяснения причин; компенсация должна была быть присуждена тем, кто был несправедливо обвинен. Четвертый и пятый эдикты относились исключительно к парламентам и были призваны изменить или, скорее, уничтожить их. (См. "Историю революции" Бюше и Ру.)

[114] Эти цитаты взяты из официальных документов.

[115] 'Поверят ли потомки, ' говорилось в памфлете того времени, - что мятежные взгляды парламентов разделяют принцы крови, герцоги, графы, маркизы, а также духовные и светские пэры?' ('Lettres flamandes à un Ami.')

[116] Письмо Чарльза Р. в Палату общин Бретани, 1788.

[117] Указ от 25 сентября 1788 года. (Официальные документы). По случаю частичного бунта, вызванного в Гренобле триумфальным возвращением парламента (12 октября 1788 г.), армия, вместо того чтобы подавить его, была подстрекаема своими собственными офицерами принять участие в движении. 'Офицеры полка, - сказал очевидец, - не проявляли меньшего рвения; они всем скопом ждали Первого президента, чтобы выразить радость, которую они испытывали по поводу его возвращения. По этому случаю мы не можем отказать себе в удовольствии воздать им должное. Их благоразумие, человечность, патриотизм снискали им уважение города.' Я думаю, Бернадотт служил в этом полку.

[118] 14 сентября 1788 года. Архиепископ, как председатель, единолично подписал письмо, написанное от имени трех Орденов, которое, судя по стилю, было составлено Мунье 8 ноября 1788 года.

[119] Опубликовано между 8 мая 1788 года и восстановлением парламентов.

[120] Одного примера будет достаточно, чтобы показать, как ненависть к деспотизму и общественным или корпоративным интересам привела к отказу от самих принципов этой Революции теми, кто должен был стать ее поборниками. После майских эдиктов 1788 года вся коллегия адвокатов парламента Экса подписала протест, в котором встречаются следующие предложения: 'Является ли единообразие в законодательстве столь абсолютным благом? В обширной монархии, состоящей из нескольких различных групп населения, не может ли

разница в манерах и обычаях привести к некоторой разнице в законах? Обычаи и привилегии каждой провинции являются достоянием всех подданных короны. Предлагается унизить и уничтожить сеньориальную юрисдикцию, которая является священным наследием знати. Какая неразбериха! Какой беспорядок! Этот документ был подготовлен великим юристом Порталисом (впоследствии одним из главных авторов Гражданского кодекса): он был подписан им, Симеоном и восемьюдесятью членами Коллегии адвокатов.

[121] Однако в документе, опубликованном незадолго до созыва Генеральных штатов, встречаются следующие строки: 'В некоторых провинциях жителей страны убеждают, что они не должны больше платить налоги и что они разделят между собой собственность землевладельцев. Они уже проводят собрания, чтобы выяснить, что это за владения, и скорректировать их распределение. Ожидается, что Генеральные штаты лишь придадут форму этим агрессиям.' ('Tableau Moral du Clergé en France sur la fin du 18ème Siècle, 1789.')

[122] 24 августа 1788 года. Все памфлеты того времени излагали теорию восстания. 'Дело народа - разорвать наложенные на него оковы. Каждый гражданин - солдат и т. Д.' См. "Замечания к распоряжению Кабинета министров о пресечении дискуссий, выступающих против указов от 8 мая". ("Библиотека", № 595.)

[123] Некоторые из авторов этих статей, благоприятных для правительства, были названы Бомарше, аббатом Мори, Лингве, аббатом Мозеле и др. Говорили, что только аббат Мори получал пенсию в размере 22 000 франков. ('Lettres d'un Français retiré à Londres,' July 1788.)

[124] На встречах, последовавших за Визилем и проходивших либо в Гренобле, либо в Сен-Рамбере, либо в Римлянах, тот же союз был сохранен и сблизился. Дворянство и духовенство постоянно требовали, чтобы число представителей общин было удвоено, налоги уравнены, а голосование проводилось индивидуально. Палата общин продолжала выражать свою благодарность. 'Мой Орден предписывает мне,' сказал спикер Палаты общин на одном из таких собраний (состоялось в Римлянах 15 сентября 1788 года), 'повторить нашу благодарность; мы никогда не забудем вашего стремления воздать нам должное'. Аналогичные комплименты были повторены на Ассамблее, также состоявшейся в Римлянах 2 ноября 1788 года. В письме, адресованном муниципалитетам Бретани, житель Дофини пишет: 'Я видел, как духовенство и дворянство со справедливостью, достойной всякого уважения, отказались от своих старых притязаний в Штатах и единодушно признали права общин. Я больше не мог сомневаться в спасении страны'. ("Письма Шарля Р. в муниципалитет Бретани".)

[125] Смотрите брошюру, приписываемую Серовану (1789) и озаглавленную "Глянец на парламентскую арту"; и еще одну, озаглавленную "Деспотизм парламентов", опубликованную 25 сентября 1788 года, после указа, который внезапно сделал парламенты непопулярными.

[126] "Король в королевстве" М. Луше, 20 декабря 1788г.

[127] "Что за уровни?" стр. 53.

[128] Lacretelle, 'Convocation des États-Généraux'; Bertrand de Molleville, 'Observations adressées à l'Assemblée des Notables.'

[129] 'Observations lues aux représentants du Tiers-État à Bordeaux,' December, 1788.

[130] 'Requête du Tiers-État de la ville de Bourg,' December, 1788.

[131] ‘Délibérations de la ville de Nîmes en Conseil général.’

[132] ‘Des conditions nécessaires à la légalité des États-Généraux.’

[133] ‘De la députation aux États-Généraux.’

[134] "Авис во Франции", 1788 год. Брошюра, написанная в 1788 году, но полная истинно революционного духа 1792 года.

[135] Сам Мунье был так же мало способен, как и самые яростные революционеры, которые вскоре должны были появиться, осознать идею прав, унаследованных из прошлого; политических обычаев, которые на самом деле являются законами, хотя и неписаными, и к которым следует прикасаться с осторожностью, интересов, которые следует уважать и очень постепенно изменять, не вызывая разрыва между тем, что было, и тем, что есть сейчас. которая должна быть — короче говоря, идея, которая является первым принципом практической и регулярной политической свободы. See Mounier’s ‘Nouvelles Observations sur les États-Généraux.’

[136] The Marquis de Gouy d’Arcy in a ‘Mémoire au Roi en faveur de la noblesse Française, par un patricien ami du peuple,’ 1788.

[137] Это следует из переписки М. с М. Неккером, изученной мной в архивах.

[138] Для более полного описания этих инструкций и их образца см. Примечание XLIV. в Приложении.

[139] Эти заметки и иллюстрации были переведены покойной леди Дафф Гордон.

[140] См. последнее примечание.

[141] Т.е. Не корпорации для торговых целей, а организации вроде наших ливрейных компаний.

Примечание переписчика

Оригинальное написание и варианты расстановки переносов сохранены.

Были исправлены следующие очевидные типографские ошибки:

Страница 38, “sate” заменено на “sat”. (некоторые из которых сидели там в добродетели)

Страница 74, “сообщество” изменено на “общество”. (Другие классы общества)

Страница 169, “нет” заменено на “нет”. (больше не мог отдавать приказы)

Страница 300, “урессес” заменено на “руссес”. (относится к *bêtes rousses*)